



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

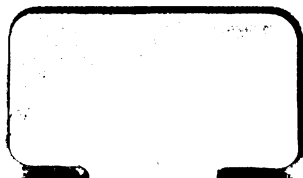
Slav 4345.66.381


Harvard College Library



**BOUGHT FROM THE
ANDREW PRESTON PEABODY
FUND**

**BEQUEATHED BY
CAROLINE EUSTIS PEABODY
OF CAMBRIDGE**





ВЕНКОВЕЧНЫЙ

РАЗСКАЗЫ

ЛУННАЯ СОНАТА

ЗАПИСКИ СТАРГО ХУДОЖНИКА

СПБ.

1907





Самодельный

Александровский

Ивановский

Александровский

Ивановский

Александровский

Ивановский

Александровский

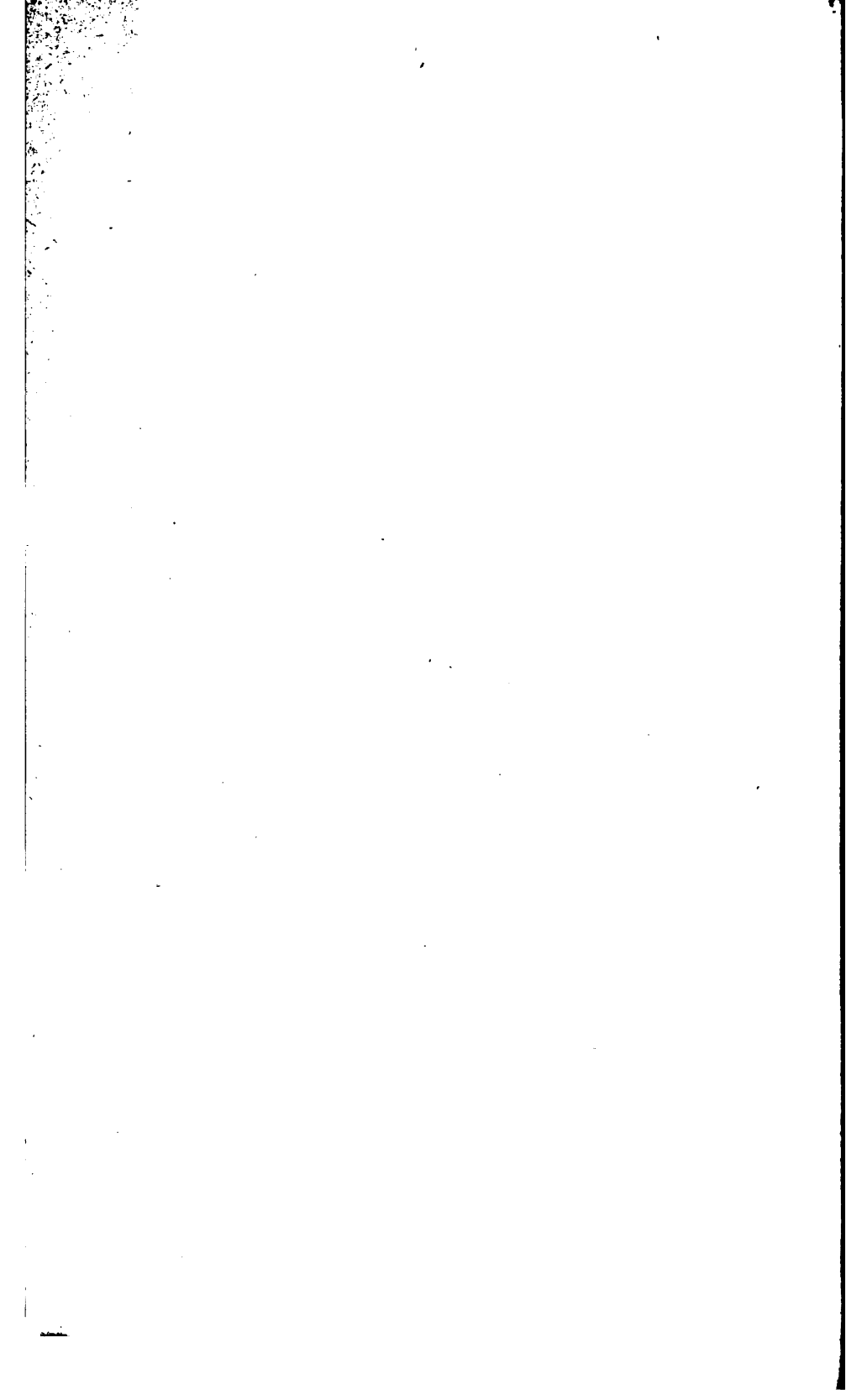
Ивановский

Александровский

Ивановский

Александровский

✓ Александровский



Вен. Корчемный.

РАЗСКАЗЫ.

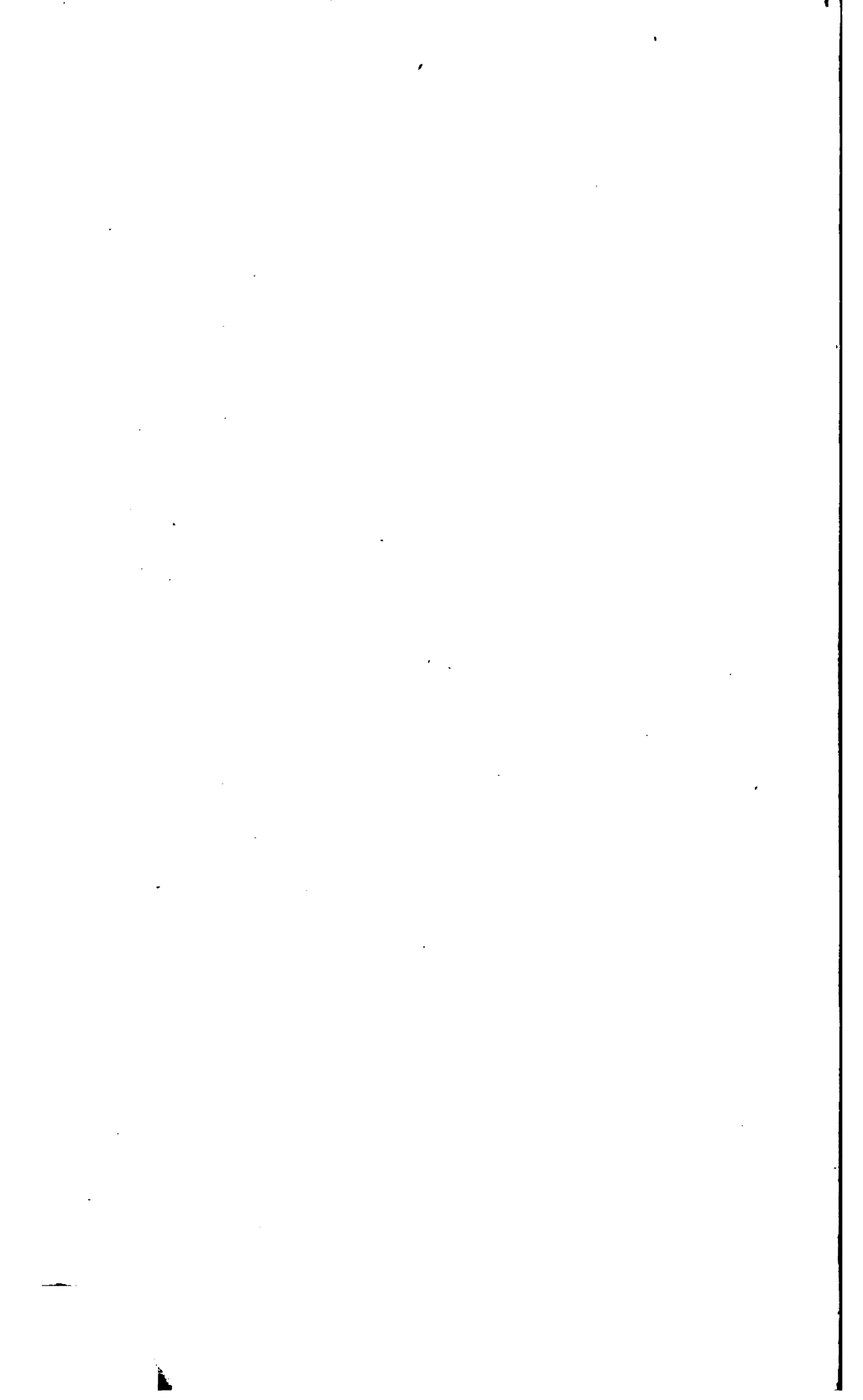
1. Лунная соната.

2. Записки старого художника.



С. ПЕТЕРБУРГЪ.

1907.



Вен. Корчемный.

РАЗСКАЗЫ.

1. Лунная соната.

2. Записки старого художника.



С. ПЕТЕРБУРГЪ.

1907.

Slay 4345.66.381

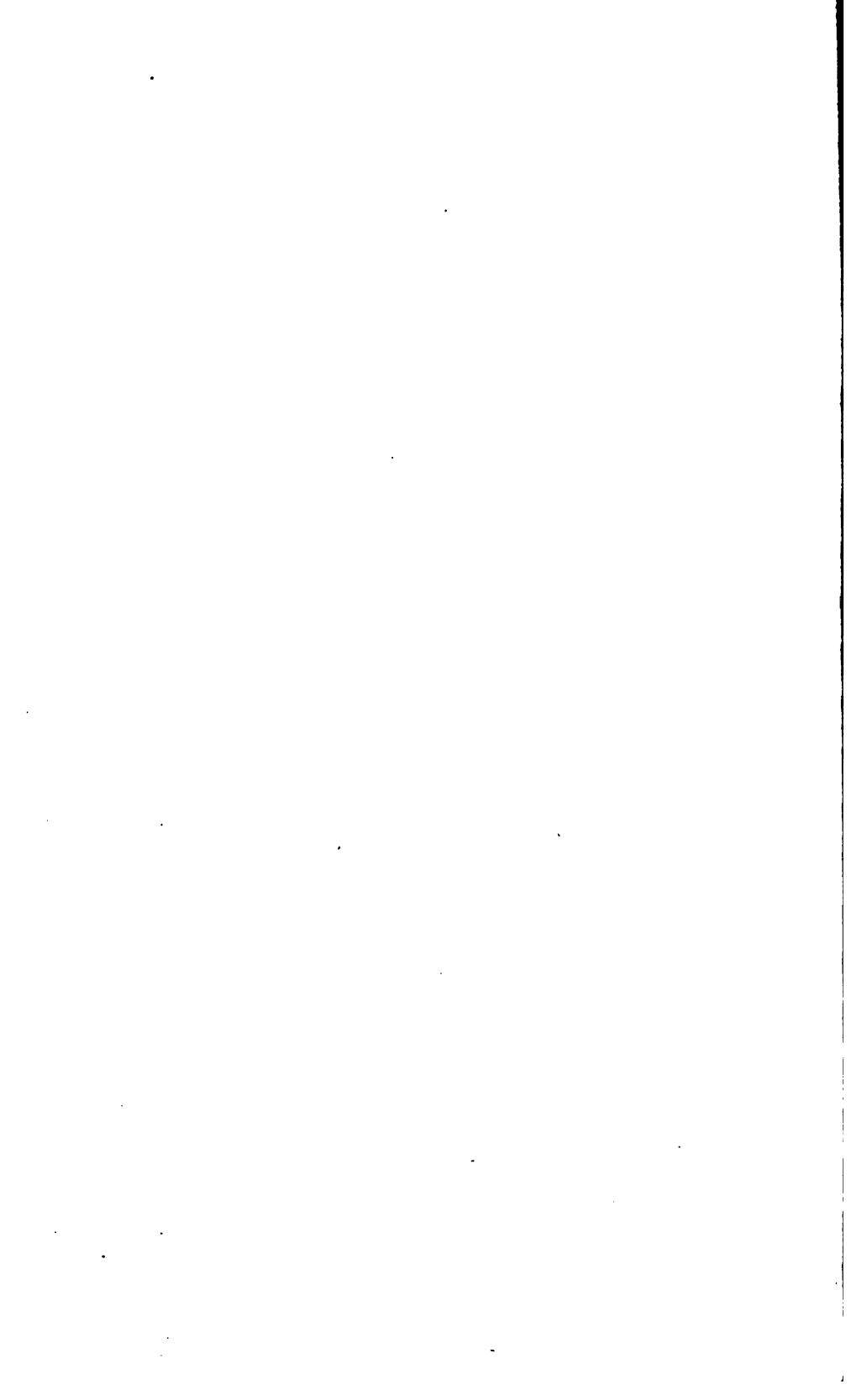


434
51-183
42

ЛУННАЯ СОНАТА

П О В Ъ С Т Ъ.

Посвящается М. и В. М.



I.

В ъ т ѣ н и.

Выплывало солнце... И не въ первый разъ, разумѣется, оно выплывало. Но далеко не во всѣ дни люди встрѣчали съ такимъ торжествомъ лучи дневного свѣтила.

Что случилось?!

А для чего вамъ это знать? Неужели радость на сей планетѣ подъ луной такая диковинка, что ужъ нельзя весело улыбнуться солнцу безъ того, чтобы кто-нибудь не загорланилъ: что случилось?!!

Да, это конечно... но все-таки?

Ну, а все-таки... все-таки... случилось нѣчто *гражданское*, какое-то арифметическое дѣйствіе со свободой.

Какое именно, чортъ побери?!

А это опредѣлить трудно, такъ какъ послѣднія операціи вычисленія производились долго послѣ событія, производятся благополучно и понынѣ... Но если вы осчастливлены веселыми воспоминаніями дѣтства...—да, именно осчастливлены, ибо вы, конечно, знаете, что существуютъ крохотныя созданія, чуть ли не рождающіяся съ морщинами на лбу и съ вопросомъ

о завтрашнемъ днѣ въ мысляхъ...—если вы помните то время, когда вы, весь измазанный чернилами и выдѣлывая невозможные кренделя языкомъ, рѣшали за классной партой задачки великаго разбойника Евтушевскаго, то вы, конечно, не забыли, что изъ всѣхъ премудрыхъ дѣйствій, выдуманныхъ головоастыми учениками Архимеда, ваше сердце охотнѣе всего склонялось къ дѣйствию, называемому сложеніемъ... и, ахъ! сіе предпочтеніе было настолько разительно, что даже однажды, когда вамъ нужно было въ задачкѣ на вычитаніе вычесть подрядъ четыре девятки изъ четырехъ нулей, вы долго съ ужасомъ глядѣли на эти злополучныя цифры и вдругъ рѣшили ихъ просто на просто... сложить. Надо сознаться, впрочемъ, что рѣшенію этому, въ сущности, немало способствовала нерѣшительная черточка, коей вы зачеркнули стоявшій передъ задачкой знакъ—минусъ.

Такъ вотъ въ этотъ самый день, о которомъ идетъ наша рѣчь, люди, не желая разбираться въ ариѳметическихкихъ знакахъ, вспомнили евангельское: „будьте какъ дѣти!“, снова полюбили всѣмъ сердцемъ сложеніе... и потому-то съ ликующей радостью встречали лучи солнца.

А сами эти лучи тоже какъ будто были въ ударѣ. Правда, появились они довольно поздно—лишь въ десятомъ часу, такъ какъ до сего времени вели ожесточенную войну съ осеннимъ туманомъ. Но, побѣдивъ туманъ, они, какъ подобаетъ порядочнымъ стратегамъ, разогнали безнадежно пораженнаго непріятеля во всѣ стороны, и упрямо и нещадно преслѣдовали до тѣхъ поръ, пока отъ врага осталось одно только неважное воспоминаніе въ видѣ небольшихъ бѣловато-прозрачныхъ облачковъ; эти же пострѣлята-облачка были настолько миловидны и кокетливы, что даже солнце... не нахмурилось, не разгнѣвалось, а лишь глянуло на нихъ покровительственно-добродушно, какъ побѣдоносный, величественно-шаловливый рубака—полководецъ на непріятельскихъ маркитантокъ, и,

глянувъ этакъ, сказало славнымъ борцамъ—удалымъ лучамъ:—пускай ихъ себѣ прыгаютъ!—

Сказало—и принялось за землю.... или, вѣрнѣе, за тотъ клочекъ земли, что называется Москвой, и гдѣ именно въ этотъ день повышенно бились сердца и лихо улыбались лица.

... Ну, и напроказничало же оно, это солнце!...

Во-первыхъ, загнало всю влюбленную въ него веселую людскую компанію на одну сторону улицъ—другая же сторона, холодная, озябшая, была воистину жалка со своей глупой тѣнью и рѣдкими пѣшеходами—вѣроятно, чудаками какими нибудь, ни шиша не смыслящими въ солнечномъ блескѣ, въ повышенномъ сердцебіеніи и другихъ, право-же, вкусныхъ и заманчивыхъ вещахъ. Какая то недурненькая барышня, шедшая по этой сторонѣ, вдругъ поняла уродство своего положенія и торопливо и брезгливо пустилась перебираться черезъ улицу, бережно приподнявъ кончикъ свѣжаго наряда: солнце еще въ серединѣ мостовой, позабывъ стыдъ и возрастъ, стало приударять за ея галошами... прицѣпилось таки къ нимъ и принялось шмыгать вслѣдъ небольшими не по-старчески лукавыми зайчиками... а выбравшись на должную сторону, почтенное свѣтило, очевидно, окончательно потеряло разумъ, такъ какъ съ такимъ бѣшеннымъ неистовствомъ принялось играть и нѣжиться въ волосахъ и глазахъ дѣвушки, что та, не выдержавъ, широко и блаженно улыбнулась... Улыбкѣ этой не предназначено было пропасть даромъ: проходившій мимо молодой купчикъ въ блестящемъ картузѣ, блестящихъ сапожкахъ, съ блестящей бородкой—биржевой огурчикъ словомъ—принявъ улыбку на свой счетъ, восхищенный, остановился, обернулся, какъ-то особенно крикнулъ и еще долго послѣ того, какъ барышня уже исчезла изъ виду, въ нерѣзительности стоялъ на томъ же мѣстѣ, не зная—продолжать ли ему путь или поверотить оглобли и попытать счастье на другомъ поприщѣ, отъ коммерціи весьма отдаленномъ.

А вотъ и другая барышня...—какія онѣ всѣ недурненькія сегодня! Эта катитъ себѣ какъ херувимчикъ, въ чистенькой извозчичьей пролеткѣ... катитъ, а сама, вмѣстѣ съ извозчичьей пролеткой, прямо такъ и купается въ солнцѣ.

Рядомъ съ ней возсѣдаетъ юный студентъ—тоже недурень собой... а пуговицы то, пуговицы шинели... а козырекъ картуза—Богъ мой, какое пламя!! Принимая во вниманіе неудобства пролетки и, весьма возможно, еще какія нибудь соображенія порядка болѣе интимнаго, недурной студентъ деликатно обнимаетъ талію своей недурной спутницы, и все это катитъ на недурномъ извозчикѣ и смѣется людямъ, смѣется солнцу..

А вотъ и Кузнецкій мостъ. Важно позвякивая шпорами и храня на благородномъ челѣ слѣды благородныхъ страстей и рыцарскихъ походовъ, хозяйски шагаетъ и глядитъ по сторонамъ жандармскій офицеръ. А за его ботфортами, безъ всякаго страха, двумя великолѣпными зайцами поспѣшаетъ солнце. Мимо офицера, подъ его презрительнымъ взглядомъ, катятъ собственные экипажи, мелькаютъ шляпки модницъ, усы и цилиндры модниковъ. Около магазиновъ экипажи останавливаются, дамы, стукнувъ каблукками, ловко соскакиваютъ съ подножекъ, слышится хлопанье каретныхъ дверецъ, окрики кучеровъ... и дамы улетучиваются внутрь магазиновъ торопливо, озабоченно, точно набожныя богомолки, вступающія въ храмъ и боящіяся опоздать къ священнодѣйствію...

А на Никитской, а на Моховой, а на Тверскомъ бульварѣ... изъ воротъ домовъ, изъ переулковъ кучами высыпаетъ молодежь, смѣются радостью озабоченныя лица и, какъ веселые чертенята, взлетаютъ и пляшутъ надъ головами привѣтствующіе картузы... И все это съ говоромъ, съ шумомъ... И все это на солнцѣ, на солнцѣ...

.

Въ этотъ солнечный часъ, въ часъ веселья неба и людей, какъ не преминулъ бы выразиться поэтъ

лѣтъ семнадцати съ половиной, изъ старыхъ деревянныхъ воротъ весьма прозаическаго дома, помѣстившагося въ одномъ изъ глухихъ переулковъ Полянки, вышелъ человѣкъ съ чемоданомъ. Очутившись за воротами, человѣкъ этотъ глянулъ на небо, глянулъ по сторонамъ и, услыхавъ шаги и голоса приближающейся людской компаніи, нервно и торопливо перебрался на другую тѣнистую сторону улицы.

Та же самая исторія повторилась и при выходѣ на Полянку: опять робкіе взгляды по сторонамъ, и опять какая-то болѣзненная торопливость уйти изъ свѣта въ тѣнь, какая-то видимая *боязнь быть задѣтымъ* людскимъ торжествомъ—говоромъ, шутками, крикомъ... Никакіе чрезвычайныя власы—пользуясь лексикономъ все того-же поэта—не окаймляли, не обрамляли лба этого человѣка, не носилъ онъ также ни какой-нибудь особенной крылатки, ни даже шляпы съ полями отъ Москвы до Нижняго, и все жъ... все-жъ лицо его и вся наружность были изъ тѣхъ, что всегда вызываютъ замѣчанія веселаго свойства со стороны троттуарныхъ дѣвицъ и приказчиковъ, носящихъ модные воротнички до ушей и красные галстухи... а въ плотно упитанныхъ людяхъ благороднаго званія такія лица всегда возбуждаютъ брезгливое состраданіе.

А между тѣмъ, глядя на этого еще весьма молодого человѣка, торопливо ступающаго неровными, нервными шагами, глядя на его очень маленькую, женственную голову, низко опущенную на грудь, и на неподвижныя, какъ бы привязанныя къ бокамъ руки, можно было лишь замѣтить, что онъ чрезвычайно блѣденъ, чрезвычайно худъ, что черты его лица чрезвычайно неправильны, и что—и это главное—лицо его и вся фигура, какъ бы переломленные какой то внутренней болью, равно удалены какъ отъ заботъ о красномъ галстухѣ, такъ и отъ тоски по плотному питанію.

Но этого уже достаточно: тотъ сортъ прекраснаго

пола, что любить физическую силу въ приправѣ съ сильнымъ словомъ нецензурнаго характера, а также и милѣйшая молодежь, восторженно захлебывающаяся анекдотами „насчетъ клубнички“,... и тѣмъ болѣе благородное званіе, знающее толкъ въ ногахъ скаковыхъ и балетныхъ,—все это не прощаетъ явнаго страданія по чему то до наглости чуждому интересамъ какъ клубничнымъ, такъ и лошадинымъ.

... На углу Каменнаго моста молодой человѣкъ съ чемоданомъ хотѣлъ было взобраться на конку, но и тутъ испугался сидѣвшей наверху, весьма бурно настроенной группы молодежи... и торопливо продолжалъ свой путь, все придерживаясь тѣневой стороны улицы. А на Моховой его ждало еще одно, на этотъ разъ уже тяжелое, испытаніе: перебираясь черезъ улицу, онъ наткнулся на двухъ дѣвицъ съ книжками, которыя, еще издали узнавъ его, незамѣтно дернули другъ друга за рукава жакетокъ и устались глазами въ землю. Но дѣлать было нечего, онъ видѣлъ, что его узнали, нужно было соблюсти долгъ вѣжливости—раскланяться значить. И вотъ молодой человѣкъ, прикусывая губы и съ лицомъ, перекошеннымъ принужденной улыбкой, почтительно приподнялъ кончикъ шляпы. Не успѣлъ онъ пройти мимо, какъ дѣвицы съ книжками заволновались:

— Ты знаешь, кто это? Вѣдь это—Позоровъ, двоюродный братъ Владимира Павловича.. —

— Какъ же... знаю, знаю!! Онъ вмѣстѣ съ Василюмъ въ тюрьмѣ сидѣлъ... онъ еще тогда былъ со странностями, а теперь, говорятъ, окончательно...

Барышня деликатно смолкла, но докончила свою мысль характернымъ жестомъ при помощи лба и пальцевъ. А другая, та самая, у которой была пріятная пухлая мордочка и наивные голубые глазки, наставительно замѣтила:

— Вотъ что значитъ потерять связь съ современностью!—

... Между тѣмъ Позоровъ наконецъ уѣлся таки около самаго университета на конку, и черезъ неполный часъ былъ на Курскомъ вокзалѣ. Здѣсь, выбравъ самое темное и пустое мѣсто въ залѣ, онъ велѣлъ себѣ подать чаю и коньяку. Чаю онъ выпилъ два стакана, ну и коньяку выпилъ рюмокъ пять.

Послѣ этого лицо его какъ бы прояснилось, точно съ него медленно сползла напряженность выраженія... и онъ, улыбаясь, почти весело вытащилъ изъ кармана календарно-справочную книжку; долго копался онъ въ ней, перечитывая всѣ города Харьковской губерніи, и наконецъ, остановившись на одномъ изъ нихъ, прельстившемъ его необыкновенностью своего названія, радостно ткнулъ въ него пальцемъ и, засмѣявшись, произнесъ вслухъ:

— Ага, вотъ сюда!..

Потомъ, все такъ же усмѣхаясь, даже присвистывая, отправился въ кассу, взялъ себѣ билетъ на только что открытый городокъ, выбралъ наиболѣе пустой вагонъ поѣзда, отправлявшагося на Курскъ, и, примостившись у окна, терпѣливо, безропотно сталъ ждать отъѣзда...

А на платформу между тѣмъ выбрасывались толпы пригородныхъ жителей.

Двое встрѣчались:

— Читали?

— Ну, разумѣется.

— Поздравляю!!

И даже цѣловались.

II.

Писательство отъ нечего дѣлать.

— Сегодня опять—вотъ уже третій день—несносно-тяжелая погода. Уже третій день дождикъ съ какой

то безобразной и жестокой монотонностью тоскливо стучится ко мнѣ въ окно: хлюпъ-хлюпъ... хлюпъ-хлюпъ... хлюпъ-хлюпъ... Все время, не переставая, слышно, какъ вода стекаетъ съ крыши дома по дождевой трубѣ и льется около самого окна на какую то жестянку—хлюпъ-хлюпъ... хлюпъ-хлюпъ... Не люблю я этихъ слишкомъ раннихъ переходовъ къ веснѣ, когда не знаешь, чего отъ завтра ожидать — нето солнечной ласки, тепла, прозрачной синевы неба, нето снова двадцатипятиградуснаго мороза. Какое то характерное въ своей безхарактерности, облѣзшее, мокрое, линючее время, отъ котораго на душу сползаетъ сонная пустота, да и порою еще вдругъ становится какъ то неприятно жутко... А дождикъ! Охъ, этотъ проклятый, убійственный дождикъ!—знай себѣ похлупываетъ да и только.

— Играть при такой погодѣ я рѣшительно не въ состоянїи, всѣ три дня крышка рояля такъ и не поднималась. Вчера, третьяго дня все время только и дѣлалъ, что таскался изъ угла въ уголъ комнаты да еще по цѣлымъ часамъ машинально смотрѣлъ сквозь слезливое окно на задній дворъ съ его обвалившимся колодцемъ, кучами буро-грязнаго, почти совсѣмъ растаявшаго снѣга, помоями, отбросами... Жалкій, заплаканный видъ у этого дворика...

— А сегодня вотъ вдругъ вздумалось пописать о самомъ себѣ... и, конечно, для самого себя. Можетъ быть наединѣ съ самимъ собой я сумѣю быть вполне чистосердечнымъ и откровеннымъ: вѣдь это должно быть очень прїятное ощущение — говорить о себѣ и чувствовать, что говоришь только одну правду, быть совершенно увѣреннымъ, что не врешь, ни на чуточку не врешь. А съ людьми мнѣ это никогда не удавалось; да и не то, чтобы не удавалось, а, откровенно признаться, никогда я особенно въ этомъ отношенїи и не старался: у меня есть двоюродный братъ, онъ очень дѣятельный, подвижной господинъ, до самаго недавняго времени безвыѣздно жилъ за границей и

писалъ въ одномъ изъ тамошнихъ русскихъ журналовъ; у него имѣются друзья — тоже все такіе же очень дѣльные, подвижные люди. Такъ вотъ, надо было только попасть въ общество двоюроднаго брата и его друзей, — какъ я уже вралъ и вралъ сознательно. Какъ ни старался увѣрить себя, что совершенно не придаю значенія ихъ мнѣнію обо мнѣ, но все-жъ почему-то всегда старался внушить имъ, что и я, хоть не такой, какъ они, но въ другомъ родѣ тоже борецъ за что-то и противъ чего то... А на самомъ то дѣлѣ я вовсе не борецъ...

Дядя мой, напримѣръ, Егоръ Петровичъ, владѣющій кирпичнымъ заводомъ и двумя паровыми мельницами, увѣряетъ, что я просто вырождокъ, неудачное отродье; а тотъ самый двоюродный братъ сказалъ, что я „болѣзненный наростъ на общественномъ организмѣ“, и даже однажды объяснилъ мнѣ меня научнымъ образомъ: въ извѣстные-де періоды особеннаго общественнаго подъема, когда энергія массъ особенно активно затрачивается на борьбу за матеріальное и нравственное удовлетворенія, эти самыя массы выбрасываютъ изъ себя въ видѣ накали весь тотъ негодный элементъ, который по своѣй дряблости и внутреннему ничтожеству не можетъ играть ни прямо задерживающей, ни направляющей роли въ общемъ поступательномъ ходѣ историческаго развитія; играетъ здѣсь также роль капитализмъ, который, давя и возстановляя противъ себя, создаетъ сотни тысячъ отважныхъ, прогрессивныхъ борцовъ, но выхватываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ изъ этихъ сотенъ тысячъ нѣкоторыхъ, наиболѣе слабыхъ, чтобы окончательно задавить ихъ и уже возстановить не противъ себя, а противъ самого общества, въ его цѣломъ—заставить ихъ противопоставить обществу свое измученное, искалѣченное „я“; этимъ объясняется тотъ фактъ, что даже въ самыя яркія эпохи общественной бодрости, какъ, напримѣръ, теперь, существуетъ цѣлый рядъ людей, выброшенныхъ за бортъ жизни, людей,

живущихъ внѣ исторической жизнью, а отсюда разочарованныхъ, невѣрующихъ, печальныхъ одиночекъ жизни; люди эти, при всѣхъ ихъ подчасъ душевныхъ достоинствахъ, (это было вставлено двоюроднымъ братомъ для моего утѣшенія) тѣмъ не менѣе бесспорно являются общественными паразитами; они временно участвовали въ общей борьбѣ, но коль скоро они бросили борьбу—сдались, то и ихъ польза, какъ трутней въ общественномъ ульѣ, кончается, и общество, въ силу неизбѣжныхъ законовъ преобладанія общихъ интересовъ надъ частными, морально убиваетъ ихъ.

— Таковы приблизительно точныя слова двоюроднаго брата...

— Не знаю, чье мнѣніе, дяди ли Егора Петровича или двоюроднаго брата, справедливѣе. Во всякомъ случаѣ, и въ томъ, и въ другомъ много вѣрнаго...

— Въ томъ, на примѣръ, что я дѣйствительно не совсѣмъ удачное отродье, я и самъ никогда не сомнѣвался. Начать хотя бы съ моей внѣшности: лицо у меня длинное, худое и всегда землистаго цвѣта, глаза глубоко ввалившіеся, при чемъ лѣвый глазъ больше и поставленъ глубже и выше праваго; подбородокъ, въ противоположность широкому и высокому лбу, крайне заостренный и съ продольной линіей, кончающейся почти у самой нижней губы; уши до смѣшного маленькія, блѣдно прозрачныя и всегда холодныя. Я почти что высокаго роста, безобразно худъ и съ такой впалой и слабой грудью, что мнѣ даже самому непріятно до нея дотрагиваться. Мнѣ всего двадцать четыре года, но, когда я спускаюсь съ лѣстницы, у меня уже теперь дрожатъ ноги, а къ тридцати годамъ, если я доживу до того времени, у меня, навѣрно, будутъ выгибаться колѣни, такъ что вся моя фигура, съ ея сутуловатой спиной будетъ изогнута на подобіе віолончели стараго фасона...

— Кстати—относительно лѣтъ моихъ. Я сказалъ: мнѣ двадцать четыре года. Но, признаться, знаю я

мой возрастъ лишь по паспорту—мнѣ таки онъ, значить, пригодился для чего нибудь. На самомъ же дѣлѣ, когда спрашиваютъ о лѣтахъ, мнѣ всегда хочется сказать: — сколько лѣтъ? не знаю, право не знаю...—И дѣйствительно, весь тотъ багажъ пережитыхъ мыслей и чувствъ, что неотъемлемой ношей лежитъ на сердцѣ у каждого человѣка и болѣе или менѣе опредѣленно говоритъ объ оставленныхъ позади годахъ, — этотъ багажъ владѣтъ моею душою лишь неясно и измѣнчиво: то безконечно долгой, ужасно, страшно долгой... вѣчной кажется мнѣ моя двадцатичетырехлѣтняя жизнь; прошлые дни, какъ черные одинаковые кружочки, намотанные на одну длинную нитку, пугаютъ тогда своимъ множествомъ и однообразіемъ... то вдругъ чудится, что въ прошломъ жизни вовсе не было, что только вотъ теперь, задумавшись, я начинаю жить — ощущать жизнь, и теперь впредь заживу этой *ощутимой* жизнью; и тогда кажется, что прошлые дни промелькнули быстро быстро и незамѣтно, какъ телеграфные столбы мимо курьерскаго поѣзда. Но чаще всего все пережитое сводится къ двумъ, тремъ воспоминаніямъ, которыя одни, одинокими маяками, освѣщаютъ смыслъ всего прошлаго... и грезится тогда, что для нихъ только однихъ это прошлое и существовало.

— Ахъ, двоюродный братъ, двоюродный братъ! Объяснить-то ты меня научнымъ образомъ—объяснилъ, спора нѣтъ... и, признайся, въ глубинѣ души, какъ другіе, открыто, ты не менѣе научнымъ образомъ откровенно рѣшилъ, что я просто сумасшедшій. Но одного вотъ ты мнѣ не сказалъ. Вѣдь не съ неба же я къ вамъ свалился уже готовымъ, такимъ, каковъ я теперь есть, сумасшедшимъ значить. Вѣдь родился я, какъ полагается, въ утробѣ матери, пробылъ тамъ кажется не болѣе и не менѣе чѣмъ слѣдуетъ, потомъ появился на свѣтъ, къ вамъ, людямъ, не сумасшедшимъ... жилъ между вами и ничего нехорошаго никогда не дѣлалъ... О, нѣтъ, никогда... ибо вино я пью

лишь нѣсколько мѣсяцевъ... съ тѣхъ поръ, какъ, пріѣхавъ къ вамъ, увидалъ торжество ваше и наивно спросилъ:—отчего я не съ вами?—а вы, не усумнясь, отвѣтили—потому, что ты сумасшедшій!—... Итакъ, жилъ я, употребляя ваше же выраженіе, „какъ слѣдуетъ“, и вдругъ...

— Другъ мой! какъ же случилось все это? Какъ же случилось, что съ дѣтства не зналъ я здороваго счастья—восторга не зналъ? веселаго пѣнья, веселаго солнца не зналъ? Какъ же случилось, что съ дѣтства носилъ въ себѣ ужасъ и страхъ передъ жизнью?...

— Да, не могу безъ чувства мистическаго страха заглянуть въ туманъ моего прошлаго. Неказистъ онъ, этотъ туманъ, но вѣтъ отъ него трауромъ; душитъ онъ, и въ душной мглѣ его не можетъ не родиться звукъ кладбищенскаго колокола...

— Съ чего начать воспоминанья? Вопросъ торжественный и громкій. Но отвѣтъ, отвѣтъ-то каковъ? А начну-ка я воспоминанья... съ необыкновенныхъ головныхъ болей, которыми страдаю съ ранняго дѣтства—съ семи лѣтъ. Боли эти, посѣщающія меня за послѣднее время по два, по три раза въ недѣлю, всегда носили одинъ и тотъ-же характеръ, удивительно непріятный характеръ; обыкновенно боль начинается въ правомъ вискѣ, отсюда медленно чуть повыше уха переползаетъ въ затылокъ и уже здѣсь разливается по всей задней части головы, и уже здѣсь боль бываетъ такая, что иногда, чтобы только избавиться отъ нея, кажется, взялъ бы ножомъ да отрѣзалъ себѣ затылокъ, какъ горбушку пеклеваннаго хлѣба.

Охъ, эти боли... помню, въ раннемъ дѣтствѣ онѣ, вмѣстѣ со всякими коклюшами, бронхитами и другими вѣчными болѣзнями, возстановили противъ меня всю семью. Помню, однажды, въ воскресенье, во время торжественнаго семейнаго обѣда, на которомъ присутствовало какое-то важное лицо съ большими бакенбардами и большимъ краснымъ крестомъ на бѣлой

крахмальной манишкѣ, я не выдержалъ приступа головной боли и вдругъ громко на весь столъ заплакалъ. Отецъ тогда бросилъ въ меня чѣмъ-то, а мать вбѣжала за мной въ дѣтскую, гдѣ я уткнулся съ плачемъ головой въ подушку, и, ударяя меня по спинѣ, прошептала съ выраженіемъ невыносимаго страданія въ голосъ: „У-у, ты негодный, ненавистный... мучитель ты мой... уродомъ растешь, на погибель мою растешь... проклятый ты, проклятый Господомъ-Богомъ еще въ утробѣ моей, а теперь и я, твоя мать, проклинаю тебя... мучителя моего, каторгу мою безвинную“... И голосъ ея дрожалъ отъ сдерживаемыхъ слезъ, и она нѣсколько разъ ударила себя кулакомъ по головѣ. Я тогда пересталъ плакать—мнѣ стало ее невыносимо жалко... Да... меня мать въ дѣтствѣ проклинала... и это нехорошо... и, можетъ быть, поэтому я такъ глубоко несчастенъ...

— „Несчастенъ“... гм... какое въ сущности странное слово я написалъ! Были ли въ моей жизни счастье или несчастье? Мнѣ кажется, что нѣтъ. Были одни только настроенія. Иногда, очень рѣдко, эти настроенія удовлетворяли меня, а большею частью нѣтъ. И, какъ это странно, эти рѣдкія, одинокія, обласкавшія меня настроенія я почти всѣ пережилъ при самыхъ скверныхъ, тяжелыхъ условіяхъ моего существованія, а не наоборотъ.

— Помню и никогда не забуду одного настроенія, которое пережилъ я еще въ раннемъ дѣтствѣ. Оно такъ болѣзненно ясно въ моей памяти, точно все это было вчера. Не потому-ли, впрочемъ, это такъ, что, быть можетъ, то былъ моментъ, когда, подобно матери, меня проклинала и природа, быть можетъ, именно въ тотъ моментъ, она наложила на меня печать неудачнаго отродья и властно сказала мнѣ: „ты будешь отщепенцемъ“!?

— Мнѣ было тогда всего девять лѣтъ. Не помню, при какихъ обстоятельствахъ отцу понадобилось взять меня съ собой по дѣлу въ какую-то деревню. Въ этой

деревнѣ мы остановились у близко знакомыхъ отцу помѣщиковъ; отецъ въ тотъ же день уѣхалъ дальше, а меня оставилъ ночевать у знакомыхъ, сказавъ, что завтра заѣдетъ за мной. Въ чемъ у меня прошелъ день—совершенно не помню: все это случилось ночью. Часовъ въ десять меня уложили спать въ гостиной на диванѣ. Гостиная эта была крайняя комната и выходила огромной стеклянной дверью на террасу. Это было въ концѣ августа: ночь была темная, молчаливая, и мелкій, неровный дождикъ, какъ и теперь, жутко-уныло и тревожно колотился въ стекла оконъ и двери; сквозь эти стекла мнѣ были видны темные мрачные силуэты деревьевъ въ саду, и когда верхушки ихъ нестройно и съ таинственною лѣнью колыхались, я слышалъ тоскливый и однообразный шорохъ листьевъ, вдругъ заглушаемый завываніемъ вѣтра—съ цѣпи онъ что-ли, скованный, сорваться не могъ, что жалобно такъ гудѣлъ, что душу плачущимъ свистомъ леденилъ? Гдѣ то далеко лаяла собака, да мѣрно и мирно стучала деревенская колотушка... Я перевернулся къ спинкѣ дивана, нѣсколько минутъ поводитъ пальцемъ по шелковой, шершавой обивкѣ... и заснулъ. Однако, черезъ часъ или два я, какъ это часто бываетъ, когда спишь на новомъ мѣстѣ, самъ не замѣтилъ, какъ проснулся; меня разбудили какіе то голоса, которые я уже долго слышалъ сквозь сонъ. Обернувшись, я замѣтилъ, что въ глубинѣ гостиной дверь въ столовую была открыта, и оттуда шель свѣтъ. Я перегнулся надъ диваномъ и заглянулъ въ освѣщенную комнату. Тамъ за столомъ, на которомъ слабо гудѣлъ потухающій самоваръ, и горѣла лампа подъ зеленымъ абажуромъ, сидѣло трое людей; ближе всѣхъ ко мнѣ, полуспиной къ остальнымъ, сидѣла, закутавшись въ платокъ и подперевъ голову рукой, молодая дѣвушка съ худымъ и усталымъ, какъ во время болѣзни, лицомъ, на противоположномъ концѣ стола сидѣла старушка въ очкахъ, которая днемъ кормила меня обѣдомъ и спрашивала, что у моей

мамы подаютъ къ столу; она была въ кацавейкѣ и держала какую-то работу—кажется, штопала чулокъ; и еще налѣво, противъ самовара, склонившись надъ книгой, сидѣлъ большой бородатый студентъ, котораго я уже видѣлъ днемъ два раза—одинъ разъ онъ подошелъ ко мнѣ и сказалъ: „ну что же, карапузъ... живешь?“, а другой разъ называлъ талуномъ и показывалъ Москву, приподнявъ за уши на полъ-аршина отъ земли.

— Говорила почти все время старушка въ кацавейкѣ—она ежеминутно отрывалась отъ работы, смотрѣла изъ подъ очковъ на молодую дѣвушку, часто возмущенно качала головой и стучала пальцемъ по столу; я не слышалъ всего, что она говорила, но понималъ, что она чѣмъ-то грозила дѣвушкѣ, что то предвѣщала ей. Бородатый студентъ хоть и глядѣлъ въ книгу, но не читалъ—онъ тоже изрѣдка, или совсѣмъ не отрываясь отъ книги, или небрежно, чуть приподнявъ голову въ сторону дѣвушки, бросалъ нѣсколько насмѣшливыхъ, злыхъ—я чувствовалъ это—словъ и сейчасъ-же снова склонялся надъ книгой. А дѣвушка съ худымъ лицомъ ничего не говорила. Она съ какой-то ужасной грустью, съ какимъ то нѣмымъ страданіемъ смотрѣла въ одну точку пола и только изрѣдка сдавливала себѣ кулаками виски, или безпомощно, точно ища что-то, озиралась вокругъ и начинала ломать себѣ руки. Потомъ увидѣлъ я, какъ она встала, медленной усталой походкой разбитаго человѣка подошла къ самой двери въ гостиную и, обернувшись къ столовой, сказала съ мольбой въ голосъ; „оставьте меня, умоляю, заклинаю васъ... Бога ради оставьте!“ И тихо поступью вошла въ гостиную...

— Сначала подошла она къ стеклянной двери, выходившей на террасу, и долго стояла тамъ не шевелясь—мнѣ только виденъ былъ темный силуэтъ согнувшейся фигуры въ платкѣ... потомъ приблизилась къ піанино, стоявшему недалеко отъ моего дивана, тихо подняла его крышку и зажгла одну изъ свѣчей.

Мягко, еле слышно взяла она нѣсколько минорныхъ аккордовъ... и руки ея какъ бы сами свалились съ клавишъ, безжизненно повисли на колѣняхъ. Въ такой позѣ она сидѣла съ минуту... и вдругъ глубоко, тяжело вздохнула и снова подняла руки на клавиши...—

— Боже мой, какъ ясно помню я эти простые грустные звуки, что вдругъ раздались тогда въ полутемной гостиной! Это было „Wagum“ Шумана. Мнѣ самому это странно, но я хорошо помню, что тогда оно произвело на меня почти то же впечатлѣніе, что производитъ всякій разъ и теперь: кто-то слабый, больной и усталый тихо, безнадежно спрашиваетъ: почему, за что, для чего?.. и спрашиваетъ не для того, чтобы получить отвѣтъ, а такъ, потому что грустно и хочется вспоминать о прошломъ. Почему? почему было тихое счастье, кроткая улыбка, теплая ласка, и вдругъ не стало? почему теплился огонекъ надежды, и вдругъ потухъ? почему смѣялось синее небо, и въ прохладномъ лѣсу пѣли о любви и вѣрѣ— и вдругъ стало туманно, холодно, сыро... и кто-то на рѣкѣ заплакалъ, надрываясь, зарыдалъ?..

— Когда она кончила, слабая безжизненная улыбка на секунду озидала ея исхудалое лицо... но сейчасъ же опять брови ея чуть сдвинулись, глаза опять выразили ту же грусть... и она снова заиграла...

— Зачѣмъ, зачѣмъ она тогда сыграла эту вторую вещь? почему не ушла сейчасъ же послѣ первой? Зачѣмъ отвѣтила на свой первый вопросъ „почему“, если этотъ отвѣтъ... невозможенъ? Почему было столько несчастныхъ жизней и вдругъ стало одной больше? Почему? и за что, и для чего?..

Когда раздались первые звуки этой второй вещи, я вздрогнулъ, и внутри меня что-то заняло: мнѣ показалось, что эти звуки раздались не здѣсь въ гостиной, а тамъ, за стеклянной дверью террасы, въ темнотѣ сада, что они безшумно разбили стекло и поплыли въ воздухъ гостиной, вздрагивая и колеблясь...—

— Ну да, конечно, это была она самая, мой теперешній ужасъ, мое мученіе—эта была первая часть Бетховенской Лунной сонаты. Да, безъ сомнѣнья, я уже тогда, хоть не ощутилъ ея такъ ужасно больно, какъ ощущаю теперь, но ясно понялъ одно—здѣсь уже не было, какъ у Шумана, грусти, это уже была тоска, и не простая тоска—это было постоянство тоски: луна—печальница плыла по небу... бѣдная!—ей всегда грустно: видитъ она всѣ страданія людей, жалѣетъ ихъ, но помочь не можетъ... и къ тѣмъ, что особенно несчастны на землѣ, къ одинокимъ обездоленнымъ сиротамъ—людямъ, которыхъ жалѣетъ она больше другихъ—къ нимъ проникаетъ она своими лучами въ мозгъ и сердце, и тамъ лучи тихо тоскуютъ и плачутъ, болѣзненно звучатъ золотисто-серебрянымъ стономъ...

— Она кончила... и снова ея руки безжизненно, какъ плети, упали на колѣни. Тихо встала она потомъ, и... вдругъ я почувствовалъ ея взглядъ на себѣ. Я вздрогнулъ и тутъ только замѣтилъ, что лежу на диванѣ, высвободившись изъ подъ одѣяла. Она подошла ко мнѣ, взяла обѣими руками за голову, поцѣловала въ лобъ и нѣсколько разъ медленно погладила по щекамъ и глазамъ. Какія у нея были худыя, слабыя, нѣжныя руки! Потомъ покрыла меня одѣяломъ, ласково сказала: «спи, мальчуганъ» и, затушивъ свѣчку, ушла, все такъ же еле ступая, согнувшись, съ низко опущенной головой. А мнѣ захотѣлось броситься за ней, прижаться головой къ ея груди, спрятать лицо въ этомъ платкѣ, что покрывалъ ея больную, хрупкую фигуру, громко зарыдать и сказать ей... Но что, что хотѣлось мнѣ тогда сказать ей—знаю ли это хотя бы теперь? И когда она ушла, я долго еще слышалъ сначала простые, грустные звуки тихаго вопроса, но тутъ же, вздрагивая и колеблясь, звучалъ лунный стонъ, и я уже не понималъ этого вопроса: онъ скорбно недоумѣвалъ, онъ робко вопрошалъ... о чемъ? Быть можетъ, о томъ, о

чемъ хотѣлъ я ей сказать, когда порывался прижаться и зарыдать у нея на груди.—

— Я провелъ ужасную, бессонную ночь. Что-то странное происходило во мнѣ: сердце то наполнялось радостью, веселіемъ, то вдругъ, когда вспоминался лунный стонъ, въ душу вонзалась тягучая грусть, и становилось такъ грустно, такъ безысходно жалко самого себя, что хотѣлось обнять подушку и долго плакать тихими, горячими слезами. И эта грусть постепенно вытѣсняла и задавливала вспышки радостнаго чувства... Помню, я высвободился изъ подъ одѣяла, сѣлъ, поджавъ подъ себя ноги, и протяжно стоналъ, стараясь вызвать слезы и расплакаться. Мелькомъ взглянулъ я на террасу и увидѣлъ качающіися мокрыя вѣтви деревьевъ. Мнѣ стало жутко, сердце, дрогнувъ, застучало, и я закрылъ глаза, продолжая стонать. Зло и протяжно завывавшій вѣтеръ вдругъ съ трескомъ бросилъ тысячу дождевыхъ капель въ стекла, деревья въ саду жалобно заскрипѣли, вѣтви ихъ шурша захлестали по столбамъ террасы, и гдѣ-то въ домѣ съ визгомъ оторвалась и хлопнула ставня. Холодъ пробѣжалъ у меня по спинѣ, волосы на головѣ зашевелились, и тупой страхъ, точно вдругъ ударивъ въ сердце, остановилъ его. Я поспѣшно улегся, положилъ голову подъ подушку, закрылся такъ съ подушкой одѣяломъ и зажалъ пальцами уши. И въ такомъ положеніи пролежалъ я всю ночь, слыша только глухіе, отрывистые удары своего сердца...

— Когда я освободилъ голову изъ подъ подушки, уже свѣтало, и дождь пересталъ. Я поспѣшно вскочилъ съ дивана, наскоро одѣлъ на себя костюмъ и пыльные башмаки и неумытый, нечесанный, на ципочкахъ подошелъ къ стеклянной двери. Тихо отодвинувъ крючки и звякнувъ ключемъ, толкнулъ я дверь и вышелъ на еще мокрую послѣ дождя террасу. Было еще очень рано, не болѣе пяти часовъ, и солнце еще не показалось: небо почти сплошь было темно-синее. Помню, первое что поразило меня, это

воздухъ: онъ былъ какого-то особеннаго свѣтло-сѣраго, пепельнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ синеватаго цвѣта; казалось, онъ окутывалъ прозрачной дымкой всѣ предметы, отъ чего всѣ они казались легкими и точно готовыми ежеминутно заколебаться, задрожать. Я сталъ вглядываться въ эти предметы и... — этотъ моментъ я помню особенно ярко—вдругъ мнѣ показалось, что всѣ они какъ то особенно значительно, скрытно молчатъ, и что это молчаніе вопрошающее, недоумѣвающее: вѣдь вотъ эта скамейка, что стоитъ скосившись подъ дубомъ, вѣдь она явно молчитъ, вѣдь вотъ... вотъ сейчасъ по ней пробѣжитъ дрожь, и она заговоритъ и непремѣнно спроситъ меня что-то спокойное, но многозначущее.. или вотъ эти террасные столбы, развѣ они сейчасъ съ колебаніемъ не наклонятся ко мнѣ и не шепнутъ мнѣ съ тихой усмѣшкой свой вопросъ? или вотъ эта потонувшая въ сѣровато-синемъ тонѣ воздуха садовая дорожка, что ведетъ къ полукрытой калиткѣ, — зачѣмъ она медлитъ, когда дрожащіе голоса съ ея поверхности уже давно порываются тревожно спросить меня о чемъ то?... Опять сердце во мнѣ порывисто колотилось, какъ ночью, и я весь, точно отъ озноба, дрожалъ, переводя испуганные, расширенные глаза съ одного предмета на другой. Въ это время я почувствовалъ, что кто-то трется о мои ноги. Чуть не вскрикнувъ, глянулъ я внизъ: это была дворовая собака, съ которой я игралъ наканунѣ. Я нагнулся, чтобы погладить ее. Она потянулась всѣмъ тѣломъ, зѣвнувъ, издала протяжный вой, точно вышедшій у нея изъ живота, и уставилась на меня жесткими слезливыми глазами. Я взглянулъ въ эти глаза и сейчасъ же рванулъ руку обратно: въ глазахъ собаки я прочелъ все то же жуткое, ожидающее отъ меня что-то, выраженіе. А когда, дрожащій, поднялся я и съ трудомъ отвелъ взглядъ отъ собаки—тысячи глазъ мигающихъ, колеблющихся, уставились на меня въ выжидательной тревогѣ со всѣхъ предметовъ. И мнѣ

показалось, что сейчасъ вся природа съ трескомъ и грохотомъ заколеблется, обрушится и громовымъ голосомъ крикнетъ у меня надъ ухомъ: „по-че-му!“ Я схватился обѣими руками за террасную колонну и ударилъ изо всѣхъ силъ ногой продолжавшую тереться около меня собаку. Она громко и рѣзко завыла, и вмѣстѣ съ ея воємъ услыхалъ я и свой крикъ, дикій и пронзительный...—

— Да, это тогда природа впервые внушила мнѣ страхъ, загадочную боязнь чего то скрытаго, неразгаданнаго въ ней, тогда она впервые наполнила мою дѣтскую душу тяжелой тоской, тогда впервые эти чувства замѣнили и вытѣснили только что передъ этимъ обласкавшую меня радость... И, помню, когда меня тогда спросили, почему я кричалъ,—я совралъ, сказавъ, что испугался собаки. И потомъ всю жизнь тоже вралъ: всегда объяснялъ всѣ свои неудачи—а ихъ было не мало—то какими то внѣшними обстоятельствами, то моици будто обособленными „отъ толпы“ идеями. А на самомъ то дѣлѣ ни обстоятельство, ни идеи здѣсь не при чемъ. Просто—всю жизнь искалъ ласки, спокойствія и избѣгалъ тоски и страха, внушаемыхъ мнѣ природой и людьми...

— Да, я таковъ, только таковъ... осуждаю себя разумомъ и спрашиваю: почему это такъ?... но все-жъ.. я таковъ, только таковъ. И почему это никогда не хватало смѣлости сознаться въ этомъ! Вѣдь я не говорю: будьте такими! Я говорю лишь: я—таковъ.

— Былъ такимъ и мальчикомъ, былъ такимъ и юношей въ обществѣ двоюроднаго брата и его товарищей. Помню я, какъ часто насъ собиралось по вечерамъ, на разныхъ квартирахъ, семеро мужчинъ и четыре дѣвушки. И всегда, пока еще говорилъ, волновался, спорилъ, то какъ будто и такимъ одинокимъ себя не чувствовалъ и общей жизнью жилъ.., а какъ уставалъ и смолкалъ, такъ сразу точно стѣна выросла между мною и всѣми ими, прочими. И ужъ чужой я имъ, и мнѣ они—чужіе, и ужъ инстинктивно

чувствуешь, что подѣлиться съ кѣмъ-либо своимъ личнымъ душевнымъ горемъ — невозможно. А когда чаша переполнялась, и личное горе, вдругъ всколыхнувшись, заливало тлѣющую радость сердца да злымъ, надоедливымъ червемъ растлѣвающе копошилось въ разумъ, тогда я, страдавшій между товарищами, все-жъ зналъ, что не къ кому подойти и сказать:— послушайте, я несчастенъ и одинокъ, я сомнѣвающийся, я усталъ, и слезы давно готовы политься изъ моихъ глазъ... завтра, товарищъ, вмѣстѣ пойдемъ умирать за общее дѣло, а сегодня позволь мнѣ всплакнуть на твоей груди. — А если-бъ подошелъ и сказалъ...—о, сколько неумѣстнаго нашли бы въ этомъ! И смѣшного, и сентиментальнаго! И уходилъ, чувствуя, что личную жизнь надо гдѣ-нибудь и какъ-нибудь устроить подальше отъ общаго дѣла.

— Одинъ ли я страдалъ всѣмъ этимъ? Сколько разъ задавалъ я себѣ этотъ вопросъ приглядываясь къ товарищамъ. И такъ и не рѣшилъ его. Я зналъ лишь одного человѣка... странно жившаго и странно умершаго. Онъ унесъ съ собой въ могилу тайну нравственнаго уродства. И чудится мнѣ въ этомъ уродствѣ что-то родное, и мерещится мнѣ, что ключъ къ его тайнѣ покоится на днѣ моего сердца...

— Павликъ! добрый сердечный Павликъ... съ годъ тому назадъ его исключили изъ университета, онъ уѣхалъ за-границу и черезъ нѣсколько мѣсяцевъ застрѣлился въ Парижѣ. И я былъ единственный, которому онъ написалъ перець смертью пару словъ. Вотъ эти странные слова, что онъ написалъ мнѣ: „прошайте, Константинъ Дмитриевичъ, жалѣть не о чемъ... жизнь моя... сегодня революція и *fromage à vingt centimes*, завтра революція и *fromage à vingt centimes*, и послѣ завтра тоже революція и тоже *fromage à vingt centimes*... и ни на сантимъ тепла любви и ласки“... —

Милый, бѣдный Павликъ! тебѣ не было отрадно въ этой жизни... Я помню, какъ ты приходилъ въ

мою комнату и, глядя на меня сквозь очки большими, близорукими глазами, говорилъ: „сыграйте мнѣ, пожалуйста, что нибудь очень печальное, унылое“! И я игралъ что нибудь очень печальное, унылое, и ты, сидя на моемъ старомъ диванѣ, всхлипывая плакать, снявъ очки и закрывъ худой, блѣдной рукой глаза. Ты никогда не довѣрилъ мнѣ своего горя, но я былъ единственнымъ человѣкомъ, передъ которымъ ты не стыдился плакать. Бѣдный Павликъ, тебѣ не было отратно въ этой жизни... Но было ли бы тебѣ отратно въ той новой жизни, въ томъ иномъ грядущемъ мірѣ, о которомъ ты мечталъ и на созданіе котораго посвятилъ свою недолгую жизнь... или въ той десятой жизни, за которую судорожно схватятся черезъ тысячелѣтія наши отдаленные потомки, когда найдутъ предшествоващія девять негодными, ихъ неудовлетворяющими. Наставайте, иные міры,—я мечтаю о васъ, я васъ желаю всѣмъ сердцемъ, и все-жъ... будетъ ли голодъ и рабство, будетъ ли сытость и свобода, но всегда для всѣхъ и для каждого неизмѣнно будетъ существовать, кромѣ голода и рабства, кромѣ сытости и свободы, еще другая жизнь—жизнь повседневныхъ будничныхъ, каждосекундныхъ столкновеній между людьми, жизнь, которая опредѣляется въ моментъ, когда двое встрѣчаются и одинъ говоритъ: „здравствуйте, какъ поживаете?“, а другой отвѣчаетъ: „ничего себѣ, помаленьку... какъ вы?“ Мрачная, затхлая, полная тяжелаго недовѣрія, злобнаго подозрѣнія—эта жизнь теперь убиваетъ усталыя одряхлѣвшія сердца людей, Наставайте-жъ, иные міры, и измѣняйте *сущность* жизни!.. но сколько-же васъ всплыветъ и снова въ вѣчность канетъ прежде, чѣмъ измѣнится и будничная *поверхность* жизни?!

... Тебѣ не было отратно въ этой жизни... и ты умеръ...—

... Позоровъ въ изнеможеніи отбросилъ отъ себя перо и, вставъ, порывисто зашагалъ по комнатѣ. Мысли его отъ умершаго Павлика обратились къ самому

себѣ. Онъ вспомнилъ, что и онъ самъ одинъ изъ тѣхъ семи, что собирались на разныхъ квартирахъ, и что его жизнь сложилась можетъ быть страннѣе и безпорядочнѣе, чѣмъ жизнь товарищей. Вотъ ужъ почти два года, какъ онъ окончилъ съ золотой медалью консерваторію, а имя его все такъ же неизвѣстно, какъ и было тогда, три года тому назадъ, когда его исключили со второго курса университета и приняли въ консерваторію на послѣдній курсъ. А вѣдь онъ тогда бросилъ мечту объ университетѣ изъ-за нея, изъ-за музыки, вѣдь онъ мечталъ... о чемъ, о чемъ онъ только не мечталъ, когда думалъ, былъ увѣренъ, что музыкой для себя и для другихъ будетъ создавать такія возвышающія, обновляющія настроенія, которыхъ жизнь сама изъ себя создать не можетъ!.. Прожилъ полтора года за границей, цѣлые часы проводилъ въ музеяхъ, галереяхъ, храмахъ, цѣлые дни просиживалъ у Аѳинскихъ памятниковъ, цѣлые вечера въ Венеціи, у открытаго на море окна, игралъ и переигрывалъ какое нибудь *Impromptu* Шопена... а работать - не работалось. А когда возвратился, то попалъ въ самый водоворотъ, въ самую гущу раньше имъ на родинѣ не виданной, вдругъ всколыхнувшейся жизни. И испугался этого водоворота... такъ какъ чувствовалъ себя ему чужимъ и зналъ, что рѣшительно никакъ не вліяетъ на его ходъ. И вотъ новая сумасшедшая выходка: поссорился съ родителями, родственниками, отъ которыхъ завистѣлъ матеріально, и уѣхалъ въ этотъ южный отдѣльный городишко съ твердымъ намѣреніемъ здѣсь въ провинціи, въ глуши отдалиться работѣ. Ну что-жъ?! вотъ онъ здѣсь уже болѣе четырехъ мѣсяцевъ, живетъ въ затхлыхъ, грязныхъ номерахъ... а работаетъ и здѣсь очень туго...

Въ дверь стукнули, и въ комнату вошелъ корридорный Ѳедоръ. Ѳедоръ за пять мѣсяцевъ очень привыкъ къ Позорову и поэтому входитъ къ нему небрежной развалистой походкой, лѣнливо опустивъ свое всегда заспанное лицо. Войдя, онъ никогда сразу

не скажетъ, зачѣмъ собственно пришелъ, а сначала хмуро помолчить, поведетъ глазами по всѣмъ угламъ комнаты и потомъ еще съ недовольнымъ видомъ, точно по обязанности, расскажетъ какую нибудь городскую новость. Всѣ эти новости и сплетни городишки Ѳедоръ, Богъ вѣсть какимъ чудомъ, узнаетъ всегда первый, хотъ, кажется, только и дѣлаетъ, что спать по цѣлымъ днямъ на скамейкѣ, стоящей въ передней гостиницы. И только доложивъ о новостяхъ, онъ, снова помолчавъ и покруживъ глазами по комнатѣ, приступаетъ, наконецъ, къ дѣлу.

Позоровъ при входѣ Ѳедора продолжалъ задумчиво и взволнованно шагать по комнатѣ, съ тоской думая о своей безработицѣ.

— Только что докторъ на шарабанѣ на машину проѣхали... должно въ Харьковъ собрался.. — проговорилъ Ѳедоръ и, вскинувъ глаза, лѣниво послѣдилъ ими за шагающимъ Позоровымъ.

Позоровъ остановился у окна и сталъ оглядывать грязно-сѣрое небо, стараясь отыскать гдѣ нибудь голубой клочекъ.

— Актеръ, что въ театру играть пріѣхалъ, сказываютъ, вчера въ клубѣ полторы тыщи денегъ оставилъ...

На этотъ разъ сонный взглядъ Ѳедора скользнулъ по густому слою пыли, покрывавшему послѣ утренней уборки рояль, книги и ноты. Позоровъ отошелъ отъ окна и сталъ машинально перелистывать исписанные имъ листы бумаги.

— Самоварчикъ, что ли, подавать... седьмой часъ пошелъ,—пробормоталъ Ѳедоръ самъ про себя и, не дожидаясь отвѣта, направился къ дверямъ. Въ дверяхъ, однако, онъ снова остановился и сталъ оглядывать свои сапоги, становясь съ одной ноги на другую.

— Вотъ, Константинъ Дмитріевичъ, сапоги новые покупать придется... эти совсѣмъ поистрепались, того и гляди, что подметка отлетитъ...

И уже уходя и закрывая дверь, онъ совѣмъ тихо добавилъ:

— Съ полгода всего и есть-то, какъ купилъ ихъ... въ Харьковѣ, восемь рублей денегъ далъ.

Когда Федоръ вышелъ, Позоровъ снова сѣлъ къ столу писать дальше. Теперь ужъ онъ съ трудомъ владѣлъ собой, руки его замѣтно дрожали, и лицо отъ времени до времени беспокойно передергивалось...

Рѣшительно не хочется начинать отравлять себя морфіемъ—скверная эта привычка, а, очевидно, придется... какъ это непріятно въ самомъ дѣлѣ: за послѣднее время чувствую, что совершенно разучился разстраиваться: разстроишься изъ-за какихъ нибудь въ сущности пустяковъ, и ужъ на цѣлую недѣлю или больше погигло всякое спокойствіе, и ужъ никакъ, никакимъ манеромъ, не настроишь себя опять. Душа въ эти дни точно старая, испорченная скрипка, у которой ослабли колки, и струны которой съ жалобнымъ стенаньемъ возвращаются къ одному и тому же разбитому звуку всякій разъ, когда пытаешься поднять ихъ и заставить звучать рѣшительно и бодро. Вѣдь вотъ вспомнилъ о Павликѣ, и ужъ на душу сползла такая безотчетная тоска, такой безотчетный страхъ передъ каждой слѣдующей минутой жизни, точно вотъ... вотъ настанетъ конецъ свѣта, и всѣ и все умретъ, а ты одинъ останешься жить и бродить среди навѣки замершаго, тебѣ безотвѣтнаго міра. У меня даже вотъ лобъ и пальцы похолодѣли, и голова немного кружится... а этотъ проклятый дождь уже, кажется, трещитъ не по стеклу, а бьетъ меня прямо по головѣ, точно иголками колетъ мои нервы... Надо бросить писать...

— ... Дядя Егоръ Петровичъ и домашніе смѣялись надъ моей сумасшедшей фантазіей—жить въ этомъ захолустномъ городишкѣ... Они говорятъ, что все это отъ бездѣлія. Что бы они сказали, если бы узнали, что

я вотъ ужъ третій день не подхожу къ роялю и вотъ сижу и пишу какія-то никому ненужныя записки, и дрожу при этомъ всѣмъ тѣломъ, точно старый дворový пѣсъ, продрогшій осеннею ночью въ холодной будкѣ... Можетъ быть, въ самомъ дѣлѣ, въ комнатѣ холодно... надо Федору сказать, чтобъ протопилъ...

— „Захолустный городишко“! гм!... но не все ли равно мнѣ гдѣ ни жить? Я помню хорошо, что въ Парижѣ, Лондонѣ, Берлинѣ я въѣзжалъ совершенно съ такимъ же спокойствіемъ, съ какимъ пріѣхалъ сюда, въ это самое захолустье. Всѣ, даже эти самыя большіе европейскіе города всегда почему-то казались мнѣ давнымъ давно знакомыми, и все, что видалъ я въ нихъ новаго, вовсе не казалось мнѣ новымъ, а чѣмъ-то давно, съ дѣтства до пошлости извѣстнымъ и опротивѣвшимъ. И еще одно странное впечатлѣніе: всѣ эти громадныя города съ дворцами, банками, театрами, ресторанами, съ вѣчной суевающейся толпой, всегда казались мнѣ искусственными, то есть я хочу сказать, что жизнь этихъ городовъ казалась мнѣ не настоящей, а поддѣльной—во всемъ мнѣ чудилось что-то нарочитое... да, именно нарочитое, и казалось, что если всѣ люди вздумаютъ хоть на одинъ день вдругъ опустить руки, то жизнь этихъ городовъ какъ то ржаво-болѣзненно остановится навсегда...

Казалось, что-то болѣзненное, тлетворное давно уже въ самомъ корнѣ поразило жизнь этихъ городовъ съ дымными фабриками нездороваго труда, съ блестящими дворцами нездоровой праздности, и только какая-то особенно нервная людская суеа искусственно еще сдерживаетъ ужасный, грохочущій обвалъ, что уже давно готовъ грянуть въ воздухъ и, обрушившись, задавить, снести, превратить въ ничто все то, надъ чѣмъ копошатся, надъ чѣмъ суетливо бьются эти милліоны неспокойныхъ, толкающихъ другъ друга людей.—Стало темнѣть, и въ комнату поползли сумеречныя тѣни. Федоръ, стуча сапогами, внесъ самоваръ, поставилъ его на столъ и, постоявъ и провор-

часть что-то про себя, ушелъ, по обыкновенію заглядывая въ углы комнаты.

Позоровъ уже не писалъ: онъ сидѣлъ, охвативъ голову руками и весь отдавшись хорошо ему знакомому острому чувству тоски. За послѣднее время эта тоска стала болѣзненно овладѣвать всѣмъ его существомъ и уже доставляла ему наслажденіе — точно отравляла пріятнымъ ядомъ. Онъ уже любилъ не бояться увѣрять себя, что вся его жизнь пройдетъ въ такихъ сѣрыхъ, безцвѣтныхъ дняхъ, въ такихъ скучныхъ, одинокихъ вечерахъ, и любилъ съ непонятною дрожью на сердцѣ думать въ такія минуты о томъ, что гдѣ нибудь теперь, въ это самое время, люди наслаждаются счастьемъ... вотъ ярко освѣщенный залъ, веселые звуки оркестра, много цвѣтовъ... вотъ стройныя, изящныя дѣвушки въ бѣломъ...

Когда часа черезъ два Федоръ опять пришелъ за самоваромъ, онъ засталъ Позорова все на томъ же мѣстѣ, только свалившимся головой на столъ и спящимъ. Самоваръ, до котораго Позоровъ не дотронулся, собираясь потухнуть, пищалъ такъ громко, точно просилъ о помощи и жаловался, что имъ не пользуются...

.

III.

Странная встрѣча.

Это случилось на слѣдующее утро. Позоровъ еще лежалъ въ кровати. Черезъ закрытыя ставни въ комнату били необыкновенно яркіе лучи солнца, а сквозь выпавшую дощечку глядѣло молодое, синее, какъ будто умытое прошедшими дождями и еще влажное, небо... и вдругъ на дворѣ затренькали несложные аккорды скрипки, и звенящій дѣтскій голосъ запѣлъ какую-то пѣсенку. Позоровъ приподнялся въ кровати на локтяхъ и при-

слушался: странные слова пѣсенки поразили его—они были русскія, но рассказывали о какомъ то бѣдномъ конюхѣ, что одѣлъ черныя латы, опустилъ забрало и выѣхалъ на турниръ нещадно биться съ собственнымъ господиномъ своимъ, рыцаремъ знатнымъ, чтобы отомстить ему за отнятую возлюбленную. При этомъ этотъ самый рыцарь, знатный, очевидно, былъ большой повѣса и ловкій мошенникъ, потому что пѣсенка нѣсколько разъ повторяла:

„Клялся любить навѣки,
А бросилъ въ тотъ-же день!“

Такъ что гнѣвъ бѣднаго конюха, что одѣлъ черныя латы, очевидно, былъ вполне законенъ...

Многихъ словъ Позоровъ не могъ разобрать, и пѣсенка оборвалась прежде, чѣмъ онъ узналъ о результатахъ злополучнаго турнира.

Вставъ съ кровати и чувствуя себя, какъ всегда послѣ сна, усталымъ и расслабленнымъ, онъ подошелъ къ окну и, толкнувъ ставни, взглянулъ на дворъ. На дворѣ, между грязнымъ колодцемъ и лужей оттаявшаго снѣга, въ которой отражались небо и солнце, стояла маленькая, худая дѣвочка лѣтъ тринадцати. Одежда ея была чрезвычайно странна: на ней было малиновое, сильно потертое, но когда то, видно, очень дорогое бархатное платье; поверхъ платья на плечи былъ накинута сѣрый съ рыжими пятнами платокъ, огромный, тяжелый, такъ не подходившій къ ея росту; ботинки и чулки были грязные и во многихъ мѣстахъ продранные, а на головѣ не было ни шляпки, ни даже платочка. Личико дѣвочки было необыкновенно худо, изжелта-блѣдное и съ темными кругами подъ глазами; темные волосы, стриженные какъ у мальчика, густыми прядями падали на одну сторону лба, а съ другой, открытой стороны лобъ, высокій и нѣжный, вмѣстѣ съ чуть заостреннымъ носикомъ производилъ впечатлѣніе какой то трогательной наивности и вмѣстѣ съ тѣмъ гордости; глаза дѣвочки, смотрѣвшіе

чуть исподлобья, казались, несмотря на выражавшуюся въ нихъ усталость, даже измученность, суровыми, озлобленными.

Въ это время, когда на нее смотрѣлъ Позоровъ, она опустила скрипку и видно обдумывала, уйти ли съ этого двора или сыграть еще что нибудь. Неожиданно она встрѣтилась глазами съ Позоровымъ и, поднявъ скрипку, заиграла...

При первыхъ же звукахъ Позоровъ тихо вскрикнулъ и, схватившись обѣими руками за больно ударившее въ груди сердце, не вѣря своимъ ушамъ, сталъ слушать мелодію...

— Какъ... неужели? не можетъ быть.. она... на скрипкѣ!?

Первая часть Лунной сонаты! Она ли? Можетъ быть онъ галлюцинируетъ!.. можетъ быть слухъ измѣняется?! Но нѣтъ же... вотъ она, вотъ они, эти звуки: луна—печальница плыла по небу... Конечно, она...—

И, самъ не сознавая, что дѣлаетъ, Позоровъ, прислушиваясь къ мелодіи, съ лихорадочной поспѣшностью и весь дрожа, натянулъ на себя кое какъ одежду, выбѣжалъ изъ комнаты, пробѣжалъ корридоръ и, бѣгомъ же спустившись съ лѣстницы, очутился на крыльцѣ задняго двора. Здѣсь онъ остановился и, тяжело дыша, сталъ слушать, не спуская глазъ съ игравшей дѣвочки... А она дѣйствительно играла первую часть Лунной сонаты. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ она варьировала, переиначивала мелодію, нѣкоторыя мѣста совсѣмъ пропускала и снова, и снова возвращалась къ самому первому, основному мотиву: луна—печальница плыла по небу... И нѣжные звуки, которые извлекала она изъ инструмента своими слабыми, тонкими руками, были какъ то не по дѣтски скорбны и унылы: что-то плачущее и тоскливое, лично пережитое, слышалось въ нихъ... но грусть ихъ была такъ же недосыгаемо чиста, наивна и изящна, какъ

вся ея хрупкая фигурка въ протертомъ платьѣ и громадномъ платкѣ на плечахъ, какъ тонкое ея молодое личико, исхудалое и измученное, склоненное надъ скрипкой.

Кончивъ играть, она мелькомъ, зло и презрительно взглянула на Позорова, постояла нѣсколько секундъ на одномъ мѣстѣ, потомъ спрятала скрипку подъ платокъ и медленно пошла къ воротамъ...

— Неужели только догнать ее и сунуть въ руку пятакъ?—подумалъ Позоровъ, и сердце его замерло.— Нѣтъ, это невозможно: она страдала, когда играла... какъ за страданія предложить пятакъ?—

Она уже была ему безконечно дорога, эта измученная больная дѣвочка со скрипкой, сердце билось повышенно въ эту минуту уже для нея, и хотѣлось приласкать, согрѣть ее... Позоровъ неожиданно равнуса, побѣжалъ и за воротами догналъ дѣвочку...

— Послушайте...—началъ онъ, и нѣсколько разъ пошевелилъ побѣлѣвшими отъ волненія губами, не имѣя силъ и не зная какъ продолжать. При этомъ онъ подумалъ:—я обижу ее... она подумаетъ, что изъ благодѣянія, изъ милости...—

— Послушайте... я умоляю васъ... зайдите ко мнѣ... я дамъ вамъ поѣсть, согрѣю васъ...—

Она было остановилась, но, услыхавъ его предложеніе, медленно, апатично повернулась и, не говоря ни слова, пошла дальше.

И онъ пошелъ за ней. И снова сталъ просить ее, и чувствовалъ въ своемъ голосѣ не благодѣяніе, не милость, а просьбу, даже мольбу.

— Послушайте, не уходите... я все сдѣлаю для васъ... не оставляйте меня... Я такъ одинокъ!—не ожиданно пожаловался онъ и почувствовалъ, что голосъ его дрогнулъ.

Брови дѣвочки чуть задрожали, она остановилась и, медленно повернувъ голову, уставилась на него удивленнымъ, недовѣрчивымъ взглядомъ; но и

выраженіе состраданія промелькнуло въ ея глазахъ. А онъ, тяжело дыша и кусая побѣлѣвшія губы, продолжалъ, чуть дотронувшись рукой до ея платка:

— Я страдаю, не покидайте меня... я несчастенъ, у меня много горя... Если и вы одиноки и несчастны, мы будемъ товарищами... Пойдемте ко мнѣ... мы будемъ вмѣстѣ плакать.. я вамъ въ этомъ сознаюсь: мнѣ хочется плакать...—

Онъ замолчалъ, и они съ минуту стояли молча, глядя другъ другу въ глаза. Потомъ она повернулась и все такъ же молча пошла назадъ по направленію къ воротамъ, во дворъ. И онъ побѣждалъ впереди ея, держась обѣими руками за сердце, которое больно билось въ его груди...

.
.

— Сюда, сюда идите — проговорилъ Позоровъ, открывая передъ дѣвочкой дверь своей комнаты.

— Вотъ садитесь сюда, на диванъ... а я сейчасъ принесу вамъ что-нибудь поѣсть, вѣдь вы, навѣрное, голодны?—

И боясь, чтобы она не отказалась, онъ, не дожидаясь отвѣта, снова выбѣжалъ изъ комнаты. Въ концѣ корридора, въ кухнѣ, ему съ трудомъ, при содѣйствіи Федора удалось уговорить повара разогрѣть тарелку вчерашняго супа и кусокъ мяса. Понести обѣдъ въ комнату вызвался Федоръ, но Позоровъ, боясь смутить дѣвочку, понесъ его самъ...

— Ну, вотъ кушайте, я прошу васъ... вы должны... я прошу васъ...—Онъ поставилъ тарелку передъ ней на столъ, но она продолжала сидѣть не шевелясь и прижимая къ себѣ обѣими руками свою скрипку.

— Вы стѣсняетесь меня?—спросилъ Позоровъ.— Я... сяду вотъ сюда, на кровать, и буду на васъ смотрѣть, а если не хотите, то я отвернусь и буду смотрѣть не на васъ, а въ стѣну...

— Она, не подымая глазъ, положила около себя

скрипку и, продолжая держать ее одной рукой, другой взяла ложку и начала медленно и нехотя ѣсть супъ. Громадный платокъ упалъ при этомъ на диванъ, и ея худыя дѣтскія плечи и чуть книзу наклоненная посадка головки поразила Позорова своей нѣжностью и строгимъ спокойствіемъ. Онъ уѣлся на кровать и, положивъ локти на колѣни, принялся смотрѣть на нее. Сразу стало видно, что она уже давно основательно не ѣла и была голодна: уже послѣ первыхъ глотковъ она начала ѣсть съ жадностью, съ нервной торопливостью долго недоѣдавшего человѣка. Лицо ея то вспыхивало, принимало нервное выраженіе, то снова потухало, становилось грустнымъ, апатичнымъ, и ложка съ супомъ не доносилась до рта, и вся она, сгорбившись, постарѣвъ, какъ бы застывала, хмуро задумавшись надъ чѣмъ-то. Именно въ такой моментъ глаза ея вдругъ медленно поднялись и невольно и зло остановились на Позоровѣ, и онъ услышалъ ея голосъ:

— Вы тоже ее любите?—

— Кого? удивился онъ, чувствуя себя неловко подъ ея взглядомъ, испытывая какую то смутную робость,

— Сонату... Лунную сонату...—

Въ немъ все заволновалось, задрожало...

— Да, люблю, очень люблю... Какъ странно, что вы играете ее на скрипкѣ!—

Глаза ея, продолжавшіе смотрѣть не него, чуть сощурились, выразивъ воспоминаніе.

— Мнѣ всегда ее играла мама, я переложила по памяти для скрипки.—

Онъ обрадовался, что она первая заговорила.

— Какъ васъ зовутъ?—спросилъ онъ, стараясь поддержать разговоръ.

— Меня зовутъ—Жерменъ.—

— Вы не русская?!—

— Нѣтъ... мама была француженкой, и я родилась въ Парижѣ.—

— У вашей мамы былъ мужъ русскій?—

— Нѣтъ, онъ не былъ ей мужъ... мама была его любовницей!—неожиданно вспыхнувъ, почти крикнула она, и лицо ея поблѣднѣло, а глаза потемнѣли и стали еще болѣе злыми. Онъ не рѣшился дальше спрашивать, а она вдругъ отодвинула отъ себя тарелку съ недоѣденнымъ супомъ, поспѣшно бросила на себя платокъ и, взявъ скрипку, пошла къ дверямъ. Онъ бросился впередъ и загородилъ ей дорогу. Сердце его опять больно билось: онъ прочелъ тяжелыя не дѣтскія страданія въ поблѣднѣвшемъ лицѣ Жерменъ, и ему казалось, что эти страданія суть его страданія, что ея жизнь неразрывно связана съ его жизнью, и что, уйдя, она лишитъ его чего то хорошаго, свѣтлаго, что онъ теперь переживаетъ, и что есть его послѣдняя надежда на счастье. Онъ, самъ не объясняя себѣ своего порыва, заломилъ передъ ней руки и долго и громко стоналъ, сжавъ зубы и ничего не произнося... потомъ тихо сказалъ:

— Не уходите, умоляю васъ...—

И долго, почти цѣлую минуту стояли они послѣ этого молча.

— Умоляю васъ... — снова повторилъ онъ, и опять, еще дольше стояли они другъ противъ друга молча...

И потомъ онъ совсѣмъ тихо сказалъ:—Я люблю васъ...—И нисколько не удивился тому, что сказалъ ей это черезъ полчаса послѣ знакомства: въ головѣ его промелькнула странная мысль, что они уже давно знаютъ другъ друга, всегда думали другъ о другѣ; что жизни ихъ уже давно связаны пережитымъ горемъ, общимъ страданіемъ, и что только что-то внѣшнее, случайное не давало имъ возможности встрѣтиться.

— Я люблю васъ,—повторилъ онъ еще тише и взялъ ея тонкую, дрожавшую руку.—Вы моя сестра, вы устали, останьтесь у меня... лягте и отдохните,

а я вамъ мѣшать не буду, я уйду, если хотите... или я встану въ корридоръ за дверьми, буду сторожить и если кто придетъ, я крикну: не ходите туда, тамъ спать моя сестра! Позоровъ замолчалъ, а Жермень продолжала смотрѣть на него, пораженная, широко раскрывъ глаза, и взгляды ея говорилъ, что она позабыла и о своемъ положеніи, и о его предложеніи остаться, а вся лишь предалась внезапно предававшемуся ей чувству его страданій.

— Вы очень несчастны?—спросила она полушопотомъ и не мигая глазами.

— Да, я одинокъ и страдаю... а вы... кто у васъ есть?—

— Никого... мама умерла.—

— Оставайтесь у меня.—

Выраженіе состраданія и удивленія уже сошло съ ея лица, голова опять хмуро склонилась къ полу, и межъ глазъ легла напряженная складка. Наконецъ она рѣшилась: лицо ея изъ суроваго, почти злого стало жалкимъ, безпомощнымъ, и, болѣзненно улыбнувшись однѣми дрогнувшими губами, она протянула ему обѣими руками скрипку и долго и внимательно слѣдила за нимъ, когда онъ бережно укладывалъ инструментъ на рояль. Потомъ все такъ же жалобно, смущенно улыбаясь, скинула съ себя платокъ, тяжело, по-старчески вздохнула и сѣла на диванъ, покорно сложивъ руки на колѣняхъ. Какое-то новое выраженіе усталости, пришибленности разлилось по ея измученному лицу, по худымъ плечамъ, по тонкимъ, безсильнымъ рукамъ: точно жизнь, не пожалѣвъ ея ранняго возраста, ея хрупкой нѣжности, съ дѣтства навалила на ея плечи гору житейскихъ заботъ, роковую ношу печалей и ужасовъ, и тѣмъ подорвала силу ея робкаго, трепетнаго духа, укрывавшагося въ слабомъ, маленькомъ тѣлѣ.

— Вы очень устали?—спросилъ Позоровъ, сосредоточенно останавливаясь передъ ней.

— Да... я давно не отдыхала.—

— Отдохните, прошу васъ... лягте у меня на постели и отдохните... Посмотрите, посмотрите внимательно на мою комнату: какъ темно въ ней, сѣро и жутко-скучно!—такова моя жизнь... Довѣрьте съ любовью мнѣ вашу жизнь, придите ко мнѣ—и увидите, какъ станетъ свѣтло въ комнатѣ, какъ уютно, какъ радостно! и такъ же будетъ у меня на душѣ... Лягте, отдохните у меня... а я... о, я!..—

Онъ схватилъ шапку, еще нѣсколько разъ пробѣжался по комнатѣ, потомъ, остановившись передъ Жерменъ, громко и рѣзко, скорѣе себѣ однако, чѣмъ ей, сказалъ:—Я—пойду...—И мягко добавилъ:—Лягте, отдохните, прошу васъ...

Выйдя изъ комнаты, онъ заперъ дверь на ключъ, спряталъ ключъ въ карманъ и остановился въ нерѣшительности тутъ же въ корридорѣ.

— Скверно это!.. Вѣдь платье на ней сплошь потертое, чулочки и башмаки грязные и тоже продранные, а бѣлья, можетъ быть, и совсѣмъ нѣтъ, а если и есть, то, вѣроятно, старое и уже негодное. Скверно это...

Надо было все купить, а между тѣмъ... Позоровъ вынулъ кошелекъ и сталъ считать свои деньги. Въ кошелькѣ оказалось одиннадцать рублей сорокъ копеекъ. На эти деньги нужно было прожить еще около трехъ недѣль, до новой получки. Отецъ высылалъ ему тридцать семь рублей ежемѣсячно. Двѣнадцать рублей Позоровъ платилъ за прокатъ рояля, десять рублей за комнату, и на пятнадцать жилъ цѣлый мѣсяцъ, не дожда и не допивая...

Какъ быть? Съ минуту онъ постоялъ въ нерѣшительности, взволнованно шепча что-то про себя, потомъ торопливо направился къ выходу. Пройдя мимо спавшаго въ передней на скамейкѣ Федора, онъ вышелъ на крыльцо гостиницы. Здѣсь онъ снова остановился, жмурясь и пожимаясь подъ яркими,

горячими лучами солнца, которые сразу подѣйствовали на него какъ-то расслабляюще и вызвали на лбу и на всемъ тѣлѣ холодную испарину, а въ лѣвомъ вискѣ протяжно и тупо заломила знакомая боль.

Перейдя затѣмъ широкую, еще не совсѣмъ оттаявшую дорогу, онъ миновалъ нѣсколько домовъ и вошелъ въ тотъ, на которомъ висѣла синяя вывѣска съ государственнымъ орломъ и надписью „Почтовое отдѣленіе“. Въ полутемной комнатѣ съ низкимъ потолкомъ, въ которую вступилъ онъ, звякнувъ колокольчикомъ и отворивъ обитую продранной клеенкой и войлокомъ дверь, пахло чѣмъ-то затхлымъ и кислымъ: старымъ, пропотѣвшимъ чиновничьимъ мундиромъ, грязнымъ, сырымъ поломъ и еще чѣмъ-то, о чемъ, вѣроятно, надо было спросить тутъ же на деревянной скамьѣ спавшаго сторожа, завѣдывавшаго чистотой казеннаго помѣщенія. Okликнувъ нѣсколько разъ тоже дремавшаго за рѣшеткой чиновника, Позоровъ получилъ бланкъ и, немного подумавъ, написалъ на немъ: „Вышлите немедленно 25 рублей, необходимо на жизнь“.

— На жизнь... на жизнь...—подумалъ онъ, вспоминая отца и въ нерѣшительности вертя въ рукахъ перо.

— Конечно, это моя жизнь,—почти вслухъ проговорилъ онъ и еще съ минуту шепталъ что-то, какъ будто увѣщевая себя.

Потомъ приписалъ адресъ родителей и отдалъ бланкъ чиновнику.

Выйдя изъ затхлаго почтового отдѣленія уже съ сильной ноющей ломотой въ головѣ, Позоровъ, снова миновавъ нѣсколько домовъ, вошелъ въ мануфактурную лавку, въ которой кстати продавались почтовые принадлежности, мыло, духи, помада; а надъ духами даже красовались нѣсколько банокъ съ вареньемъ.

Здѣсь онъ, краснѣя и заикаясь, съ трудомъ объяснилъ толстой, красной торговкѣ, что ему нужно бѣлье для дѣвочки лѣтъ тринадцати, небольшого роста.

— Маленькая, худенькая такая... — повторялъ онъ безъ конца.

— Чтонибудь мягонькое, пожалуйста... и дешевое...

— Вамъ съ полотна или бумажное?

— Чтонибудь мягонькое, пожалуйста... и дешевое...

Въ концѣ концовъ хозяйка продала ему двѣ полныя смѣны бѣлья за 2 руб. 10 коп.

Платья онъ рѣшилъ было покамѣсть не покупать, да попалось одно такое замѣчательное—какъ разъ для роста Жермень и къ тому еще шерстяное,—о, онъ былъ увѣренъ, что оно шерстяное,—какъ тутъ не прикинуться къ цѣнѣ?

Однако, когда хозяйка запросила четыре рубля, онъ жестоко смутился и въ нерѣшительности молчалъ, бросая на платье ласковые взгляды.

— Нельзя ли какъ-нибудь уступить за три рубля? — спросилъ онъ, наконецъ, робко и покраснѣвъ.

Хозяйка сейчасъ же согласилась, но тутъ же навязала ему кусокъ „пахучаго“ мыла и какую-то красную ленту; и онъ не могъ отказаться, такъ какъ купилъ шерстяное платье за три рубля. Такимъ образомъ въ этой лавкѣ оставилъ онъ около шести рублей. Затѣмъ въ другой лавкѣ была еще куплена пара башмаковъ; стоимость ихъ была 1 рубль 75 копѣекъ—тѣмъ болѣе что были они, по увѣренію приказчика, „вѣнскаго“ издѣлія. Вѣнскаго или не вѣнскаго... а вотъ черными кисточками вверху надъ послѣдней пуговицей они, дѣйствительно, щеголяли, а это-то и прельстило Позорова. И настолько прельстило, что онъ даже спросилъ пару запасныхъ кисточекъ на случай, молъ, потери. На этой запасной парѣ кисто-

чекъ однако онъ рѣшилъ остановиться и весь нагруженный покупками, радостный, взволнованный, съ тяжелой ломотой въ головѣ и съ дрожью въ ногахъ направился домой.

Тихо, задерживая дыханіе и стараясь не шумѣть, подошелъ онъ къ дверямъ своей комнаты.

— Она, навѣрное, спитъ—прошепталь онъ улыбаясь, прислушиваясь къ комнатѣ и придерживая рукой снова забившееся сердце.

Еле слышно повернулъ онъ въ замкѣ ключъ и отворилъ дверь.

И войдя, остановился, пораженный.

Жермень съ тряпкой въ рукахъ стояла на диванѣ и вытирала пыль съ висѣвшаго на стѣнѣ зеркала. Видно было, что она все время возилась съ комнатой, Федоръ, который сегодня совсѣмъ еще не прибиралъ, всегда ограничивался тѣмъ, что складывалъ постель да наскоро прохаживался метлой по полу. Теперь же книги, ноты, тетради, раньше тамъ и сямъ разбросанные по роялю, были уложены въ порядкѣ, пыль повсюду стерта и полъ аккуратно подметенъ.

При входѣ Позорова Жермень густо покраснѣла и, опустивъ тряпку, въ смущеніи продолжала стоять на диванѣ.

— Что это? зачѣмъ вы?... зачѣмъ утруждаете себя?—спросилъ онъ. Смущенно, но со злостью глядя ему прямо въ глаза, она отвѣтила:

— Я должна у васъ работать... иначе жить не могу... мама говорила: мужчинѣ нужна въ женщинѣ или любовница, или прислуга —

Онъ не сразу отвѣтилъ: онъ понялъ, что жизнь успѣла привить ей преувеличенно-мрачный взглядъ на людей, и что съ этимъ взглядомъ придется бороться.

— Послушайте, Жермень,—началь онъ, сложивъ вещи на столъ и прохаживаясь по комнатѣ—вы не правы, вы абсолютно не правы. Ваша мама, навѣрно, много страдала, люди причинили ей много зла, поэтому

она ихъ не любила. Милая, слушайте, если бы не было честныхъ любящихъ, великихъ сердецъ, то откуда взялись бы эти звуки, что вы такъ недавно играли здѣсь, у меня подъ окномъ?.. Жермень, я вамъ докажу, что вы не правы, я докажу вамъ это нашей новой жизнью, которая началась сегодня. За что вы не вѣрите мнѣ съ самаго начала, за что подозреваете меня въ чемъ-то, Жермень?..—

Она опять покраснѣла, смущенно сошла съ дивана, и глаза ея впервые сдѣлались добрыми, ласковыми, когда она отвѣтила:

— А можетъ быть мнѣ будетъ пріятно работать для васъ...—

— Да!!... въ самомъ дѣлѣ!? пріятно... для меня!.. — вскрикнулъ Позоровъ, и голосъ его оборвался, и онъ смолкъ.

Жермень, сидя на диванѣ, немного согнувшись и сложивъ руки на колѣняхъ, продолжала смотрѣть на него лучистыми, ласкающими, точно потухшими послѣ долгой злобы, глазами.

— О, милая, милая!—онъ протянулъ къ ней руки, хотѣлъ еще что-то сказать, но почувствовалъ, какъ силы разомъ упали въ немъ: високъ занылъ, точно въ немъ чѣмъ то тонкимъ, но крѣпкимъ стальнымъ сломали кость, сердце кололо и заставляло стараться дышать глубже и полнѣе, и по всему тѣлу разлилась слабость, которая тянула къ полу—хотѣлось долго и сладко тянуться всѣмъ тѣломъ и тихо, протяжно стонать. Онъ закрылъ глаза; старчески—вяло улыбнулся нижней губой и горячія, обильныя слезы потекли у него по лицу, капнули на руки, которыми онъ держался за сердце, и съ нихъ уже застучали по полу.

— Больной, безнадежно больной и уже къ счастью . неспособный—подумалъ онъ про себя.

Съ минуту въ комнатѣ длилось молчаніе.

Онъ выждалъ, пока успокоилось его коловшее

сердце, прошелъ приступъ ломоты въ головѣ, и заговорилъ упавшимъ хриплымъ голосомъ:

— А я вотъ купилъ... для насъ вещи, очень милыя вещи... вы ихъ будете носить, неправда-ли? Если будетъ что велико или мало, то мы перемѣнимъ... Смотрите, все славныя, чудесныя вещи!

И развернувъ пакеты, онъ разложилъ ихъ на столъ передъ Жерменъ. Она удивленно расширила глаза и нѣсколько разъ сосредоточенно перевела ихъ съ вещей на Позорова и обратно.

— А вы сами будете въ рваномъ ходить?—спросила она серьезнымъ, даже строгимъ тономъ и небрежно кивнула головой на его костюмъ.

— То есть какъ?—Позоровъ смущенно оглядѣлъ свою дѣйствительно сильно потертую, запятнанную, выглядѣвшую весьма неказисто пару, свои стоптанные покривившіеся башмаки.—Я ничего, я собственно... вотъ мнѣ скоро пришлютъ, я и себѣ куплю...—Но она уже не слыхала его.

— И они тоже дарили мамѣ подарки,—произнесла она, уставившись въ задумчивости глазами въ пространство и говоря точно про себя.

— Кто они?—

— Къ мамѣ ходили много мужчинъ... и я знаю, зачѣмъ они ходили.—

Она долго, цѣлую минуту, молчала, глядя прямо передъ собой широко раскрытыми глазами... и вдругъ заговорила торопясь, обрывая и недоканчивая мыслей, повторяясь и немного заикаясь отъ волненія; точно все то, о чемъ она думала, само собою прорвалось наружу въ недовольныхъ жалобахъ, въ безпорядочномъ стонѣ ея придавленной, наболѣвшей души:

— Я все... ахъ я все знаю... хоть маленькая, такъ говорятъ... а все знаю... Она страдала, я убила ее... ну что жъ? Я не виновата, я ее любила... она была хорошая, но не гордая, а я не хочу... тоже... Я вамъ разскажу... ахъ, въ Парижѣ было лучше, я все скажу

вамъ... Въ Парижѣ... папу я не знаю, мама никогда не говорила мнѣ... намъ жилось очень хорошо. Я люблю вспоминать нашу квартиру... я помню тоже бархатные пушистые ковры, а въ передней передъ мраморной лѣстницей было темно, и стояли канделябры рыцари съ алебардами. Къ мамѣ и тогда прѣзжало много народу... и мужчины тоже... но всѣ были вѣжливые и всегда рано вечеромъ вставали и уѣзжали и прощались какъ надо... вѣжливо... и ничего такого... А ко мнѣ ѣздилъ профессоръ. Я съ пяти лѣтъ училась на скрипкѣ, я всегда серьезно любила музыку... мы ѣздили въ Орѣга, и я слушала всѣхъ знаменитостей... А потомъ... ахъ. а потомъ...

Она сощурила глаза, продолжая глядѣть прямо передъ собой, точно вглядываясь въ темноту; видно она вспоминала.

— А потомъ прѣхалъ онъ. Онъ былъ русскій и страшно богатый... мнѣ было тогда девять лѣтъ. Мама скоро сказала, что мы ѣдемъ въ Россію. Онъ спросилъ меня: „Ты хочешь въ Россію и будешь любить меня?“ Я сказала... ну что жъ тутъ такого... я сказала: „Да я хочу и буду любить“... Ну, такъ что-жъ... ахъ, вѣдь мама тоже... Мы прѣехали въ Петербургъ, и у насъ сначала была квартира роскошная, лучше чѣмъ въ Парижѣ... У насъ были лакеи и все... а у меня опять былъ профессоръ, я опять занималась. И мама сначала смѣялась, и все было хорошо... и ничего... А потомъ они часто запирались на ключъ, и я слышала, какъ мама кричала и стонала...

Опять сощуривъ глаза, она помолчала и продолжала, уже поблѣднѣвъ и понизивъ голосъ, точно боялась, что ее кто-то услышитъ:

— Онъ дѣлалъ ей плохо... гадкое... Я знаю... ахъ, мама потомъ сама говорила—всѣ тоже дѣлали плохо, но онъ хуже другихъ. Мама часто плакала, она не хотѣла. но она не была гордая... Разъ я слышала, мама за дверьми долго плакала, а онъ громко кричалъ, потомъ мама вдругъ выбѣжала и начала рвать на себѣ

волосы, а онъ вдругъ выбѣжалъ тоже и сталъ бить маму... Это ужъ было черезъ три года послѣ прїѣзда... И на слѣдующій день мы переѣхали на новую квартиру... Это ужъ были куда хуже; двѣ комнаты въ отелѣ, маленькія такія комнатки. Но все жъ таки сначала было хорошо, уютно... У мамы никго не бывалъ, мама опять взяла мнѣ учителя, я продолжала заниматься, и онъ сказалъ, что года черезъ два я смогу концертировать... Но потомъ опять стало приходить много мужчинъ... и я знаю, зачѣмъ они приходили... они приносили мамѣ подарки. и я знаю, зачѣмъ они это дѣлали... и мама брала. . и я знаю, зачѣмъ она брала... и они мнѣ тоже приносили подарки, а я все рвала и бросала въ печку... Да, я бросала... я была гордая, а мама... дрянъ... я ее тогда ненави-дѣла...

Голосъ ея все время повышался, и послѣднія слова она почти что прскричала, дрожа всѣмъ тѣломъ и поблѣднѣвъ, а на глазахъ у нея выступили слезы.

И она продолжала, тяжело дыша и удерживая дрожъ нижней губы.

— И потомъ она уходила каждый вечеръ и приходила всегда поздно ночью, и я знаю... ахъ, я знаю. . она часто была пьяна и два раза била меня. Я не хотѣла, чтобъ она уходила, я запирала дверь и прятала ключъ, и одинъ разъ выбросила его за окно, и она меня за это била... и одинъ разъ я ее тоже ударила: она хотѣла, чтобы я играла для ея гостей, а я не хотѣла и спряталась въ другой комнатѣ на кровати. Они всѣ кричали, звали меня, хлопали въ ладоши, а она пришла совсѣмъ пьяная и стала тащить меня за руку, а я не могла... я держала скрипку и ударила скрипкой ее по головѣ... Она громко заплакала, а они всѣ прибѣжали и стали стыдить меня, а я... я не могла... ахъ, я хотѣла тогда умереть... и сказала имъ, что они всѣ воры проклятые... и она меня тогда била...

потому что это значить, что мы любимъ другъ друга. А если мы любимъ другъ друга, то мы позабудемъ о горѣ и будемъ счастливы. Не плачьте, вы не должны плакать... не плачьте...

И Жермень мало-по-малу утихала, а онъ еще долго стоялъ надъ ней, медленно и задумчиво проводя рукой по ея волосамъ...

IV.

Еще писательство.

Она у меня уже три недѣли, и я...

Почему такъ страшно сказать самому себѣ: я счастливъ? Нечего скрывать: я, неудачникъ жизни, отщепенецъ, всегда готовъ объяснить свою грусть міровыми причинами, а вотъ пришла эта тринадцатилѣтняя печальная дѣвочка, сказочно-изящная, ласково улыбнулась мнѣ—и грусть какъ рукой сняло. Я удивляюсь человѣку: ему нужна лишь одна крохотная краешечка счастья, чтобы вполне примириться съ суровымъ фактомъ огромной тяжести — фактомъ жизни.

Я сказалъ: грусть какъ рукой сняло. Впрочемъ, это невѣрно... Да, мнѣ хорошо, хотъ и готовъ я каждую минуту ревмя ревѣть, да на сердцѣ, Богъ вѣсть почему, легче становится, когда глубоко, со стономъ, вздохнешь. Мнѣ хорошо такъ, какъ можетъ быть *мнѣ* хорошо. Чего-жъ еще? Тѣхъ житейскихъ радостей, отъ которыхъ хотѣлось бы подпрыгнуть до потолка или встать на голову и дрыгнуть въ воздухъ ногами, или даже такихъ, отъ которыхъ хотѣлось бы крѣпко обняться съ кѣмъ-нибудь или громко захохотать—такихъ радостей я уже давно не жду отъ жизни. Вѣра, покинувъ мою душу, дала въ ней трещину, черезъ

которую медленно одна за другой ушли — уплыли всѣ радости жизни, и уплыли безвозвратно. Я живу въ Россіи, и въ такое время, когда всякій русскій порядочный человѣкъ начинаетъ бѣсноваться, но самъ для себя никакого бѣснованія отъ жизни уже не жду. И еще бы: способность настойчиво и активно желать чего-нибудь, бороться и, завоевавъ, радоваться побѣдѣ — все это сгнило во мнѣ; я дошелъ до той степени апатіи, при которой все здоровое кажется свински-пошлымъ, а все веселое — идиотски-самодовольнымъ. Двоюродный братъ сказалъ: — я выброшенъ за бортъ, я внѣ времени, и моя доля — страданіе, и въ лучшемъ случаѣ страданіе счастливое. И теперь его переживаю, это счастливое страданіе. Такъ почему же все-таки грусть не сняло рукой, почему отъ моего счастья я трепещу болѣзненно и дни провожу въ такомъ ощущеніи, будто бессознательно тороплюсь *продѣлать* свое счастье?

Помню, еще не такъ давно я думалъ, что всѣ мои страданія я переживаю только оттого, что въ будущемъ меня ждетъ огромное захватывающее счастье, и что только разныя тяжелыя обстоятельства мѣшаютъ „доживать“ до этого счастья. Характерной чертой моего тогдашняго существованія было то, что я не жилъ, а доживалъ. Придетъ время, думалъ я, появится что-то громадное, многозначительное, гигантски-сильное, выхватитъ меня изъ того безформеннаго пространства, въ которомъ я теперь вращаюсь, и гдѣ нѣтъ ни единой точки опоры, и скажетъ мнѣ: поди сюда, слабый, никуда негодный русскій человѣкъ! И могучей, увѣренной рукой поставитъ на твердую почву, гдѣ станетъ мнѣ такъ легко, такъ легко... И вотъ теперь я осматриваюсь и вижу: пространство, въ которомъ я вращаюсь, оформливается, вездѣ вокругъ вырастаютъ новыя точки опоры, но гигантски-сильный не является, и, чтобы схватиться хоть за одну изъ нихъ, надо самому стать сильнымъ. И вотъ я вижу: я страдалъ дѣйствительно потому, что впере-

Она уже не плакала—глаза ея были сухи и блестящи, а совершенно блѣдное лицо не по-дѣтски злобно передергивалось.

И она продолжала:

— И такъ мы жили годъ, и потомъ она заболѣла. Она заболѣла и очень страдала, а я была рада, что она заболѣла, потому что тѣ перестали ходить... А потомъ черезъ два мѣсяца она выздоровѣла, и мы уѣхали въ Москву. И здѣсь мама мнѣ уже не взяла учителя, и было совсѣмъ плохо... Комната наша въ гостиницѣ была грязная, маленькая совсѣмъ, кругомъ жили другіе жильцы и всегда ругались и были пьяные... Я тамъ по цѣлымъ днямъ плакала, а ночью не спала — боялась, что украдутъ мою скрипку... и тогда было совсѣмъ плохо... ахъ да, знаете... такъ это было... я не могла... тогда было совсѣмъ плохо... а-ахъ...

Она быстро, какъ бы соображая что-то, сжала пальцами виски и продолжала дрожащимъ голосомъ, еще болѣе торопясь и точно крича на кого-то:

— Я не могла... я не могла, она каждый вечеръ уходила, часто всю ночь не приходила... я боялась одна спать... а утромъ она ругалась, разбивала чашки, потомъ къ ней приходили... они пили... она мнѣ тоже давала, но я не могла, мнѣ было невкусно, меня рвало... Я не могла... я сказала ей: если ты уйдешь хоть разъ, хоть разъ, если къ тебѣ придутъ они хоть разъ, хоть разъ, я выброшусь изъ окна. А она два дня никуда не ходила, а потомъ говорила, что ей нужно въ лавку, уходила и приходила утромъ. И я не могла больше... и потомъ стало еще хуже... Она стала ужасно кашлять, все время кашляла, и каждый день изъ горла кровь шла... и все время плакала, становилась передо мной на колѣни и просила прощенія... а я не могла больше... И потомъ, вотъ теперь въ Харьковѣ я тоже не могла больше... Она хотѣла продать мою скрипку... я ночью никогда не спала...

И она все кашляла, кашляла, и все кровь... кровь... и всегда говорила, что умираетъ изъ-за меня, что я ее не понимаю, не хочу матери помочь... и какая-то дама приходила, и она и эта дама просили меня куда-то поѣхать... а я знаю... охъ, я знаю, потому что я раньше видѣла... онѣ дряни... а я не могла...

И она плакала... и все кровь, кровь... И потомъ она умерла...

Жермень подперла голову руками и безразлично, тупо уставилась глазами въ стѣну комнаты.

— Она умерла... вотъ мѣсяцъ тому назадъ... она три дня не возвращалась домой, а потомъ ее принесли городской и дворникъ и положили въ серединѣ комнаты на полъ. Она была вся грязная, синяя, из рта у нея текла кровь, и вся она была въ крови. И городской мнѣ сказалъ: „твоя мама умерла“, и далъ два рубля сорокъ копеекъ—сказалъ, что у нея нашли въ юбкѣ... А я ее боялась... я не могла, я ночью взяла скрипку и убѣжала... я уѣхала, меня кондукторъ пустилъ...

Съ минуту она сидѣла не шевелясь, сохраняя на лицѣ все то же тупое, безразличное выраженіе. И вдругъ, всплеснувъ руками, хватилась за голову и надрываясь крикнула:

— Я ее любила!.. неправда, я ее любила... тогда раньше... она мнѣ всегда играла, я ей играла... я ее любила... а потомъ!..

Голова ея повалилась на столъ, и она громко зарыдала.

Позоровъ долго сидѣлъ молча, потомъ всталъ съ кровати, подошелъ къ Жермень и, положивъ ей руку на голову, сказалъ:

— Вотъ вы плачете, и мнѣ васъ жалко, и мнѣ тоже хочется плакать съ вами... И если бы я рассказалъ вамъ свое горе, вы бы плакали со мной, не правда-ли? И это хорошо, если у насъ такое чувство

ди меня ждало счастье, но это счастье не захватывающее, сильное, искупающее прошлое безцѣльное существованіе,—это счастье.. Жермень, грустное и слабенькое, неизвѣстно зачѣмъ страдавшее на землѣ существо... Шель дождь, утомительный долгій дождь, капли били въ стекла и, какъ иглы, вонзались мнѣ въ мозгъ... и настало утро, и стало тихо и ясно, и пришла ко мнѣ она, маленькая фея незаслуженныхъ страданій и согрѣвающей любви въ больномъ измятомъ сердечкѣ... и нѣтъ мнѣ ни теперь, ни въ будущемъ другого утѣшенія, кромѣ нея.

Нехорошо, когда вся жизнь человѣка сводится къ одному, потеря чего грозитъ разрушеніемъ всей жизни...—

— Странныя отношенія установились между мной и Жермень.

Моя дорогая, моя ненаглядная дѣвочка, какая она странная! Какъ сильно въ ней недовѣріе къ людямъ! Она до сихъ поръ не вполне вѣритъ мнѣ, рѣдкія минуты простыхъ дружескихъ отношеній вдругъ замѣняются отношеніями робкими, смущенными или даже офиціально вѣжливыми. А то вдругъ придерется къ какому нибудь моему слову, хотя бы къ просьбѣ не выходить во время дождя на улицу,—и съ какимъ то гордымъ презрѣніемъ и холоднымъ равнодушіемъ одѣваетъ свою соломенную шляпку, уходитъ, гуляетъ съ полчаса, промокнетъ... а возвратившись, сядетъ и не проронитъ слова, пока я не заговорю; все ей кажется, что я покушаюсь на ея независимость, а горда она до болѣзненности...

А такъ, въ общемъ мало-по-малу она привыкаетъ ко мнѣ — заботится обо мнѣ, перешила, перештопала весь мой гордеробъ; а комнаты съ тѣхъ поръ, какъ она у меня, рѣшительно узнать нельзя. Я купилъ дешевенькія цвѣтныя ширмы, пестроватыя такія, огородилъ кровать и уговорилъ ее спать въ ней, а самъ сплю на диванѣ. Встаемъ мы рано, въ восьмомъ часу. Попивъ чаю, она со строгимъ, хмурымъ лицомъ бе-

рется за скрипку и, только изрѣдка отрываясь, играетъ пять часовъ сряду, до часа.

Я въ это время читаю или пишу... Она все такъ же худа, хотя поправилась, порозовѣла и въ своемъ синемъ платьѣ, новыхъ чулочкахъ и башмакахъ, съ серьезнымъ, спокойнымъ личикомъ, склоненнымъ надъ скрипкой, наполняетъ мою комнату такой чудесной чистотой, такимъ лучезарнымъ свѣтомъ! Я гляжу на нее, я слушаю ее—и мнѣ хоть на мигъ становится не такъ ужъ стыдно своего больного тѣла, своего больного мозга, своего неумѣнія работать, своей необходимости на этомъ свѣтѣ...—

— Она играетъ... Я самъ два года игралъ на скрипкѣ и хорошо знаю этотъ инструментъ. Ея худые блѣдные пальчики съ необыкновенными быстротой и ловкостью бѣгаютъ по струнамъ. Но если со стороны техники, главнымъ образомъ силы, еще можно желать лучшаго, то ея способности истолковывать труднѣйшія вещи скрипичной литературы я уже вовсе не понимаю.

Гдѣ, гдѣ? Изъ какихъ источниковъ раннихъ страданій и горя взяла она способность понимать самыя темныя, самыя ужасныя движенія человѣческой души? Какимъ образомъ ея слабому духу передался гигантъ Бетховенъ, страстно-скорбный Моцартъ, меланхоликъ Чайковскій? Впрочемъ, ея игра странна... Она играетъ однимъ чувствомъ, чутьемъ, а не умомъ, и въ этой игрѣ, если того захочетъ строгій критикъ, чувствуется и незрѣлость. Но для меня именно въ этой незрѣлости вся чарующая красота, вся прелесть ея игры. Сначала трудно понять, въ чемъ именно незрѣлость ея игры: кажется сначала, что грусть ея грустна и только, нѣжна — нѣжна, мечтательность — мечтательна, страсть—страстна и только... Но вслушиваешься долго и внимательно—и вдругъ откроется тебѣ другое—чудесное, глубокое, одухотворенное: о чемъ бы ни говорилъ ея смычекъ, о темныхъ или порочныхъ страстяхъ, о больной разстроенной фантазіи ли, объ изступ-

ленныхъ ли порывахъ помѣшавшагося разума, всегда за всѣми этими чувствами—за страстью, за болѣзнью, за сумасшествіемъ звучить робко и цѣломудренно чистота ея собственной души; будто эта чистота слѣдуетъ за другими чувствами, стережетъ ихъ, спокойно смотритъ на нихъ и въ твоёмъ воображеніи невольно противопоставляется всѣмъ имъ...

— Въ часъ мы обѣдаемъ, а послѣ обѣда я сажусь за рояль и играю... собственно говоря, не играю, а только пробую играть... Я ужъ это давно знаю, а теперь, когда вижу какъ работаетъ и успѣваетъ Жермень, я особенно убѣдился въ этомъ... и даже начинаю примиряться; я уже не умѣю работать, и изъ моей игры врядъ ли что-либо выйдетъ. Я съ самаго начала отнесся къ музыкѣ не такъ, какъ слѣдуетъ. Въ музыкѣ, какъ и во всемъ, въ чемъ хочешь успѣть, надо повѣрить. Надо повѣрить то есть, что, кромѣ наслажденія тебѣ, она приблизительно такъ же будетъ дѣйствовать и на массу твоихъ слушателей.

И въ этомъ я всегда сомнѣвался... Помню, вскорѣ послѣ окончанія консерваторіи, пригласили меня участвовать въ одномъ большомъ вечерѣ, который устраивался въ пользу студенческой кассы. Мой номеръ былъ въ самомъ концѣ, и я сыгралъ Бетховена, Патетическую сонату. Я очень устаю послѣ игры, и нервы какъ-то болѣзненно падаютъ... Отдохнувъ минутъ двадцать въ уборной, я вышелъ въ залу. Студентъ-распорядитель, тотъ самый, что во время моей игры стоялъ на эстрадѣ недалеко отъ меня и слушалъ Бетховена, скрестивъ руки на груди, теперь весь красный, потный, съ прилипшими къ лицу конфети, вѣтлѣлъ въ серединѣ залы какую-то чрезвычайно тощую высокую дѣвицу съ кругами подъ глазами и жиденькими волосами, спущенными на лобъ... и, надрываясь, охрипшимъ голосомъ кричалъ: „grand rond s'il vous plaît... grand rond!“ Немного погодя, онъ уже забылъ про grand rond и кричалъ: „les cavaliers à droite, les

dames á gauche“, а еще немного спустя онъ уже кричалъ что-то иное и промчался мимо меня, таща за собой, какъ на буксирѣ, свою тощую даму. При этомъ онъ точно пристяжная лошадь мотала головой, склоняя ее на бокъ, выстукивалъ каблуками и даже не много, бокомъ, потоптался на одномъ мѣстѣ. Я ходилъ между танцующими и сидѣвшими по стѣнамъ и слушалъ разговоры—говорили о предстоящей битвѣ между конфети и серпантинъ, говорили еще о томъ, что какой-то необыкновенный пѣвецъ „беретъ“ необыкновенно высокую ноту... а о Бетховенѣ нигдѣ ни слова. Наконецъ одна изъ танцующихъ паръ утѣшила меня... Это былъ усатый гимназистъ въ невозможно узкихъ брюкахъ, въ такихъ же невозможно узкихъ и длинныхъ, вѣроятно, весьма неудобныхъ, башмакахъ, и какая-то дѣвица въ полукороткомъ платьѣ, но изъ тѣхъ, которыхъ издали можно надѣлать шестнадцатью годами, а вблизи изъ вѣжливости спросить о здравіи дѣтей: танцевала эта дѣвица небрежно, еле волоча за собой ноги, и вообще съ такимъ видомъ, точно ее подъ страхомъ смертной казни пригнали сюда и заставили танцевать. Они танцевали танецъ, который почему-то назывался франко-русскимъ, хотя, по моему искреннему убѣжденію, и музыка, и фигуры его съ большимъ правомъ могли бы называться зулусо-бушменскими.

— Какъ вамъ нравится піанистъ? — съ убитымъ видомъ спросила дама своего кавалера какъ разъ въ тотъ моментъ, когда они проходили мимо меня.

— Ничего... здорово нажариваетъ!—отвѣтилъ гимназистъ и, старательно изгибая вырисовывавшіяся изъ подъ брюкъ икры, обошелъ даму и элегантно поклонился ей.

Мнѣ стало противно, и я поспѣшно вышелъ изъ залы.

— Съ тѣхъ поръ мнѣ тяжело, даже противно выступать передъ такъ называемой большой публикой. Я охотнѣе играю передъ нѣсколькими знакомыми

мнѣ лицами, въ любви и пониманіи музыки которыхъ я не сомнѣваюсь... а еще охотнѣе играю для самого себя. Мое любимое дѣло, моя музыка стала для меня исключительно личнымъ достояніемъ, и съ тѣхъ поръ я пріучился смотрѣть на нее не какъ на средство жить съ людьми и вліять на нихъ, а только лишь какъ на источникъ личнаго успокоенія.. Музыка врагъ и другъ человѣка—обоюдоострое орудіе: она настраиваетъ противъ жизни, но это настроеніе пассивное, въ немъ элементъ примиренія, и примиренія, однако, ищущаго исхода внѣ жизни; музыка не можетъ разрѣшить ни одной думы, ни одного сомнѣнія, она можетъ лишь заставить забыть о думахъ, о сомнѣніяхъ—она можетъ успокоить. И съ тѣхъ поръ, какъ она стала лишь моимъ личнымъ достояніемъ, она отучила меня приходить въ своихъ мысляхъ къ какимъ бы то ни было выводамъ и пріучила меня успокаиваться. И вмѣсто мыслей о родинѣ, о долгѣ, объ искусствѣ, обо всемъ томъ, о чемъ я раньше думалъ, у меня теперь и въ головѣ и на сердцѣ холодная, давящая мертвечина. И, быть можетъ, не одна музыка тутъ виновата... быть можетъ къ этому долженъ придти всякій, кто взглянетъ на любимое имъ дѣло, лишь какъ на источникъ личнаго успокоенія.

— И вотъ я уже не могу работать, такъ какъ все болѣе и болѣе прилѣпляюсь къ нѣсколькимъ считаннымъ произведеніямъ и даже къ отдѣльнымъ музыкальнымъ фразамъ. У меня теперь одинъ Богъ—Бетховень, и я готовъ, когда вообще въ настроеніи, съ утра до вечера играть и переигрывать какую-нибудь одну его фразу изъ какой-нибудь одной, случайно попавшейся подъ руки, сонаты.

Теперь вотъ уже четыре мѣсяца не могу оторваться отъ Лунной сонаты, и играю почти исключительно ее одну. Я чувствую, какъ съ каждымъ днемъ у меня пропадаетъ техника... и это, кажется, мало пугаетъ меня... а еслибы и пугало, что бы могъ я подѣлать?

А Жермень все замѣчаетъ. Какъ удивленно, широко расширивъ глаза, смотритъ она подчасъ на меня, когда я чуть ли не въ сотый разъ, дрожа и чувствуя, что блѣднѣю, начинаю свою Лунную сонату! А одинъ разъ она даже спросила меня... Мнѣ кажется, что она тогда впервые почувствовала теплую привязанность ко мнѣ.

Это было послѣ нашей игры—мы по вечерамъ почти всегда играемъ вмѣстѣ... Большая часть нотъ у меня осталась для нея отъ того времени, когда я самъ игралъ на скрипкѣ. Кое-что выписалъ изъ Москвы... впрочемъ какъ бы не позабыть, она на дняхъ говорила, что ей еще кое какія нужны...

Тотъ вечеръ былъ первый теплый, настоящій весенній вечеръ. Мы долго, сосредоточенно, не обмѣниваясь ни единымъ словомъ, играли... и играли съ какимъ то особеннымъ общимъ воодушевленіемъ, точно почувствовавъ внезапно родство нашихъ душъ. Играли легенду Венявскаго, играли саргіccio Сень-Санса и подъ конецъ опять таки его... его Крейцерову сонату.

Я чувствовалъ, какъ сердце ея дрожало въ тактъ моему... и кончивъ, мы съ минуту молчали, оставаясь въ той же позѣ, въ какой играли: она—продолжая держать скрипку у подбородка, а я—склонившись надъ роялѣю и не имѣя силы разогнуть спины, чтобы прислониться къ спинкѣ стула. Точно мелодія, что мы играли, съ грохотомъ и воплемъ промчалась въ комнатѣ, надъ нашими головами, въ воздухѣ, и точно мы еще слышали ее, съ рѣзкой быстротой и силой вырывающуюся черезъ окно, въ просторъ чистой и прозрачной синевы неба.

Потомъ, прислонившись противъ меня локтями къ роялю, она еле слышно и испуганно раскрывъ глаза спросила:

— Почему вы больны?—Почему вы несчастны!—

Какъ больно, какъ невыносимо, какъ отвратительно стыдно стало мнѣ!

Вѣдь кто жалѣлъ меня! Маленькая несчастная дѣвочка, жалкая бродяжка, обиженная людьми.

— Дорогая бродяжка, свѣтлый лучезарный ангель, счастливое страданіе мое! если бы я прижался лицомъ къ твоимъ блѣднымъ, дѣтскимъ пальчикамъ и зарыдалъ какъ мальчишка, то и тогда не подсказало бы мнѣ мое горе отвѣта на твой вопросъ. Почему боленъ? почему старѣ душой? почему несчастенъ? Что могъ я тебѣ отвѣтить? Вотъ я гляжу на твое дорогое безконечно мною любимое личико и думаю: какъ хорошо было бы, если бы оно всегда было со мной! Но почему не могу я этому повѣрить! и почему, чѣмъ больше люблю его, тѣмъ явнѣ читаю на немъ сумрачную тѣнь рокового, грозящаго мнѣ отъ него, горя? Непредовратимая тѣнь непредовратимаго горя, всю жизнь загадочно смотришь ты на меня со всего любимаго! Вотъ я встаю, подхожу къ окну и вижу: жалкая провинція, мелкій неуклюжій, неустроенный городокъ съ сѣрой колоколенкой одинокой церкви и съ такой же сѣренькой жизнью. Неуклюжій городокъ... милый городокъ... Какъ хорошо вѣрить, что когда нибудь, хотя бы не такъ скоро... когда нибудь въ немъ забьется интересная, сознательная и красивая жизнь... А вонъ, тамъ дальше, за шоссеиной дорогой съ верстовыми столбами... деревеньки, милыя русскія деревеньки, милыя жалкія избы, крытыя соломой, наполовину растасканной для корма лошадямъ, милый жалкій крестьянинъ съ набожнымъ лицомъ и ввалившейся, больной грудью около милой, жалкой тщедушной кляченки Совраски, около жалкаго клочка плохонькой, неумѣло воздѣланной земли... А вонъ тамъ, еще дальше... далеко очень далеко... города, большіе города, столицы, а еще дальше, уже совсѣмъ далеко... новыя страны, чудесныя, передовыя культурныя страны — вокзалы, электричество, паровыя машины, театры, музеи... больной, голодный рабочій и дѣвушка, продающая себя... Какъ хорошо вѣрить, что когда нибудь, хотя бы не такъ скоро... когда нибудь, гдѣ ни-

будь въ этихъ мѣстахъ люди объявятъ себѣ свободу, и не искаженную свободу — проклятую свободу рабства, а свободу, отъ которой вдругъ всѣмъ вздохнулось бы легко, радостно, отъ полного сердца, и въ глазахъ людей вдругъ пропало бы выраженіе ненависти, зависти, жадности... Какъ хорошо вѣрить во все это! какъ хорошо! Но какъ вѣрить!? Такъ вѣрить, такъ вѣрить, чтобы пойти и отдать жизнь за свою вѣру. Какъ хорошо!.. и почему я не могу?.. Дорогая бродяжка, счастливое страданіе мое, что могу я тебѣ отвѣтить... я, наихудшій бродяга изъ бродягъ?..

Хорошо всѣмъ тѣмъ, чье сердце вѣчно горитъ неугасаемымъ пламенемъ надежды, и да найдутъ своего Бога всѣ маловѣрующіе!—

V.

Размышленія и сны.

— Костя, здравствуйте... вы сердитесь? —

— Нѣтъ Жермень, но вы пошли въ лавку и не приходили болѣе часа...—

— Костя милый... не сердитесь... я вамъ сейчасъ все расскажу...

Я такъ счастлива! я такъ рада! Костя, я опять начинаю жить, мнѣ такъ хорошо! такъ хорошо. Знаете Костя, я сегодня первый разъ громко смѣюсь... Костя... ахъ, Костя, я сейчасъ заплачу...—

— Что такое, Жермень? что съ вами случилось?—

Позоровъ дѣйствительно въ первый разъ за цѣлый мѣсяцъ совмѣстной жизни видѣлъ Жермень такой возбужденной, веселой; въ продолженіе всего мѣсяца она была всегда въ одномъ и томъ же сосредоточенно-серьезномъ настроеніи и лишь изрѣдка смѣялась короткимъ, обрывистымъ и точно случайнымъ смѣхомъ.

Жермень, торопясь, заговорила:

— Ахъ, это такъ хорошо! Я всегда мечтала объ этомъ... ахъ, понимаете, Костя... одинъ господинъ и дама... Постойте... я гуляю въ городскомъ саду, сижу на скамейкѣ... вдругъ подходятъ ко мнѣ какой то господинъ и дама... начали говорить со мной и спрашиваютъ: кто я, что я здѣсь дѣлаю, гдѣ учусь... Я сказала, что живу здѣсь въ городѣ и играю на скрипкѣ. Они спросили меня, что я играю. Я сказала.

Тогда онъ говорить: я бы хотѣлъ васъ послушать, мы скоро устраиваемъ благотворительный концертъ... и взялъ у меня нашъ адресъ. А я сказала, что живу съ братомъ, потому что боялась, что онъ не позволить мнѣ участвовать, если узнаетъ... что я... нищенка.

И знаете, Костя... я буду играть въ концертъ...—

И глаза Жермень широко раскрылись, точно вдругъ пораженные представившейся ей картиной будущаго концерта, и она вся застыла, глядя этими стекляннo-задумчивами гаазами черезъ голову Позорова.

А онъ при ея словахъ поблѣднѣлъ и закрылъ глаза отъ боли, рѣзнувшей его въ вискѣ. Безспорно, и онъ въ этомъ не сомнѣвался, въ его отношеніяхъ къ Жермень было что-то болѣзненное. До нея жизнь его была такъ скверна, что въ стремленіи примириться съ ней не было за что ухватиться, но вотъ пришла она—жизнь его, онъ понималъ это, попрежнему оставалась безсмысленной и ужасной, но сердце его было обласкано любовью, и съ жизнью можно было примириться, такъ какъ можно было позабыть о ней. И онъ часто ловилъ себя на такихъ чувствахъ; Жермень раза два или три говорила. „Потомъ, если мы будемъ счастливы, мы съѣдимъ во Францію“, и ему всѣ разы становилось отъ этихъ словъ непріятно. Иногда ему даже становилось непріятно и слишкомъ большое усердіе Жермень къ музыкѣ. Онъ думалъ: для чего она старается?.. она успѣетъ въ своемъ ста-

раніи, для нея настанетъ жизнь, и мое счастье погибнетъ... И часто во время игры Жермень вдруг ловила на себѣ его взглядъ, полный любви, ревности и страданія... И теперь ему опять стало неприятно-тоскливо на душѣ: онъ живо представилъ себѣ благотворительный концертъ, благотворительныхъ дамъ, шумящихъ шелковыми юбками, благотворительныхъ мужчинъ со здоровыми выхоленными лицами, съ крестами на манишкахъ, почтительно держащихъ другъ друга за локти и справляющихся о взаимномъ здравіи; она, Жермень, играетъ—громкія похвалы, конфеты, „поцѣлуй въ лобъ“, потомъ она любимица такого-то или такой-то... родственница въ Петербургѣ... и такъ далѣе.. и все это быстро, быстро, одно за другимъ... несется, вертится... одно смѣняетъ другое... событія... перемѣны... вихрь... А онъ?.. Онъ не знаетъ что съ нимъ, но во всякомъ случаѣ онъ уже не съ ней, онъ безъ Жермень... Да, правда, и это тоже безспорно, она привыкаетъ, привязывается къ нему, но вмѣстѣ съ этимъ чувствомъ выплываютъ наружу, видно всегда существовавшія въ ней, наклонности капризной, настойчивой, властолюбивой натуры, выплываетъ наружу и ея жажда жить. И въ будущемъ, когда она пойметъ, что можетъ дать жизнь, остановится ли она передъ, быть можетъ случайной, привязанностью къ нему?...

— Жермень!—проговорилъ онъ подавленнымъ, убитымъ голосомъ и всталъ. Она продолжала стоять въ задумчивости, не шевелясь.

— Жермень!—повторилъ онъ и первый разъ за все время взялъ обѣ ея руки въ свои. Волна какого то теплаго, еще неизвѣданнаго чувства всхлестнулась въ немъ, и онъ не зналъ, что хочется ему сказать.

— Жермень!—повторилъ онъ опять, и нижняя губа его старчески сжалась, и, вздохнувъ, онъ снова сѣлъ.

Она продолжала молчать, онъ сидѣлъ къ ней спиной, она долго молчала, и онъ боялся къ ней обер-

нуться, такъ какъ чувствовалъ, что она молчитъ не-даромъ.

— Костя, вы думаете о нашемъ будущемъ?—спросила она наконецъ тихо и съ дрожью въ голосъ, и вдругъ, не дожидаясь отвѣта, громко крикнула;

— Я буду участвовать въ концертѣ, буду... вотъ видите... ахъ... я буду!..—

Онъ обернулся и удивленно посмотрѣлъ на нее. Лицо ея было блѣдно, и маленькіе сжатые кулаки занесены надъ головой... И онъ очень ясно представилъ себѣ въ этотъ моментъ, какъ она крикнула тѣмъ само-довольнымъ и пьянымъ людямъ, что тащили ее играть имъ на скрипкѣ, что они всѣ воры проклятые. Ни одно слово не просилось на языкъ, и онъ молчалъ, не зная, что ей сказать...

Съ этихъ поръ между Позоровымъ и Жерменъ установились тяжелыя, натянутыя отношенія, и онъ впервые понялъ, какъ она дорога ему... понялъ дѣйствительно, что все его спокойствіе зависитъ отъ ея расположенія къ нему. Музыка, мысли о будущемъ, тяжелое матеріальное положеніе, ссора съ дядей и родителями... все это отошло на второй планъ, все это казалось ему теперь не важнымъ—обо всемъ этомъ не стоитъ думать, все это само собой потомъ уладится, а теперь лишь нужно опять приобрести расположение Жерменъ. И всего болѣе пугали его именно простота и естественность ея холодности. Ему было бы легче видѣть въ ней озлобленность, раздраженіе, чѣмъ спокойствіе и какую-то величавую замкнутость,—точно она что-то узнала о немъ и теперь безповоротно рѣшила, что только такими, вѣжливо-холодными, и никакими другими, должны быть ихъ отношенія. Какъ то стыдно становилось ему, когда онъ съ утра тайкомъ слѣдилъ за всякимъ движеніемъ ея лица, ея глазъ, стараясь прочесть въ нихъ прежнее ласковое-внимательное выраженіе.

Цѣлыхъ два дня они почти не обмолвились между собой ни однимъ словомъ, и онъ съ ужасомъ думалъ,

гляди на ея спокойное лицо: неужели ей такъ легко переносить ссору со мной? На третій день, когда они утромъ пили чай, онъ не выдержалъ и, испытывая непонятную, почти дѣтскую робость, спросилъ:

Послушайте, Жермень... вы на меня сердитесь?—

— Я на васъ сержусь?... что вы...—она густо покраснѣла, сощурила глаза и, поспѣшно отойдя отъ стола, взяла скрипку и принялась копаться въ нотахъ.

— За что вы на меня сердитесь?—переспросилъ онъ тономъ обиженнаго мальчика, и ему стало стыдно этого выраженія своего голоса, и онъ тоже покраснѣлъ.

— Я на васъ не сержусь, что вы!.. какой вы чу-дакъ!..—

— Видите, Жермень... я знаю, вамъ скучно со мной... Я немного боленъ, у меня нервы немного разстроены, я немного неправильно живу... я немного отдалился отъ людей... но вѣдь это все временно... я выздоравливаю, мы будемъ работать, мы будемъ счастливы... Я думаю о вашемъ счастьѣ, Жермень...—

Она оторвалась отъ нотъ, но, не оборачиваясь къ нему, спросила тихо и робко, затаивъ дыханіе:

— О счастье?! какъ... что мы будемъ... дѣлать!..—

— А какое счастье вы хотите, Жермень?—

Снова покраснѣвъ и сощуривъ глаза, она не отвѣтила.

И опять цѣлый день она молчала, онъ же заговорить первый не рѣшался...

А его отношенія съ домомъ, дѣйствительно, сложились самымъ непріятнымъ образомъ. На свою телеграмму онъ долго не получалъ никакого отвѣта—пришлось одолжить нѣсколько рублей у Федора.

Наконецъ пришелъ денежный переводъ въ двадцать пять рублей, но не отъ отца, а отъ дяди. Въ тотъ же вечеръ онъ написалъ къ отцу.

Весь этотъ день у него особенно болѣла голова, во всемъ тѣлѣ онъ испытывалъ слабость и сознавалъ невозможность приняться за работу; но въ этотъ же

день онъ впервые замѣтилъ, что Жермень начинаетъ къ нему привязываться,—и теперь онъ писалъ отцу съ острымъ чувствомъ смѣшанной грусти и радости на сердцѣ. Самъ удивляясь внезапно вспыхнувшему въ немъ чувству довѣрія, почти любви къ отцу, онъ писалъ ему тоскливыя избитыя фразы о томъ, что жизнь его не клеится, что ему не удастся справиться съ своимъ самочувствіемъ, что его давитъ черная тоска... что жить трудно, почти невозможно безъ вѣры въ лучшее будущее, безъ работы, но что его спасаютъ рѣдкія счастливыя минуты просвѣтлѣнія. Онъ не писалъ, что именно, но говорилъ, что въ жизни его случилось что-то новое, большое и радостное, какъ свѣтлая заутреня въ Пасхальную ночь... и, быть можетъ, это новое спасетъ его, онъ выздоровѣетъ, начнетъ работать и достигнетъ всего того, о чемъ мечталъ. Онъ проситъ только снисхожденія и терпѣнія, онъ проситъ не судить его слишкомъ строго... Въ заключеніе онъ просилъ выслать кое-какія ноты и поддерживать еще нѣкоторое время деньгами. На это письмо откликнулся дядя, откликнулся и отецъ. Дядя писалъ:

„Ну, Константинъ, и удивилъ же ты, братъ, насъ всѣхъ!

То тихоня—тихоней, а то вдругъ денегъ на жизнь не хватаетъ. Выродокъ ты и декадентъ, какъ есть. Знаемъ мы, братъ, эти неожиданности, знаемъ и зачѣмъ ноты понадобились... Что, братъ Константинъ, романцы съ бабочками разыгрываешь, а тѣ денегъ за это просятъ? Незачѣмъ было только за этимъ дѣломъ въ провинцію уѣзжать. Денегъ я тебѣ послалъ, ну и ноты, пожалуй, вышлю—въ этихъ дѣлахъ мы всѣ грѣшны, все дѣла житейскія. Я радъ даже, что за разумъ ты взялся, хотъ и съ одной стороны по человѣчески жить сталъ, а не какъ аскетъ или столпникъ какой.

Однако скажу тебѣ, что такъ долго нельзя, больше денегъ высылать тебѣ не стану. Потому противно, чтобъ взрослый человѣкъ самъ не работалъ. Мы съ

тобой всегда пріятели были: самъ знаешь, никогда я ни въ чемъ тебѣ не отказывалъ, и денегъ теперь тебѣ выслалъ по доброй волѣ, противъ разсудку. И теперь опять рѣшительно говорю: брось, братъ, всякія эти твои всяковщины, всю эту твою ужъ больно умственную чертовщину. Пріѣзжай сюда въ Москву, у меня всегда для тебя мѣсто найдется, берись съ разумомъ-толкомъ за дѣло, тогда и деньги у тебя будутъ свои, и наслажденія жизни будутъ законныя. И только есть одинъ у тебя этотъ путь правильный, а все остальное чепуха, а ты только несчастный человѣкъ и есть. Отецъ твой, что пообразованіе меня, отъ твоихъ словъ думаетъ, что ты помѣшался изъ своего ума, а я, твой дядюшка, знаю, что сумасшествіе твое тутъ не есть важно, а просто хочется тебѣ, какъ и всѣмъ, всласть, въ свое удовольствіе пожить, да только фантазія и культуровыя идеи мѣшаютъ на правильный путь выйти. Раздѣлайся тамъ въ мѣсяцъ, либо другой со своими дѣвочками и пріѣзжай... А если за разумъ не возьмешься, на меня больше въ деньгахъ не полагайся.

Остаюсь твой дядя

Егоръ Петровичъ“.

А отецъ писалъ:

„Дорогой сынъ Константинъ!

На все твое поведеніе, на бессмысленныя рѣчи въ безсвязномъ письмѣ—одинъ отвѣтъ, одно предложеніе, высказать которое тебѣ я опасаюсь, но въ достовѣрности котораго я совершенно убѣжденъ, къ несчастью. Одно только спрошу тебя: если для осуществленія плана великаго музыканта, на которомъ была построена твоя поѣздка въ провинцію—и чѣмъ ты думалъ жить—ты, какъ самъ признаешься, палецъ о палецъ не ударилъ и, такимъ образомъ, забросилъ его—то что ты провинціи, и что провинція тебѣ. И уже не скажу для чего, а только спрошу

тебя: чѣмъ ты тамъ будешь жить? Неужели ты разсчитывалъ и разсчитываешь еще и теперь, что я тебя буду содержать въ провинціи, и для того только, чтобы ты тамъ въ каморкѣ ходилъ изъ угла въ уголъ и носился съ дурацкими мыслями? Если ты еще способенъ понимать человѣческую логическую рѣчь, то знай, въ послѣдній разъ, что я тебя въ провинціи содержать не буду, что я тебѣ гроша мѣднаго больше не пошлю, развѣ только для возвращенія твоего сюда поручу какому-нибудь вѣрному лицу купить и вручить тебѣ билетъ въ Москву и нѣсколько рублей на дорогу. Никакихъ твоихъ писемъ и разглагольствованій пустыхъ не нужно, только—желаешь ты получить билетъ для возвращенія сюда? тогда пошлю. И, по моему мнѣнію, тутъ теперь у тебя единственный путь—поступить черезъ брата Егора въ какой-нибудь торговый домъ, благо ты еще хорошо языки иностранные знаешь. Еще я тебѣ скажу: побереги, Константинъ, остатки своего ума, не засиживайся по-пустому въ одиночествѣ. Пора взяться за производительный трудъ.

Твой, тебѣ желающій добра, отецъ
Дмитрій Позоровъ“.

Что то тяжелое, тоскливое властно влилось въ сердце Позорова послѣ прочтенія этихъ двухъ писемъ и угрюмо заворочалось тамъ безформеннымъ, неповоротливымъ комомъ. Ему даже и въ голову не пришло подумать: что теперь дѣлать, сообразоваться ли съ угрозами дяди и отца?.. Было ясно и непріятно лишь одно: писали люди, закаленные въ борьбѣ житейской, люди, успѣвшіе въ жизни, и оба—одинъ грубый и циничный, другой самоувѣренный и самодовольный—говорили: работа на мѣстѣ или въ крупномъ торговомъ домѣ это—правильный путь, производительный трудъ; все остальное—чепуха и дурачкія мысли. И было еще больнѣе оттого, что не надо было самому задумываться о дѣйствительномъ характерѣ своихъ мыслей и время-

препровожденія, чтобы понять всю ихъ ненужность въ томъ видѣ, въ какомъ они существовали, ни для себя, ни для другихъ. Но думать о томъ, какъ измѣнить образъ жизни—это онъ считалъ невозможнымъ. Онъ зналъ, что жизнь была терпимой и, быть можетъ, даже удовлетворяющей его лишь въ томъ видѣ, какъ она за послѣднее время сложилась, и пытаться хоть немного измѣнить ее—это означало идти противъ жизни. Положеніе его напоминало того больного зубами, что случайно нашелъ позу, въ которой затихаетъ страшная боль, и, ошастливленный, онъ лежитъ въ этой неудобной позѣ и не шевельнется, боясь возвратить боль. И прочтя письма дяди и отца, онъ принялъ лишь одно: написалъ въ Харьковъ къ старому товарищу по консерваторіи, теперь инспектору музыкальнаго училища, прося у него одолжить на время сто рублей; а мѣсяца черезъ два онъ рѣшилъ вмѣстѣ съ Жерменъ уѣхать въ Харьковъ и тамъ, черезъ того же инспектора, обзавестись уроками музыки. Но прошла недѣля, а пріятель-инспекторъ не торопился съ отвѣтомъ. Всю недѣлю прожилъ Позоровъ растерянный, робкій, боясь взгляда Жерменъ и минутами испытывая чрезвычайно опредѣленный и острый страхъ предъ будущимъ.

А въ этотъ день, послѣ разговора съ Жерменъ, онъ почувствовалъ себя особенно скверно: что дѣлать, какъ поступить, какъ спасти Жерменъ отъ убивающей ее тоски и однообразія, которыми такъ полна его жизнь? Какъ создать для нея новую... интересную, радостную жизнь? Нельзя вернуться въ Москву, вернуться къ прежнимъ людямъ и интересамъ, и еще болѣе нельзя, пристроивъ какънибудь Жерменъ, разстаться съ ней. И только. Но вѣдь вдали отъ Москвы вмѣстѣ съ Жерменъ можно и должно предпринять чтонибудь!.. Жерменъ, похудѣвшая и поблѣднѣвшая за послѣдніе два дня, играла какія-то упражненія, и лицо ея было еще болѣе, чѣмъ всегда, серьезно и настойчиво.

Позоровъ взялъ шляпу, тихо, на ципочкахъ вышелъ изъ комнаты, осторожно притворилъ за собой дверь и медленно, въ задумчивости побрелъ по корридору къ выходу...

— Надо все обдумать и рѣшиться на что нибудь— думалъ онъ, перебираясь по пыльной улицѣ и направляясь къ заставѣ города... А день былъ жаркій, почти душный. Въ барскихъ обывательскихъ особнякахъ были спущены сторы. Около одного изъ нихъ кучеръ вывезъ пролетку почти къ самой мостовой и мылъ ее, окатывая изъ ушата водой, и самъ съ видимымъ удовольствіемъ полоскался босыми ногами въ образовавшейся вокругъ него лужѣ.

Изъ раскрытаго окна трактира неслись крики и возгласы вокзальныхъ извозчиковъ, ожидавшихъ за чаемъ время отъѣзда къ ближайшему скорому или почтовому. Немного дальше нѣсколько бабъ съ грудными дѣтьми на рукахъ и кучка босыхъ, испачканныхъ ребятишекъ обступили сидѣвшаго прямо въ пыли улицы цыганенка въ сѣромъ халатѣ, гимназическомъ картузѣ, съ обезьянкой. Обезьянка прыгала въ пыли и вытворяла какія-то въ высшей степени неопредѣленныя гримасы, а цыганенокъ билъ рукой въ бубны и гнусаво выводилъ:³

„Пакажи, какъ стара баба
Ходить на базаръ,
Ахъ ты бѣреза
Русска маладецъ!“

У входа въ городской садъ висѣла наполовину отодранная афишка: завтра въ роскошномъ и заново отдѣланномъ городскомъ театрѣ сыграютъ „Среди расчетливыхъ людей“ и „Вытурилъ“.

Въ самомъ саду было почти пусто, только нѣсколько дѣтей играли въ ворота недалеко отъ задремавшихъ нянекъ и голосили:

„Хади въ петлю,
Хади въ рай,
Хади въ дѣдушкинъ сарай!“

Да еще въ одной изъ аллеи, на скамьѣ, спрятавшейся подъ густой массой зелени, притаилась юная парочка—гимназистъ и гимназистка: гимназистка, наклонившись къ землѣ, чертила что то зонтикомъ, а гимназистъ курилъ папиросу съ чрезвычайно небрежнымъ видомъ.

Выйдя изъ городского сада, Позоровъ прошелъ главную мощенную улицу города съ мужской и женской гимназіями, съ городской управой и „Помѣщеніемъ для семейныхъ баловъ и танцевальныхъ вечеровъ“. Потомъ, миновавъ еще нѣсколько переулковъ, вышелъ на улицу, состоявшую изъ однѣхъ недавно начатыхъ построекъ; около нѣкоторыхъ изъ нихъ плотники, усѣвшись на кучахъ свѣжихъ стружекъ, пили водку, тяня прямо изъ бутылокъ. Выйдя изъ этой улицы, Позоровъ очутился за городской заставой...

— Надо все обдумать и рѣшиться на чтонибудь—повторилъ онъ себѣ, сворачивая съ шоссе и пробираясь узкой ухабистой тропинкой къ виднѣвшемуся недалеку лѣсу.

— Надо начать съ чегонибудь и постепенно прийти къ чемунибудь... Но съ чего начать? Обыкновенно у каждого человѣка существуетъ извѣстный строй мыслей о томъ, какъ удобнѣе устроить свою жизнь, и русскій интеллигентъ очень охотно называетъ эти мысли своимъ міросозерцаніемъ. И обыкновенно, когда ему не удастся жизнь—это вообще случается нерѣдко—и онъ задумаетъ измѣнить ее, то онъ говоритъ себѣ: надо внести нѣкоторыя существенныя поправки и, можетъ быть, даже измѣненія въ мое міросозерцаніе... То есть, онъ очень часто говоритъ другое, но думаетъ всегда почти это... Итакъ, очень хорошо... міросозерцаніе, а я..?

Позоровъ хорошо зналъ, что то, что онъ могъ бы назвать своимъ міросозерцаніемъ, онъ всегда носилъ въ себѣ въ видѣ безформеннаго и назойливо-тоскливаго чувства. И пока онъ не разбирался въ этомъ чувствѣ, оно, само по себѣ будучи непріятнымъ, вмѣ-

стѣ съ тѣмъ доставляло ему какое то утѣшительное горькое удовлетвореніе; но малѣйшая попытка разобратъся въ немъ приводила къ самому тяжелому и безнадежному отчаянію.

— Міросозерцаніе! — думалъ дальше Позоровъ — причемъ тутъ оно? Развѣ я живу такъ, какъ живу, потому что думаю, что такъ надо жить? Будучи гимназистомъ шестого класса, я вдругъ рѣшилъ, что въ настоящее время народу нужно только образованіе, и что всякій сознавшій это интеллигентъ (я помню, какъ я тогда у разныхъ знакомыхъ разъ сто одинаково повторялъ эту фразу) обязанъ бросить все и отдаться исключительно дѣлу народнаго образованія. И тогда такъ поступилъ, какъ думалъ, пошелъ напроломъ. Бросилъ гимназію, бросилъ, послѣ десяти лѣтъ занятій, музыку, выхлопоталъ мѣсто сельскаго учителя и уѣхалъ въ дальнюю деревеньку, гдѣ и проторчалъ цѣлый годъ; но дѣло меня не завлекло, и, возвратившись обратно, я уже повторялъ всѣмъ знакомымъ другую фразу; жизнь въ деревнѣ скучна, сѣра и однообразна, и кромѣ того я рѣшилъ, что всякая культурная работа при теперешнихъ условіяхъ — палліативъ, штопанье Тришкина кафтана... Я снова занялся музыкой, окончилъ гимназію и поступилъ въ университетъ. Тогда-то я и смѣшался съ двоюроднымъ братомъ и его товарищами. Но я не ладилъ съ ними, я былъ всегда одинокъ... и жизнь опять была безцвѣтна и однообразна. На второмъ курсѣ меня исключили изъ университета, я отсидѣлъ нѣсколько мѣсяцевъ въ тюрьмѣ и по освобожденіи поступилъ въ консерваторію. Сначала поддерживалъ было связи съ прежними товарищами, а потомъ и этого не было... а это послѣднее время до отъѣзда за-границу... фу, стыдно даже сознаться... корчилъ изъ себя что-то вродѣ сверхъ-человѣка...—это не такъ трудно, надо только постараться научиться красиво и не краснѣя говорить подлые вещи.. стыдно!.. Ну и что же? что же теперь? Теперь я очень хорошо

знаю, что самый лучший образованный учитель весьма нужен народу, еще больше нужен ему энергичный, последовательный... двоюродный брат... Вот, часто слышишь от русского интеллигента—онъ съ тѣмъ-то и тѣмъ-то согласенъ, а съ тѣмъ-то не согласенъ; и я, напримѣръ, съ очень многимъ согласенъ и очень многое считаю полезнымъ и важнымъ, а самъ не могу чему бы то ни было изъ этого посвятить свою жизнь. Куда дѣвалась рѣшимость и прямолинейность гимназиста-шестиклассника?.. Двоюродный братъ говоритъ, что все это очень понятно, что я естественно-необходимое знаменіе времени, и даже посоветовалъ мнѣ прочесть о себѣ какое то мѣсто у Каутскаго или еще тамъ у какого то... А мнѣ часто кажется, что я таковъ, каковъ я есть, еще отчего то, что не зависитъ ни отъ того, что я родился въ Россіи, ни отъ того, что я живу именно теперь, а не сто лѣтъ тому назадъ или двѣсти спустя. Вотъ я часто стою и прислушиваюсь къ тому, что дѣлается вокругъ: жизнь шумитъ какъ гигантски-громадное колесо ужасной сказочной машины, а мнѣ кажется, что для меня все тихо, и что я одинъ съ самимъ собой и больше ни съ кѣмъ...—

Позоровъ остановился, съ удивленіемъ осматривая мѣстность, въ которую онъ забрелъ: это былъ провалъ, гигантская трещина, Богъ вѣсть какою хитростью природы образовавшаяся между вершиной оврага и гористой, точно обрубленной, опушкой лѣса. Высокіе, мрачные обрывы темно-красными, бурными коврами свѣшивались по обѣимъ сторонамъ, а со стороны лѣса изъ стѣнъ высывались старые корни деревьевъ, точно змѣи подколенные, всосавшіяся въ землю. Кругомъ было тихо. А лѣсъ наверху монотонно шумѣлъ о чемъ-то однообразномъ и тоскливомъ какъ жизнь, да откуда-то очень изда-лека, точно съ другого свѣта, еле доносился фабричный гудокъ, жалобный, похожій на затихающій плачь покинутой дѣвушки...

Позорову стало страшно, волосы на его голове тихо зашевелились. Онъ снялъ шляпу съ покрывшагося холоднымъ потомъ лба, прислонился къ неровной сырой стѣнѣ и сталъ тревожно смотрѣть въ то мѣсто, гдѣ кончался провалъ: ему казалось, что оттуда, изъ-за угла, быть можетъ, вдругъ выйдетъ какой нибудь старый и небывалый звѣрь, посмотреть на него усталымъ равнодушнымъ взглядомъ и, тяжело дыша, пройдетъ близко-близко мимо него, Позорова, дальше... и скроется тамъ, за противоположнымъ концомъ оврага. И хоть не тронетъ его, но ему станетъ отъ этого такъ страшно, что онъ только коротко вскрикнетъ... и умретъ. И что онъ крикнетъ?

—Жермень,—вспомнилъ онъ и слабо улыбнулся. И закрылъ глаза, стараясь яснѣе представить себѣ ея образъ. И когда онъ закрылъ глаза, ему показалось, что онъ всю свою жизнь, всегда стоялъ здѣсь, въ полутемномъ оврагѣ вотъ такъ, прислонившись спиной къ сырой стѣнѣ и закрывъ глаза... Тамъ гдѣ-то далеко жизнь шумѣла какъ гигантски-огромное колесо ужасной сказочной машины, и онъ зналъ объ этомъ и думалъ: тамъ съ каждой минутой уходитъ въ вѣчность минута жизни, и съ каждой такой минутой на минуту же уменьшается и приближается къ концу и моя жизнь... и всѣ эти минуты я бы могъ быть тамъ, но всѣ эти минуты я былъ здѣсь—стоялъ въ полутемномъ оврагѣ вотъ такъ, прислонившись къ сырой стѣнѣ и закрывъ глаза. Тамъ былъ міръ, а я былъ здѣсь съ самимъ собой и больше ни съ кѣмъ...

...Въ воздухѣ что-то звякнуло, треснуло и разорвалось. Позоровъ открылъ глаза и порывисто побѣжалъ назадъ, вонъ изъ провала. Не успѣлъ онъ выбѣжать за уголъ, какъ прямо на него налѣзла огромная черная туча, нѣсколько крупныхъ капель упали ему на лицо, въ воздухѣ снова треснулъ и разорвался громъ... и дождь хлынулъ рѣзкимъ, ожесточеннымъ потокомъ...

...Сильно промокшій, усталый, хрипло дыша, онъ

еле [?] халъ до крыльца первопопавшагося город-
ского трактирчика, въ изнеможеніи повалился на сту-
пеньки и схватился руками за голову, нывшую и пы-
лавшую, какъ будто въ нее положили раскаленныхъ
углей. По дорогѣ онъ два раза упалъ, и старая его
пара, грязная, мокрая, липкими тисками нависла на
плечи и леденящими пластами присосалась къ
спинѣ, къ разгоряченнымъ легкимъ; дышалъ онъ
тяжело, какъ загнанная лошадь, и при каждомъ
вдохѣ хриплый свистъ порывисто вырывался изъ его
груди.

Половой, вышедшій на стукъ изъ трктира, бросилъ
на него презрительный взглядъ, однако окликнуть
сразу не рѣшился, вѣроятно, почуя особеннымъ ню-
хомъ полового, что это—баринъ. И только увидавъ,
что человекъ въ драной парѣ не обращаетъ на него
никакого вниманія, половой проговорилъ:

— Сударь, здѣсь сидѣть не полагается.—

Позоровъ обернулъ къ половому лицо и устано-
вился въ него мутнымъ, воспаленнымъ взглядомъ, не
понимая, что тотъ говорить. Тому стало неловко подъ
этимъ взглядомъ.

— Потому никоимъ образомъ нельзя... потому да-
веча исправникъ пріѣзжалъ... закономъ преслѣ-
дуютъ...—

Онъ наконецъ понялъ, что отъ него хотятъ, всталъ
и, пошатываясь, вошелъ въ совершенно пустое трак-
тирное помѣщеніе. Заказавъ себѣ чаю, онъ уѣлся
за столикъ и уставился глазами въ двѣ бѣлѣвшія
прямо передъ нимъ на стѣнѣ бумажки—что то такое
было на нихъ написано большими черными печат-
ными буквами. Долго смотрѣлъ онъ на нихъ, хмурия
лобъ и стараясь вспомнить что-то очень важное, о
чемъ онъ только-что думалъ и уже забылъ... и нако-
нецъ догадался, что онъ хочетъ прочесть эти за-
писки:

„При полпорціи чая просятъ не разуваться“ и

„Хозяинъ не отвѣчаетъ за верхнюю одежду, и даже если посѣтителѣ дерутся въ оной“.

— Ха-ха-ха!—сдавленно разсмѣялся онъ, но сейчасъ же позабылъ о чемъ смѣется, и, потерявъ пальцами лобъ, вдругъ вспомнилъ... совсѣмъ другое, и произнесъ вслухъ;

— А я ни къ какому рѣшенію не пришелъ... а я ни къ чему не пришелъ... Надо думать, надо непременно думать—рѣшилъ онъ и сжалъ пальцами виски, стараясь думать.

Но его сейчасъ же потянуло положить голову на столъ или даже совсѣмъ сползти со стула, лечь на полъ и долго и сладко тянуться на полу... И онъ не могъ думать, а мысль его ни на секунду не теряла одного содержанія: а я ни къ чему не пришелъ... Но голову кружило, когда онъ клалъ ее на столъ, съ такой силой, что казалось кружится не только голова, но и онъ весь, вмѣстѣ со стуломъ, на которомъ сидитъ, вмѣстѣ съ поломъ трактирчика, вмѣстѣ со всѣмъ трактирчикомъ.. кружится.. кружится все.. и уходитъ въ землю, и здѣсь, въ землѣ, съ ужасающей, захватывающей духъ быстротой винтообразно падаетъ въ безконечномъ пространствѣ... Онъ нѣсколько разъ подымалъ голову и снова клалъ ее на столъ, и одинъ разъ ему не удалось уже ее поднять. Онъ еще не потерялъ сознанія и помнилъ, что надо поднять голову... и не могъ.

— Жермень!—простоналъ онъ, дѣлая надъ собой невѣроятныя усилія и чувствуя, что дрожить отъ страха. Ему показалось, что онъ кричитъ чрезвычайно громко, но на самомъ дѣлѣ онъ еле пошевелилъ губами и издалъ хриплый и глухой звукъ. Въ это время половой внесъ чай и дотронулся до его плеча. Позоровъ сразу оторвался отъ стола, бросилъ на столъ первопопавшуюся въ карманъ монету и поспѣшно побѣжалъ вонъ изъ трактира, помня еще, что надо нѣсколько разъ проговорить:

— Кажется, дождь прошелъ.

Но когда онъ вновь побѣжалъ по улицѣ, то совершенно не замѣтилъ, шелъ ли дождь или нѣтъ. Онъ помнилъ только, что добѣжалъ до дома съ необыкновенной скоростью, съ такой же необыкновенной скоростью и легкостью, точно ноги его сами несли, взобрался по лѣстницѣ... помнилъ, что въ дверяхъ онъ встрѣтилъ смертельно блѣдное съ расширенными глазами личико, въ которомъ сейчасъ же узналъ дорогія любимыя черты... что онъ схватилъ ея руки и долго и горячо цѣловалъ ея пальчики и прижималъ ихъ себѣ къ лицу, ко лбу... И отъ этого ему стало совсѣмъ легко и свободно, и онъ, чувствуя, что слезы текутъ изъ его глазъ, рѣшилъ сѣсть около рояля, показавшагося ему безконечно милымъ, симпатичнымъ, и смѣясь рассказать Жерменъ о всѣхъ своихъ приключеніяхъ... и вмѣсто этого, вдругъ... это было такъ непріятно... полъ подъ нимъ наклоняясь заколебался, какъ льдина въ ледоходѣ.. и онъ скользя сталъ валиться куда-то...

.

И вдругъ онъ узналъ, что лежитъ у себя въ комнатѣ съ закрытыми глазами, и хочетъ и не можетъ открыть ихъ.. А дверь изъ комнаты ведетъ не въ корридоръ, какъ всегда—и онъ почему то знаетъ это—а въ громадную, ослѣпительно-ярко освѣщенную, залу, роскошную залу. И въ этой залѣ гремитъ оркестръ, танцуютъ мужчины въ великолѣпныхъ фракахъ и величественныя, въ бѣломъ, женщины съ красивыми обнаженными плечами. И всѣ они, и мужчины и женщины, очень вѣжливо и привѣтливо глядятъ другъ на друга, и когда толкаются, то извиняются другъ передъ другомъ.. А въ его комнатѣ темно.. и только она чуть-чуть трясется отъ грохота въ сосѣдней залѣ, и ему это непріятно, но онъ лежитъ на кровати съ закрытыми глазами и хочетъ и не можетъ открыть ихъ... И вотъ отворяется дверь, и яркій свѣтъ лишь на одну секунду озаряетъ его.

И опять темнота... но въ дверяхъ уже стоитъ кто-то. Тогда глаза его открываются, онъ вглядывается и видитъ: это громадная, высокая и чрезвычайно тощая фигура—одинъ лишь скелетъ, одѣтый въ панцырь, латы и каску и напоминающій Донъ-Кихота. Изъ рта у него высовываются вверхъ и внизъ огромныя какъ у моржа зубы. Руки сложены на груди... Позоровъ однако не пугается. Но вотъ фигура, балансируя ногами съ граціей молодого танцора во время обхода дамы, приближается къ нему и при каждомъ ея шагѣ панцырь и латы бьются о сухія кости и издаютъ глухіе, точно изъ могилы идущіе, звуки... Но хуже всего было то, что его зубы вдругъ замѣнились, когда онъ подошелъ вплотную къ кровати, громаднымъ утинымъ клювомъ; и этотъ клювъ сталъ на глазахъ у Позорова вытягиваться, расти... доросъ до его лба и сталъ медленно углубляться въ его голову. И при этомъ длинныя, костлявыя руки скелета торжественно поднялись, гордо указали на залу... и зазвучалъ голосъ, громкій, но сиплый, шершавый: ступай въ жизнь! ступай въ жизнь!..

Онъ вскрикнулъ отъ боли... и фигура сейчасъ-же исчезла...

И вотъ онъ слѣзъ съ кровати и, не имѣя силъ итти, поползъ на четверенкахъ къ двери и, толкнувъ ее, заглянулъ въ яркую блестящую залу. Онъ смотрѣлъ на танцующихъ, но когда увидалъ, что никто не обращаетъ на него никакого вниманія, то сталъ громко стонать и плакать, указывая пальцемъ на рану во лбу, изъ которой текла кровь; при этомъ онъ вспомнилъ нищаго, котораго часто встрѣчалъ въ дѣтствѣ, идя въ гимназію: тотъ тоже, прося милостыню, дѣлалъ жалобное лицо и, вынудивъ изъ-за пазухи, вмѣсто рукъ, красныя, мясистыя обрубки, показывалъ ихъ...

Но танцующіе по прежнему не замѣчали его. Только два раза къ нему подошли: первый разъ два господина, державшіе подъ мышками складные цилиндры,

другой разъ дама съ дѣвочкой. Они молча выслушивали его жалобы, дѣлали серьезное лицо, уходили... и уже болѣе не возвращались. Тогда онъ сталъ кричать, стараясь перекричать и громъ оркестра, и шарканье ногъ, и возгласы танцующихъ...

На секунду все исчезло, и Позоровъ увидалъ склонившееся надъ нимъ лицо Жермень...

Но это продолжалось лишь одно мгновеніе.. Опять стало темно въ комнатѣ... и онъ по прежнему лежитъ на кровати съ закрытыми глазами, и хочетъ и не можетъ открыть ихъ. И вотъ опять дверь отворяется, яркій свѣтъ на секунду ослѣпляетъ его, и въ комнату лѣнливой перевалистой походкой вбѣгаетъ собака. Онъ уже ее видитъ: это небольшой, но жирный, сильный бульдогъ, съ глазами налитыми кровью. Сначала бульдогъ побѣжалъ въ сторону отъ кровати, но потомъ, замѣтивъ Позорова, кинулъ на него усталый взглядъ, какъ бы говоря: „а, вотъ ты“!—лѣнливо побѣжалъ къ кровати и лѣнливо же, но больно куснулъ его въ ногу. Потомъ постоялъ съ окровавленнымъ ртомъ и сонной мордой, какъ бы раздумывая—кусать или нѣтъ... и вдругъ, ожесточенно вспрыгнувъ на Позорова, вцѣпился ему въ горло... и въ ревъ пса, и въ чавканье его губъ снова слышалось: ступай въ жизнь!. ступай въ жизнь!..

И вся комната наполнилась какими то звѣрьми и уродцами-людьми, которые, столпившись вокругъ кровати, смотрѣли на борьбу между бульдогомъ и человѣкомъ... Позоровъ задыхался... И вдругъ нѣжный серебряный звукъ, колеблясь и пугаясь, хрупко задрожалъ въ воздухѣ: луна-печальница плыла по небу... И вся чертовщина и звѣри и уродцы-люди сжались и попрятались по угламъ, и Позорову было видно, какъ тамъ дрожали ихъ поганяя тѣла. А луна всплыла въ самую комнату, наклонилась надъ кроватью и слабо застонала ему въ лицо. И тогда вся нечисть, что попряталась по угламъ, совсѣмъ исчезла...

VI.

Разговоры.

Сначала онъ почувствовалъ разливающуюся по всему тѣлу пріятную теплоту, потомъ надъ глазами, несмотря на то, что они были закрыты, посвѣтлѣло, и вѣки тоже пріятно согрѣлись. И въ ту же минуту услыхалъ онъ вблизи себя два голоса, тихо разговаривавшіе о чемъ то; одинъ—басъ, глухой и низкій, который, стараясь говорить тихо, рычалъ и переливался точно шаръ въ кегельбанѣ, замедляющій свой ходъ; другой—мягкій, ласкающій голосъ...

Онъ весь задрожалъ, когда, вслушавшись, узналъ этотъ второй голосъ. Но кто этотъ басъ! откуда онъ? Ему захотѣлось обернуться и посмотрѣть на говорившаго, но такъ пріятно было чувствовать теплоту и свѣтъ и слушать тихо бесѣдующіе о чемъ-то голоса, что онъ продолжалъ лежать не пошевелившись.

— Да онъ никакъ проснулся?—услыхалъ онъ вдругъ громкій возгласъ баса и вслѣдъ за нимъ пронзительный крикъ Жермень;

— Костя!

Позоровъ, дѣйствительно, уже съ минуту какъ открылъ глаза, но самъ не замѣтилъ этого.

Жермень обхватила его голову руками и цѣловала его лицо, плечи, руки. Сразу радостно стало у него на душѣ, когда ея волосы мягко обласкали его лобъ и щеки.

— Жермень... милая!..—Желтой, прозрачной рукой онъ прикоснулся къ ея волосамъ.

— Ну, ну, ну только не волноваться!—услыхалъ онъ снова басъ—Женичка, оставьте-ка его!

Позоровъ съ трудомъ обернулъ голову и на этотъ разъ узналъ: это былъ городской врачъ Тышновъ, уже раньше довольно часто заходявшій къ нему.

Тышновъ былъ отставнымъ военнымъ врачомъ. Онъ былъ необыкновенно толстъ, высокъ и широкоплечъ. Лицо маленькое, но жирное, заплывшее, съ двумя подбородками и въ общемъ плоское, монгольскаго типа: глаза желтые, маленькіе, выдающіяся скулы и крѣпкій, словно выточенный, широкій носъ въ золотомъ *pince-nez*; маленький лобъ наполовину заросъ короткими, жесткими какъ щетка, волосами, покрывавшими затѣмъ всю круглую, крѣпкую голову на короткой, выпуклой шеѣ. Лѣтомъ и зимой Тышновъ ходилъ въ одной и той же свѣтло-сѣрой люстриновой, просторной какъ мѣшокъ, парѣ и въ бѣломъ смятомъ картузѣ—привычка, оставшаяся у него отъ военной службы. Безъ пальто, на улицѣ лѣтомъ, его можно было принять за хозяина булочной. Онъ не ходилъ, а быстро бѣгалъ, странно скользя своими громадными медвѣжьими ногами, какъ это дѣлаютъ дѣти, когда хотятъ кататься по только-что натертому паркету; при этомъ онъ вѣчно потѣлъ и задыхался, такъ какъ любилъ ходить только на солнечной сторонѣ — „на солнышкѣ“, какъ онъ выражался. Онъ чрезвычайно много говорилъ, всѣхъ называлъ уменьшительными именами и всѣмъ предлагалъ займы денегъ. Ему было всего сорокъ четыре года, и лицо его, мысленно отдѣленное отъ жира, было еще не старо; но въ общемъ всѣ ему давали за пятьдесятъ. Съ Позоровымъ онъ случайно познакомился въ городскомъ саду, и, узнавъ, что новый его знакомецъ—музыкантъ, сталъ забѣгать къ нему: ввалится съ сопѣніемъ и шумомъ, упадетъ на первопопавшійся стулъ и, не здороваясь и не снимая картуза, скажетъ, еле дыша:

А ну-ка-съ, ну-ка-съ... серенадочку какую нибудь!

Серенадочками онъ называлъ все—и сонатъ Бетховена, и рапсодіи Листа, и Шопеновскіе вальсы.

А прослушавъ, вставая, говорилъ:

— Да, славная серенадочка... а денегъ займы вамъ не нужно?—И сейчасъ же исчезалъ, снова съ сопѣніемъ несясь по корридору...

...Позоровъ обрадованно удыбнулся доктору и хотѣлъ было приподняться поздороваться. Тышновъ замахалъ руками:

— Ни, ни, ни... знай лежите себѣ и помалкивайте... Чортъ васъ немного побери, почему въ Харьковъ со мной не поѣхали! никакихъ болѣзней не было бы... А я тутъ, пока вы на тотъ свѣтъ путешествовали, съ вашей кузиночкой подружился. Она премиленькая особочка, и называю я ее Женичкой... какая тамъ Жермень! мы не французы, чортъ ихъ немного побери... передовая нація, а въ социализмъ отъ нѣмцевъ отстали...

Жермень, сидя на кровати, не спускала глазъ съ Позорова. Онъ держалъ ея руки въ своихъ.

— Докторъ, скажите... я серьезно нездоровъ?

— Да, вы въ общемъ здорово больны... но еще больше въ васъ всякихъ этихъ глупостей, чепухи... всякой этой философіи... И не могу чтобы не сказать вамъ откровенно... Конечно, вамъ обижаться нечего... давно ужъ какъ молодъ былъ... музыку вотъ чрезвычайно люблю... мы съ вами... наконецъ, какъ человѣкъ, чортъ васъ немного побери!

Тышновъ покраснѣлъ, задыхался и не ходилъ, а смущенно совался изъ угла въ уголъ комнаты. Ему видимо, очень хотѣлось сказать Позорову что-то такое, что онъ считалъ чрезвычайно важнымъ, о чемъ все время думалъ, и только смущеніе и незнаніе какъ начать, мѣшали ему.

— Докторъ, говорите! я слушаю васъ, какъ человѣка жизни и науки.

Позоровъ слабой рукой съ трудомъ откинулъ со лба волосы и съ исхудавшимъ, серьезнымъ лицомъ приготовился слушать, Тышновъ посовался изъ угла въ уголъ и заговорилъ:

— Послушайте... въ самомъ дѣлѣ... вотъ что... Вотъ провель я у вашей постели полторы недѣли, слушалъ я ваши бредни, рассказывала мнѣ про васъ ваша

кузиночка, и вотъ я вижу что... напичкать васъ каплями и порошками легко, но сдѣлать изъ васъ здороваго человѣка трудненько... ой, какъ трудненько... Тѣломъ вы паршивы, но еще паршивѣе всѣми тѣми атрибутами, что вмѣстѣ взятые называются душой. И вотъ хочу я вамъ сказать, что дрянцо это въ васъ сидящее мнѣ... кромѣ того, что въ высшей степени несимпатично... но и непонятно совершенно... непонятно, да и только!

Докторъ пожалъ плечами.

— И пораскните-ка искренно умомъ, и сами поймете, что заѣдаетъ васъ не что нибудь серьезное, большое, а самая наичепушистая чепуха. Въ общемъ важно вотъ что: живете вы, батенька мой, въ такое время и при такихъ условіяхъ, какъ это говорится, что такая диковинка, какъ вы есть, можетъ оставаться такой, если только она не человѣкъ—человѣкомъ, а какой то метаморфозъ... пареніе въ высяхъ... метафизика, чортъ ее немного побери!.. Скажу я вамъ вотъ что: я самъ былъ молодъ, былъ студентомъ и среди пріятелей своихъ видалъ десятками такихъ парнюгъ, какъ вы или вродѣ васъ... и самъ одно время былъ почти такой же ягодкой... но тому, молодчикъ вы мой, болѣе двухъ десятковъ лѣтъ... и время тогдашнее... не то, чтобы сравнить съ теперешнимъ... но и говорить о немъ теперь, такъ скверно на душѣ становится... Насъ душили, понимаете, счастливчикъ мой, душили... брали за горло солдатскими руками и говорили: а ну-ка... пикни-придушимъ! разинь-ка ротъ—заживо у насъ сгніешь!.. И потомъ отсутствіе почвы... и это не фраза... не на кого было опереться... о массѣ и не мечтай, а вотъ своего даже брата, искренняго интеллигента, бывало днемъ съ огнемъ развѣ сыщешь. И въ наше время, дѣйствительно, не рѣдкость было, что... глядишь... парнишка... честный, искренній, работающій, а вдругъ съ круга спился, въ хмурь ударился и философскую околесину понесъ... зачѣмъ молъ, почему да для чего, все равно де помирать, да такъ

далѣе. А парнишка, повторяю, хоть куда... искрен-
ный и работать готовъ не покладая рукъ...—

Тышновъ преобразовался: многочисленныя мор-
щины и складки его лба и щекъ какъ то сгладились,
расплылись, и отъ этого лицо какъ будто похудѣло,
вытянулось и стало моложе; глаза увеличились, при-
няли спокойное, печальное выраженіе, и по всей его
точно вдругъ опавшей фигурѣ разлилась едва улови-
мая грусть вспоминающаго человѣка.

Онъ постоялъ въ серединѣ комнаты, молча погла-
живая свою жесткую квадратную бородку... и снова
заговорилъ, пустившись опять сновать изъ угла въ
уголъ.

— Возьмите вы хотя бы мою жизнь... Пакостная
это была исторія!... терпѣлъ неудачу за неудачей и въ
общемъ былъ несчастливъ... и самоудовлетворенія ни
на грошъ... хотя, какъ честный человѣкъ вамъ говорю,
невѣжества не проповѣдывалъ и взятокъ не бралъ.
Но, какъ это всегда въ наше время было, что нашъ
братъ русскій интеллигентъ если и напрягалъ умишко,
то изъ этого ничего кромѣ нытья не выходило,—такъ
это случилось и со мной. Но, посудите сами, каковы
дѣла... Спервоначала... по окончаніи то есть академіи,
получилъ я назначеніе въ довольно порядочный про-
винціальный городишко, при кавалерійскомъ полку...
продержался тутъ однако не полный годъ, именно —
недоразумѣніе съ начальствомъ изъ-за новаго полко-
вого подрядчика... Подрядчикъ, разумѣется, воръ, воръ,
разумѣется, и полковой командиръ... Приносить эта
шельма подрядчикъ говядину, которую будетъ доста-
влять офицерамъ и людямъ... для испробованія. Я,
какъ врачъ, осмотрѣлъ—какъ будто ничего... свѣжая...
А черезъ недѣлю, смотрю, у меня люди всѣ животомъ
стали болѣть, а у многихъ такъ изъ души претъ. Что
такое?.. сунулся я въ солдатскую миску, смотрю,—мясо
то вонючее-превонючее. Жду день, другой—все то же,
а у командира нарочно отобѣдалъ, такъ мясо велико-
лѣпное, превкусное. Не выдержалъ я: такъ и такъ,

говору, твое высокоблагородіе, а вѣдь людей то нашъ новый подрядчикъ гнильемъ кормить... Ну, ужъ не знаю, о чемъ это подрядчикъ съ командиромъ наединѣ бесѣдовалъ, только сталъ этотъ самый командиръ чернѣе ночи. Это, говорить, не ваше дѣло, Данило Александровичъ... я, говорить, самъ пробовалъ солдатскую пищу, я за нее и отвѣчаю... Гм... отвѣчаю!.. вотъ вамъ человѣческая логика!... Сунулъ я было къ начальнику дивизіи, да куда... ничего не вышло, пришлось только изъ полка убраться... Такъ-съ... Ну-съ, перевели меня за тридевять земель, въ нѣкоторое царство, не въ наше государство, а именно въ Царство Польское, между небомъ и землей... въ какую то паршивенькую деревушку... Батарея... стоянка... всего то и людей сто восемьдесятъ человѣкъ при шести орудіяхъ. Офицеровъ всего трое—командиръ, младшій офицеръ да я, докторъ... вотъ и живи въ такомъ обществѣ... Командиръ либо пьянъ, либо сидитъ въ полисадникѣ полуголый, чай пьетъ и дочь матернымъ словомъ ругаетъ, такъ что противно съ нимъ, свиньей, слово перемолвить... младшій офицеръ за этой самой командирской дочерью ухаживаетъ... а мнѣ то что? что мнѣ оставалось дѣлать? Вотъ я и запилъ, да еще какъ запилъ!.. хоть никогда раньше наклонности къ вину не питалъ... Ну, а тутъ скоро исторія вышла съ солдатикомъ однимъ... Былъ у насъ солдатикъ, слабенькій такой, съ сердцемъ порочнымъ, полушепотомъ говорилъ... звали Прохоровымъ. Любилъ я этого Прохорова чрезвычайно и подружился съ нимъ, какъ съ лучшимъ другомъ. Любознательный такой былъ: бывало придетъ и все книжечекъ проситъ и тутъ же у меня часто и читаетъ ихъ... Или, бывало, говорили мы съ нимъ, и о чемъ только не говорили! и изъ астрономіи рассказывалъ ему, и объ устройствѣ спектроскопа, и о первобытномъ состояніи людей... Говорилъ я съ нимъ такъ, лѣчилъ его, собирался къ себѣ въ деньщики перевести, да не пришлось... Какъ то разъ уѣхалъ я

на три дня въ городъ—тоже противъ совѣсти людей безъ врача оставилъ,—пріѣзжаю назадъ, а мнѣ говорить: Прохорова въ дисциплинарный батальонъ отправили. Что такое? какимъ образомъ?! А дѣло, оказывается, вотъ какъ вышло: стоялъ онъ, Прохоровъ,—бѣдняжка на часахъ, дневальнымъ, и отъ жары задремалъ... а тутъ какъ разъ командиръ пьяный проходилъ... увидалъ, что часовой спитъ—возьми и тресни его изо всѣхъ силъ по лицу, хоть по закону не имѣетъ права бить часового. А Прохоровъ проснулся, позавылъ, что съ саблей, да и схватился было подъ козырекъ. Ну, командиръ и выдумалъ, что тотъ его ударить собирался, потому что съ шашкой наголо не могъ де онъ честь хотѣть отдать... Такъ и запрятали парня... Прошелъ это мѣсяцъ, другой, соскучился я по Прохорову... дай, думаю, съѣзжу—навѣшу сердягу. Пріѣзжаю въ городъ, спрашиваю о немъ, а мнѣ новую исторію рассказываютъ: Прохорова къ разстрѣлу приговорили за то, что офицера ударилъ и погоны съ плеча сорвалъ. Я тутъ самъ не свой... выхлопоталъ свиданіе, и вотъ онъ мнѣ со слезами, жалкій такой, такую исторію рассказалъ: какъ только прибылъ онъ въ батальонъ, такъ не возлюбился одному изъ офицеровъ... ну, тотъ и вели его ни за что ни про что каждый день сѣчь, да еще самъ, какъ ни пройдетъ мимо, такъ сейчасъ же—„а почему у тебя пуговицы не блестятъ, а почему поясъ слишкомъ высоко задралъ?“ и сейчасъ же кулачищами это по лицу... по лицу... Терпѣлъ, терпѣлъ мой Прохоровъ, а кто-то изъ пріятелей ему и посовѣтуй: если, говорятъ, хочешь избавиться, то, какъ онъ тебя бить начнетъ,—возьми и не то чтобы ударь его, а такъ легонько за плечи потряси... тебя за это въ Сибирь и сошлютъ, избавишься такимъ образомъ. Ну, Прохоровъ возьми и сдуру продѣлай все это. Сталъ тотъ его бить, а онъ ему руки на плечи положилъ и говоритъ: „вы, ваше благородіе не деритесь“... Офицеришка испугался, рванулъ и погоны оторвалъ...

Ну, вотъ вамъ... Пробылъ я самъ не свой еще день въ городѣ, а тутъ извѣщеніе приходитъ, что смертная казнь Прохорову отмѣняется съ замѣной каменнымъ мѣшкомъ на тридцать сутокъ. Обрадовался я... ну, думаю, теперь за мной очередь дѣйствовать... Каменный мѣшокъ... да... знаете ли вы, что это за штука? Карцеръ каменный, холодный... и въ неполный квадратный аршинъ—ни лежать, ни сѣсть, разумѣется, а стой себѣ все время... здоровый человѣкъ врядъ ли проживетъ въ немъ болѣе десяти сутокъ—а ужъ съ порокомъ—то сердца!.. Вотъ я и написалъ донесеніе, что я, молъ, военный врачъ такой-то, осмотрѣвъ солдата Прохорова, приговореннаго къ тридцати суткамъ сидѣнія въ каменномъ мѣшкѣ, нашелъ у него явно выраженный порокъ сердца и чрезвычайную общую слабость... поэтому считаю его абсолютно негоднымъ къ подобному наказанію, которое считаю нужнымъ отмѣнить и замѣнить другимъ—удлиненіемъ срока пребыванія въ дисциплинарномъ батальонѣ или... понимаете... въ виду серьезности проступка ссылкой въ мѣста не столь отдаленныя... Ну, и что же? и ничего не вышло... Донесеніе мое подъ сукно положили, а Прохорова такъ и заперли въ мѣшокъ. Постоялъ онъ, сердечный, три дня, а на четвертый его мертвымъ и нашли... Вотъ вамъ...—Тышновъ остановился среди комнаты и замолчалъ, опустивъ лицо къ полу...

— Скверно стало у меня на душѣ, когда узналъ объ этомъ, и страдалъ я тогда порядочно. Стыдно стало погоны носить—кровь была на нихъ, и въ общемъ убійцей себя чувствовалъ... Были кое-какія связи, и я подаль до срока въ отставку, тѣмъ болѣе охотно мнѣ ее дали—такъ и знали за непокойнаго... Ну-съ, а по выходѣ въ отставку попробовалъ я было земской службы, но тутъ меня попъ-подлецъ сейчасъ же и заѣлъ. Такая каналья попалась—не только учителя, но и меня, врача, съѣлъ. . Почему врачъ Тышновъ въ церковь не ходитъ? Сталъ я Богу молиться.

Почему врачъ Тышновъ въ церкви не крестится? Сталь я лбомъ объ полъ стукаться.

Зачѣмъ къ врачу Тышнову крестьяне слишкомъ часто за совѣтами ходятъ, а къ нему, попу, не ходятъ? Зачѣмъ врачъ Тышновъ по вечерамъ съ крестьянами на полѣ о чемъ то толкуеть?.. И что же вы думаете? вѣдь выжилъ, въ одинъ годъ всего и выжилъ!.. Тутъ вотъ я и захандрилъ... два года совсѣмъ ничего не дѣлалъ, такъ валандался, обнищалъ страшно... Думалъ было что нибудь болѣе смѣлое выкинуть!.. да гдѣ! Не съ кого, не съ чего было начать... Ну, а потомъ опредѣлился вотъ сюда... городскимъ врачомъ... и вотъ въ какой нибудь десятокъ лѣтъ разжирѣлъ, поглупѣлъ до неузнаваемости... мало того—душой обнаглѣлъ... Вѣдь вотъ же живу въ мирѣ—согласіи со всѣми этими губернаторами, предводителями, исправниками, чортъ ихъ немного... а то и совсѣмъ побери! А вѣдь не люблю я ихъ, сильно не люблю—не люблю за жирныя шеи, за лаковые сапожки, за мундирчики, за ордена не люблю... а лажу... Нѣтъ, знаете ли, такой пакости, къ которой человѣкъ не способенъ привыкнуть, такъ и я—привыкъ къ своему положенію и даже, надо сознать въ себѣ скота, нахожу въ немъ известное удовольствіе. Душа, какъ и морда, жиромъ заросла, и въ общемъ никакихъ желаній, мечтаній и прочее уже нѣтъ... гладь незыблемая... Одно развѣ только еще люблю—это удобства жизни... не то что бы шикъ, барство, а... хочу спокойствія... Я, знаете ли, началъ искренно, безъ всякой рисовки, но... больно ужъ скверно...—

— Тышновъ какъ бы почувствовалъ шаблонность послѣднихъ своихъ словъ, густо покраснѣлъ и, остановившись у окна, тоскливо опустилъ голову. Онъ, видимо, позабылъ о цѣли, съ какой началъ разговоръ, и весь отдался боли отъ воспоминаній личной жизни.

— Да, такъ вотъ-съ вамъ... — спохватился онъ минуту спустя—въ общемъ хотѣлъ я сказать одно: въ наше время такой человѣчинка, какъ я, продѣлавъ

всевозможные культуртрегерскіе опыты, убѣждался, что все это дѣло дрянцо, оставался одинъ самъ съ собой и думалъ: э-эхъ, долбануть бы васъ всѣхъ, охъ, какъ долбануть! А оглядывался и видѣлъ, что не съ кѣмъ... никакъ невозможно начать... а одному трудно было... очень трудно... въ общемъ, не по зауряднымъ силамъ... Въ наше время кругомъ были слышны ходульня, пошлыя, но, если вѣрите, искреннія фразы: среда заѣла, дышать нечѣмъ, извѣрился и прочее... Теперь же другія пѣсни.

Прислушаешься къ современному философствующему интеллигенту и слышишь: до сихъ поръ я былъ молодъ, былъ студентомъ и былъ революціонеромъ, а теперь я окончилъ юридическій факультетъ и вижу, что заниматься революціонными дѣлами не выгодно, а я лучше поступлю на службу въ казенную палату, и при этомъ не плохо тоже открыть торговья бани. Философій и міросозерцаній кругомъ много... очень много, а мотивъ, увѣряю васъ, всегда тотъ... одинъ и тотъ-же. Только у кого торговья бани, а у кого профессорская каведра.—

Тышновъ помолчалъ, похмурился и продолжалъ, затрудняясь и подбирая выраженія:

— Ну, и потомъ вотъ вы... встрѣчалъ я нѣсколько такихъ, какъ вы... встрѣчалъ, да... и что-же? Не сердитесь, добрейшій Костечка... скажу я вамъ, что прежде всего лѣчить васъ всѣхъ надо... и какъ лѣчить? Взять за шиворотъ и ткнуть носомъ въ самую вонь, въ самый это потный смрадъ жизни. Влѣзли вы на луну, либо на Марсъ и позабыли какимъ потомъ отъ жизни отдаетъ... Не сердитесь, добрейшій Костечка... охаете вы, вижу я... стонете... все въ здѣшнемъ мірѣ не по васъ... понимаю я...—

Тышновъ опять поморщился, пощелкалъ пальцами, потеръ лобъ... и вдругъ усѣлся около Позорова на кровать и заговорилъ тихо, скоро и мягкимъ, вкрадчивымъ голосомъ. И лицо его, несмотря на двойной

подбородокъ, жиръ и всю неуклюжую фигуру, напомнило заговорщика изъ Гугенотовъ.

— А между тѣмъ, милѣйшій вы мой дружокъ, посмотрите, посмотрите-ка кругомъ!.. Чортъ побери! чортъ побери! какія чудесныя, увлекательныя пере-мѣны на нашихъ глазахъ происходятъ! Возьмите хотя бы нашъ городишко... глушь, неправда ли, милѣйшій, захолустье, городишко дрянцо, за тысячу верстъ отъ столицъ... а загляните-ка... здѣсь имѣется цементный заводикъ и фабрика... такъ паршивенькая бумаго-прядильная.—загляните-ка туда и присмотритесь къ ли-цамъ рабочихъ... къ глазамъ присмотритесь... а? а—а?

— Тышновъ вскочилъ съ кровати, откинулъ на-задъ весь свой громадный корпусъ и сщурилъ глаза.

— Чортъ... чортъ побери! какіе чудесные, какіе сердитые, недовольные... какіе сознательные глаза!! Или нашъ крестьянинъ... вы знаете его, неправда-ли, милѣйшій,—портянкой отъ него воняетъ, грязень, невѣжественъ, тупъ, неразвитъ, въ знахаря, въ бабу-ягу вѣрить... а посмотрите-ка, дружочекъ вы мой..—

Докторъ опять порывисто усѣлся на кровать и, опять таинственно наклонившись къ Позорову, мягко и вкрадчиво продолжалъ:

— Посмотрите-ка вы, какъ хорошо, какъ дѣльно поглядываетъ онъ на эполеты исправника... или какъ мило косится на великолѣпную американскую моло-тилку сосѣда-помѣщика! А-а... да что говорить! при-глядѣться лишь нужно...—

Докторъ взмахнулъ рукой и опустилъ ее на плечо Позорова.

— Слушайте, братецъ,—проваляйтесь-ка вы съ недѣлю и выздоравливайте!.. А потомъ поѣзжайте ка за границу, въ Берлинъ... рейхстагъ посѣтите, Бебеля послушайте... Разсѣйтесь какъ слѣдуетъ, приѣдете обратно и... ай да!—

Тышновъ подмигнулъ глазомъ и, какъ будто отъ-ѣздъ Позорова уже былъ рѣшенъ, грузно поднялся и заходилъ по комнатѣ, весело усмѣхаясь и потирая

руки... Неожиданно онъ даже громко и раскатисто расхохотался...

— На дняхъ къ намъ въ городишко нѣмецкій купчина прїѣзжалъ. Объялся, натурально, парень русскихъ щей и заявился къ мнѣ съ животомъ... Разговорились... человѣчина не безъ свинскаго капиталишка; изъ Берлина... Вотъ я ему и говорю: „Herr Schulze, lieben sie den Herrn Bebel?“ Человѣчина побарговѣлъ: „Ach, der Mensch ist verrückt... die Kerl's wollen dass keine Kapitalisten werden!“ Ну, погоди, думаю, нѣмчура, какъ долбануть тебя эти Kerl's, вотъ тебѣ и будетъ Kapitalisten...—

Докторъ снова захохоталъ... и замолчалъ, неожиданно поймавъ на себѣ сосредоточенный, горящій взглядъ Позорова. Жермень, все время сидѣвшая у изголовья, уже давно съ волненіемъ замѣтила все усиливающую блѣдность его лица и тревожно поглядывала на Тышнова. Докторъ тоже смутился и подумалъ:

— Экъ разболтался я... не надо бы сразу...—

Послѣ долгаго и непріятнаго молчанія Позоровъ тихо заговорилъ, не спуская глазъ съ Тышнова:

— Докторъ, вы говорили о философіи... о пареніи въ всяхъ, о залѣзаніи на луну... Тѣмъ, чѣмъ страдаю я, страдаютъ въ меньшей степени сотни и тысячи другихъ людей, а въ ничтожной степени, безсознательно и приписывая это другимъ причинамъ, страдаетъ и все человѣчество. И чѣмъ меньше страдаетъ этимъ все человѣчество, тѣмъ больше страдаютъ эти сотни и тысячи... и чѣмъ меньше страдаютъ эти сотни и тысячи, тѣмъ больше страдаю я и еще нѣсколько десятковъ злополучныхъ Макаровъ...—великая двойная тайна,—подлая, наглая—скрытая въ природѣ и человѣческой душѣ, хищнически, ненасытно гложетъ и пожираетъ своихъ любимыхъ избранниковъ. И неужели вы думаете, всѣ эти страданія нежизненны и выдуманы? Ахъ, милый докторъ... неужели ужъ такъ пріятно вѣчно носить

въ себѣ того безпощаднаго духа самопреслѣдованія, что въ самые даже свѣтлые моменты жизни неуклонно влечетъ тебя къ горькимъ, отравленнымъ размышленіямъ... и цинично напоминаетъ о минутности твоего счастья и о постоянствѣ твоихъ мукъ? Ахъ, докторъ... неужели вы дѣйствительно предполагаете, что я *нарочно* страдаю? А если не нарочно, то не объясните ли вы мнѣ, почему вы—здоровые люди—не можете сдѣлать такъ, чтобы я не страдалъ... Я явился на свѣтъ отъ васъ—отъ людей... я страдаю, и когда спрашиваю:—почему?,—то одни отвѣчаютъ мнѣ:—ты не страдаешь!,—а другіе:—твое страданіе безпричинно!—Но если я страдаю безпричинно, то объясните мнѣ, почему я страдаю безпричинно!..—

Позоровъ порывисто приподнялся, и, сѣвъ въ кровати, продолжалъ уже рѣзче и громче:

— Докторъ, вы говорите, что хорошо жить, честно и сознательно работая, не покладая рукъ. Людей, живущихъ такой жизнью, уже не мало, я знаю многихъ лично—я былъ между ними... Но скажите: почему именно между этими людьми больше всего стрѣляются, вѣшаются, спиваются, сходятъ съ ума? Почему это такъ докторъ? Чудесно измѣняется и улучшается жизнь на нашихъ глазахъ, говорите вы... Почему же все усиливаются и все ужаснѣе становятся страданія отдѣльныхъ людей, не глупѣйшихъ и не худшихъ? И скажете ли вы мнѣ—когда прекратятся эти страданія? и можете ли вы мнѣ указать во всемъ томъ, чѣмъ озабочены лучшіе люди нашего времени, и во что, говорятъ, развивается сама жизнь, хотя бы долю того начала, которое должно облегчить эти страданія?..—

— Тышновъ, радостно и хитро улыбнувшись, точно только и ожидалъ этого довода, собрался что-то возразить, но Позоровъ съ такой болью на покривившемся отъ страданія лицѣ и съ такимъ болѣзненнымъ раздраженіемъ взмахнулъ руками, схватился

за голову, что докторъ замолчалъ, испуганно глядя на него. Съ такимъ же испугомъ, прижавъ руки къ груди, смотрѣла на него и Жермень. И когда Позоровъ отнялъ руки отъ совершенно блѣднаго лица, губы его замѣтно дрожали, и блестящія глаза нѣсколько разъ перевелись съ Тышнова на Жермень, точно онъ собирался крикнуть имъ обоимъ что-то рѣзкое и оскорбительное. Но онъ не крикнулъ, а съ сразу потухшимъ лицомъ сказалъ тихо, монотонно и слабо улыбаясь неопредѣленной улыбкой:

Докторъ, мои страданія должны быть признаны, потому что я живу на зарѣ новой жизни и въ своихъ одинокихъ страданіяхъ несу на себѣ непосильную, проклятую ношу стараго горя и отживающихъ ужасовъ родной страны, и еще потому, что и черезъ сто, и черезъ тысячи лѣтъ, и до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать неразгаданная природа и люди, моя судьба между ними будетъ все та же, и все та же будетъ цѣна моей жизни.—

— Нельзя вамъ волноваться, никоимъ образомъ нельзя, чортъ васъ немного побери, голубчикъ вы мой,—заговорилъ, стараясь шутить, перепуганный Тышновъ.

— Ложитесь-ка, ложитесь!.. Онъ сталъ укладывать Позорова.

— Дрянцо ваше дѣло, Костечка... совсѣмъ дрянцо...— не удержался онъ, чтобы не высказать своей мысли.— Ну вотъ и лежите... а я сейчасъ пойду... и такъ заболтался съ вами... а вечеромъ снова зайду... Выздоровѣете,—обо всемъ натолкуемся, а сейчасъ лежите-ка и ни о чемъ не думайте... Думайте-ка о великолѣпной шишкѣ, находящейся подъ носомъ у Алжирскаго бея...—

Позоровъ вдругъ рванулся въ рукахъ доктора.

— Что!.. То есть вы хотите сказать, что я сумасшедшій!?—Это наглая ложь...—задыхаясь и рѣзко-испуганнымъ голосомъ крикнулъ онъ.

Тышновъ совсѣмъ опѣшилъ:

— Что вы, что вы! чудило вы... Христось съ вами... я съ вами шучу... въ томъ смыслѣ... чтобы совсѣмъ ни о чемъ не думать...—

— Почему же другіе могутъ думать, а я не долженъ?—скороговоркой и уличая въ чемъ-то, переспросилъ Позоровъ, не спуская глазъ съ Тышнова.

Тотъ постарался весело ухмыльнуться.

— Очень просто! другіе во-о какіе здоровенные парни, а вы больны, лежите въ постели... повышенная температура...—

— Ахъ... да!—сообразилъ Позоровъ, но еще съ минуту, приподнявшись на локтяхъ, продолжалъ смотрѣть доктору въ глаза, какъ бы провѣряя—не обманываетъ ли тотъ его?

Потомъ онъ устало закрылъ глаза, голова его упала на подушку, и онъ почти сейчасъ же заснулъ...

— Дрянцо дѣло, совсѣмъ дрянцо!—про себя, шопотомъ повторилъ Тышновъ и покачалъ головой.

— Ну, Женичка миленькая... а я пойду... Теперь онъ поспитъ часочка два и проснется покладистѣе... Глупъ я, миленькая, что затѣялъ разговоръ, порядочно глупъ... а вечеромъ зайду... сильно глупъ... А въ общемъ дѣло — дрянцо!..—

Онъ взялъ картузь, поцѣловалъ Жерменъ въ лобъ и вышелъ за дверь. Здѣсь онъ опять нѣсколько разъ покачалъ головой и прошепталъ:

— Въ общемъ дѣло дрянцо... совсѣмъ дрянцо!—

VII.

Выздоровленіе-ли?

Выздоровленіе Позорова подвигалось медленно, постепенно, но это время казалось ему счастливейшимъ въ его жизни...

Дядя неожиданно прислалъ цѣлыхъ семьдесятъ пять рублей съ лаконической припиской на переводѣ:

„Валяй, Костька, кути братъ, кути во всю!“ Инспекторъ изъ Харькова тоже откликнулся. Онъ писалъ, что очень удивленъ и огорченъ полученнымъ письмомъ: онъ хорошо помнитъ выдающіяся способности Позорова и каждый день думалъ услыхать изъ столицъ или изъ-за границы о его начинающей славѣ... и вдругъ... письмо изъ захолустья съ просьбой о помощи; денегъ свободныхъ у него сейчасъ нѣтъ... что же касается занятій, то онъ сдѣлаетъ все возможное... и, быть можетъ, даже выхлопочетъ мѣсто преподавателя скрипки въ ихъ школѣ; это тѣмъ болѣе возможно, что они какъ разъ думаютъ увеличить штатъ учителей и т. д.

Позоровъ самъ удивился тому, что обрадовался этимъ деньгамъ и письму—онъ уже давно привыкъ безразлично относиться къ тому, какъ складывалась внѣшняя сторона его жизни.

— Это хорошо! я смогу устроить все, что для нея необходимо... переѣдемъ въ Харьковъ...—подумалъ онъ и взглянулъ на Жермень, которая въ это время осторожно отсчитывала у окна какія-то прописанныя докторомъ капли.

Съ самого момента своего вторичнаго пробужденія—на слѣдующее утро послѣ разговора съ Тышновымъ—Позоровъ, не переставая, думалъ о томъ, что предпринять для Жермень, какъ устроить ея жизнь... Очнувшись тогда, онъ увидалъ ее, стоящую съ обычнымъ спокойно-серьезнымъ выраженіемъ лица у окна и играющую на скрипкѣ. Собственно—она не играла, а только, видно, боясь разбудить его, упражняла одну лѣвую руку; смычка же въ правой рукѣ у нея не было. Она не замѣтила, что онъ открылъ глаза, и онъ видѣлъ, какъ головка ея сосредоточенно отбивала тактъ, слышалъ, какъ губы ея шептали счетъ, а тонкіе пальцы, какъ всегда, ловко и скоро бѣгали по струнамъ, издавая глухой, ровный стукъ.

— Милая, какъ она любитъ музыку!—подумалъ онъ... и вдругъ вспомнилъ, что, въ сущности, за все

время, съ того дня, какъ она поселилась у него, онъ ни разу не думалъ о томъ, какъ устроить ея жизнь, а всегда думалъ лишь о томъ, какъ счастливо онъ устроить свою жизнь съ ней.

— А вѣдь свою жизнь я не думалъ измѣнять... а она вѣдь молоденькая, еще дѣвочка... Надо именно взять и устроить ея жизнь... и уже около нея, если будетъ возможно, какъ нибудь устроить и себя... свою жизнь.—

И эта простая мысль такъ пріятно поразила его, что онъ закрылъ глаза, рѣшивъ, что надо сейчасъ же думать о томъ, какъ привести эту мысль въ исполненіе.

— Вотъ именно устроить ея жизнь, а не свою—стыдя себя, подумалъ онъ снова, когда закрылъ глаза.— Вотъ какъ только выздоровѣю, сейчасъ же и примусь все это устраивать... И какъ это будетъ все великолѣпно! я буду устраивать—и это будетъ цѣлью моей жизни... чудесно, въ самомъ дѣлѣ... удивительно, почему это мнѣ раньше въ голову не пришло?! Но какъ я все это устрою?.. Прежде всего не остановлюсь рѣшительно ни передъ чѣмъ: если нужно будетъ—поѣду въ Москву, помирюсь съ родителями, завалю себя уроками... воспряну духомъ... позаймусь съ полгода, а тамъ по провинціямъ поконцертирую... А она... она громадный, рѣдкій талантъ, большій, чѣмъ я... работать для ея жизни интересно и почетно... Можно будетъ такъ устроить: годъ или два, пока я накоплю денегъ, она займется съ профессоромъ—консерваторія для нея не годится...—я же самъ займусь съ ней исторіей, литературой, математикой, физикой... ей необходимо всестороннее образованіе. А потомъ, когда накоплю денегъ, повезу ее за границу, къ ней на родину, въ Парижъ, въ Италію... Я, несомнѣнно, увлекаюсь всѣмъ этимъ, я съ увлеченіемъ буду работать для нея, и въ будущемъ ея талантъ, ея слава и счастье будутъ моей гордостью... До сихъ поръ я любилъ ее, и потому смотрѣлъ на нее лишь какъ на средство

счастливіе устроить свою жизнь... но вѣдь я жилъ, а со мной должна была жить и она... и покамѣсть я сдѣлалъ ее только несчастной.

Но вѣдь я люблю ее, и поэтому нужно... жить для нея... да, только это и нужно... Надо вселить въ нее добрый, здоровый взглядъ на жизнь и самому прибодриться... и все будетъ отлично!.. Безспорно, и я буду себя хорошо чувствовать... вѣдь я въ сущности не чуждъ жизни, я многое люблю и для многоаго готовъ работать... у меня есть кое-какія знанія... Жизнь должна будетъ понемногу увлечь меня, надо только съ чего нибудь начать—я втянусь въ жизнь... А сама обстановка жизни какъ измѣнится! Боже мой, опять просторъ, свѣтъ, путешествіе... хоть иногда да веселый смѣхъ...—

И тяжесть, которую Позоровъ такъ привычно и долго носилъ въ себѣ, постепенно стала отлегать отъ его сердца, когда онъ думалъ такъ о будущей жизни Жерменъ и о своей жизни. И въ эти дни своего выздоровленія онъ шутилъ и съ докторомъ, и съ Жерменъ и даже нѣсколько разъ громко смѣялся, чего съ нимъ уже давно не было... А Жерменъ измѣнилась: ново было для Позорова въ ней особенно трогаящая простая нѣжность и ни на секунду не ослабѣвающее вниманіе, съ которымъ она относилась къ нему. Иногда, когда онъ задумывался, глядя на нее усталыми глазами, она садилась возлѣ него на кровати и робко гладила дрожащей рукой его руку или лицо. А когда онъ становился веселымъ и смѣялся, она мѣнялась до неузнаваемости: лицо ея тогда дышало такимъ счастьемъ, и въ ней вдругъ прорывался такой бурный потокъ веселья, какого онъ даже и не могъ въ ней подозрѣвать; заставляя его хохотать, она то показывала, съ какимъ выраженіемъ лица Федоръ спитъ цѣлый день на скамьѣ въ сѣняхъ, то изображала доктора, пыхтя и сопя плывущаго на солнышкѣ... а то фантазировала на скрипкѣ ссору между супругами...

Въ день полученія письма изъ Харькова онъ спросилъ, принимая изъ ея рукъ капли:

— Жермень, дѣвочка моя, сестра моя дорогая... я братъ вашъ, неправда ли? Помните... я какъ то спросилъ васъ о вашихъ мечтахъ, о вашемъ счастьѣ... вы тогда не отвѣтили мнѣ... скажите теперь. Жермень... Женичка... скажите, прошу васъ.—

Лицо Жермень приняло озабоченное, какъ во время игры, выраженіе...

— Хорошо, Костя, я вамъ скажу, а вы скажете мнѣ... если такъ надо...—

Она приняла изъ рукъ Позорова рюмку, поставила ее на окно, и, возвратившись, сѣла около него на кровати, сложивъ руки на колѣняхъ... Какъ всегда, волнуясь, она щурила глаза, и лицо ея немного поблѣднѣло...

— Вотъ, Костя... я хочу такъ... Когда я была маленькая, я думала, что жизнь... легкая, что все... очень хорошо... что всѣ хорошіе люди богаты и всегда шутятъ, смѣются... что все очень весело... Я совсѣмъ не знала, что жизнь... такая серьезная, вообще... что есть что-то... важное, большое, за что страдаютъ, и что это непріятно, плохо... Я помню, Костя, одинъ случай... ахъ, Костя!..—

Она вдругъ вся вздрогнула и, расширивъ глаза, закусила губы, точно ее кто то испугалъ, и она прислушивалась къ чему-то...

— Я помню одинъ случай... это было такъ страшно... ужасно!.. Это... одинъ разъ, когда я и мама жили еще у... него, въ Петербургѣ, помните, я рассказывала... какъ разъ въ концѣ, года четыре тому назадъ... Онъ одинъ разъ сказалъ, что повѣсятъ одного преступника и на слѣдующій день взялъ маму посмотрѣть его, и я тоже попросила, и онъ и мама взяли меня съ собой... Я помню, мы стояли въ какихъ то большихъ сѣняхъ, около швейцара. И вотъ его провели два солдата съ саблями на плечахъ... и хотя мы были довольно далеко отъ него, но я видѣла все... Лицо у

него было такое бѣлое, совсѣмъ молодое... волосы свѣтлые и такіе добрые голубые глаза... солдаты были какъ звѣри, а онъ... у него было такое спокойное, гордое лицо. И мнѣ казалось, что онъ очень хорошій и добрый, и мнѣ было... ужасно, что его повѣсятъ... И тогда я всю ночь плакала, мнѣ было жутко... и вотъ тогда я первый разъ подумала о томъ, что есть что-то такое серьезное... важное... ужасное въ жизни, за что люди страдаютъ... А потомъ еще многое видѣла и все понимала, и мнѣ всегда было тяжело... Я видѣла, что такъ много несчастныхъ, бѣдныхъ, обиженныхъ... И всѣ всегда ругались, дѣлали другъ другу зло, плохо, и плакали... и всѣ были несчастны... И вотъ теперь, когда вы, Костя, говорили съ докторомъ, я тоже все поняла... и мнѣ всегда грустно... мнѣ тяжело на душѣ... и когда я играю, мнѣ всегда кажется, что это не скрипка играетъ, а я плачу...—

Она слабо улыбнулась поблѣднѣвшими губами и положила свою руку въ руку Позорова; и онъ почувствовалъ, какъ дрожала и эта рука, и все ея слабое маленькое тѣло.

И она продолжала, уже не смущаясь и чувствуя потребность высказать все то, о чемъ она, видимо долго и всегда одна мечтала.

— И вотъ, Костя... я хочу такъ... я буду концерттировать, и на моихъ концертахъ будутъ бывать всѣ... и злые богачи, и нищіе, и пьяницы, и воры, и преступники... И вотъ, когда я буду играть, всѣ будутъ плакать и становиться хорошими... не злыми... а потомъ будутъ уходить и просить другъ у друга прощенья и начинать жить совершенно по другому... И я буду всюду путешествовать... по всему свѣту... и вездѣ играть... играть... И всѣ будутъ слушать.. и вотъ богатымъ станетъ жалко нищихъ и пьяницъ, и они будутъ устраивать ихъ жизнь, а... воры и преступники тоже будутъ плакать, имъ станетъ жалко... стыдно... и они тоже... перестанутъ... И вотъ всѣмъ будетъ хорошо... и всѣмъ несчастнымъ будетъ тоже

хорошо...—Она замолчала и, точно сейчас только вспомнив о Позоровѣ, рѣзко повернула къ нему голову и густо покраснѣла...

— Костя, милый... развѣ все это невозможно?—

— Возможно!—сказалъ онъ.

— Часа черезъ два послѣ этого разговора Позоровъ, утомленный, заснулъ. Сквозь сонъ онъ внезапно почувствовалъ чьи то легкія руки, нѣжно прикасающіяся къ его лбу, потомъ теплые поцѣлуи обласкали его лобъ, лицо...

— Жермень... Женя... милая дѣвочка, что вы?—

— Я, Костя... знаете, Костя... мнѣ такъ хорошо... такъ хорошо!..—Сщуривъ глаза, она тихо засмѣялась и положила голову къ нему на грудь.

— Мнѣ такъ хорошо!..—Она продолжала тихо и радостно смѣяться.

— А знаете, Костя... а тогда, когда все это будетъ, и намъ будетъ хорошо... Знаете, Костя, когда я буду знаменитостью, у насъ будетъ много денегъ, и мы купимъ.. я всегда мечтала... мы купимъ двѣ виллы.. одну здѣсь, въ Россіи... я люблю Россію и русскихъ... а другую за границей, около Парижа... И мы будемъ лѣтомъ отдыхать въ нихъ... Костя, милый, какъ хорошо!..—

Она спрятала лицо у него на груди и снова тихо разсмѣялась.

— Костя, развѣ все это невозможно?—

— Возможно!—сказалъ онъ...

— И съ этого дня Позоровъ чувствовалъ, что здоровье и бодрость сильнымъ ощутимымъ потокомъ вливаются въ него. Неудержимо хотѣлось ему скорѣе выздоровѣть, стряхнуть съ себя всю эту гниль-лѣнь прошлой жизни и съ такой рѣшимостью и стремительностью приняться за дѣло, что все старое—и тоска, и ужасы—покажется лишь далекимъ и случайнымъ сномъ...

...
...
— Я выздоравливаю... Я чувствую это каждой фиброй своей души, каждымъ нервомъ, каждой клѣ-

точкой тѣла. И въ томъ, что я теперь испытываю, самое главное не то, что раньше у меня по цѣлымъ днямъ болѣла голова, а теперь почти совсѣмъ не болитъ, раньше кололо въ сердцѣ, а теперь не колетъ, раньше дышалось тяжело, а теперь легко, раньше я долженъ былъ принимать бромъ и валеріановыя капли, а теперь все это я скоро заброшу къ чорту на кулички,—не это главное; самое же главное въ томъ, что все то гнилое, отравленное, неподвижно—ужасное, что я цѣлыхъ три года носилъ въ себѣ, и что разлагало мое тѣло, тлетворно заражало мой умъ, вся эта гниль-лѣнь теперь, точно испугавшись, шарахнулась во мнѣ и какъ бы черезъ всѣ поры моего тѣла устремилась вонъ изъ меня, почувствовавъ, что старое насиженное было мѣсто для нея уже болѣе не мѣсто. И на мѣсто этой гнили явилось что-то молодое, свѣжее и крѣпкое, какъ сильная, прохладная струя воздуха въ знойную, удушливую пору. И прошлые тоска и страхъ передъ будущимъ кажутся мнѣ такими же смѣшными, какъ и.. эта глупая стеклянка съ валеріановыми каплями на окнѣ, и я говорю себѣ: я выздоравливаю!.. И причина всей этой перемѣны, происшедшей во мнѣ, такъ проста, такъ несложна, что, право... мнѣ даже стыдно передъ двоюроднымъ братомъ...

Неужели сильной привязанности, настойчивой любви къ чему-нибудь, хотя бы незначительному, достаточно для того, чтобы всякія убѣжденія, сомнѣнія, заключенія, міросозерцанія и прочее прахомъ пошли... и жизнь, какъ она есть, показалась необыкновенно прекрасной! Въ самомъ дѣлѣ: видишь это, хотя бы маленькое, но живое и тобою любимое, и вѣришь въ него и весь дрожишь, трепещешь отъ этой вѣры, отъ счастья. Итакъ, правъ былъ тотъ мой пріятель-шутникъ, что сказалъ: если не любишь никого, не вѣришь ни во что, то поспѣши полюбить и повѣрить въ китайскаго императора... Да здравствуетъ пріятель-шутникъ!..

А я люблю ее, мою маленькую королеву Жермень, мою милую ненаглядную Женю. И когда вѣрю въ нее, то вѣрю и въ себя, и не знаю, въ кого больше—въ себя или въ нее... Кажется, о чемъ только когда-либо мечталъ, на что только когда-либо считалъ себя способнымъ, кажется, на все пойду, все найду и все сдѣлаю, если буду всегда любить ее, мое счастливое видѣніе... если буду жить для ея счастья, для ея концертовъ съ ворами и преступниками, для ея двухъ виллъ въ Россіи и за границей...

Какія чудныя, какія несбыкновенныя отношенія установились за послѣднее время между ней и мной: это съ тѣхъ поръ, какъ поговорилъ я съ ней о нашей будущей жизни. Какъ легко мнѣ теперь говорить съ ней и слушать ее, когда она исповѣдывается передо мной во всѣхъ своихъ самыхъ затаенныхъ мысляхъ, въ мечтахъ своихъ чудныхъ и чистыхъ, какъ клочекъ синяго неба, выглянувшій сквозь тѣнистую зелень весенней листвы. А я живу, я дышу каждымъ ея шагомъ. Когда она уходитъ въ лавочку и долго не возвращается, самыя дикія, самыя нелѣпныя мысли лѣзутъ мнѣ въ голову... Впрочемъ, это въ самомъ дѣлѣ серьезно и опасно... не надо, чтобы она ходила одна... Ломовой можетъ на нее наѣхать—здѣсь ихъ такъ много... или штукатурка со строящагося дома возьметъ да обвалится ей на голову... наконецъ, она можетъ просто оступиться, и сломать себѣ ногу—здѣсь такія скверныя дороги... Что тогда? О Боже мой, что тогда!?

А въ общемъ она поправилась, пріободрилась, стала радостной, веселой... Много и удивительно настойчиво работаетъ, читаетъ... А иногда сядетъ, сложить по привычкѣ руки на колѣняхъ, согнется немного и задумается... и уже не печально, подавленно, какъ прежде, а съ тихой волнующей ее радостью. Гляжу на нее въ этотъ моментъ, радостную, здоровенькую, и самъ чувствую, какъ необыкновенныя, исполинскія, чудесныя силы наполняютъ меня... Да

здравствуетъ здоровье! Тамъ, гдѣ начинается истинная жизнь—въ мрачную бездну прошлаго со стыдомъ уползаетъ затхлое безсиліе. Гляжу въ этотъ моментъ въ чистую глубину ея глазъ и вижу всю необъемлемую широту возможнаго счастья для нея и меня... Необъятно расширяется горизонтъ... высь, Боже мой, высь какъ далека... безконечна... а дышится какъ легко, свободно... полной грудью... Я выздоравливаю!.....

VIII.

Случайно...

Это было недѣли черезъ двѣ послѣ того, какъ онъ пришелъ въ себя. Былъ седьмой часъ вечера. Въ комнатѣ было чисто прибрано, уютно и прохладно отъ наполовину спущенной зеленой шторы, на дняхъ только пріобрѣтенной. Позоровъ въ чистомъ, свѣжемъ бѣльѣ, въ мягкихъ туфляхъ, въ парусиновомъ халатикѣ, тоже на дняхъ лишь сшитомъ Жермень, сидѣлъ у раскрытаго настежъ окна, въ креслѣ...

Онъ совершенно одинъ въ комнатѣ... на улицѣ и въ корридорѣ тихо, а ему хорошо и радостно на душѣ... Черезъ два дня докторъ разрѣшитъ ему выйти на улицу, и тогда начнется все то, о чемъ онъ всѣ эти дни не переставая думаетъ... Въ сущности это глупыя предосторожности со стороны доктора, и онъ уже теперь совершенно здоровъ... онъ чувствуетъ себя прекрасно, великолѣпно, какъ нельзя лучше!..

И думая объ этомъ, Позоровъ съ веселымъ, довольнымъ выраженіемъ лица постукалъ себя пальцами по сердцу и потеръ лѣвый високъ:—ничего... чудесно... рѣшительно ничего... никакой боли! Выздоровѣлъ окончательно!.. черезъ недѣльку уѣдемъ въ Харьковъ и... грянемъ новую жизнь!..—

— И удивительно, — думалъ онъ дальше — какъ

это хорошее здоровье дѣлаетъ человѣка лучше, благороднѣе... гонить изъ него прочь всякій эгоизмъ, мелочность... Вѣдь вотъ докторъ взялъ Женю на вечерній спектакль въ городской садъ, я буду цѣлый вечеръ совсѣмъ 'одинъ и... ничего!... и даже наоборотъ—очень доволенъ... она повеселится. А раньше я и представить себѣ не могъ, какъ это разстаться съ ней хотя-бы на полчаса... Докторъ тоже прекрасный человѣкъ... окончательно уладилъ дѣло съ паспортомъ для Жени...—

Въ дверь стукнули, и въ комнату вошелъ Федоръ. Войдя, онъ уже теперь не косится, какъ прежде, по всѣмъ угламъ, ибо не нравится ему что-то вся эта чистота и порядокъ, ни съ того ни съ сего заведенный проходимицей какой-то, бродяжкой какой-то короткобочной... Лѣнливо прислонившись къ косяку двери и потянувъ нѣсколько разъ изъ своей цыгарки, сейчасъ же испортившей во всей комнатѣ воздухъ, онъ спросилъ:

— А что правда, Константинъ Дмитричъ, что царскіе совѣтчики... всѣ въ бѣлыхъ штанахъ ходятъ?—

— А что?—машинально переспросилъ Позоровъ, привыкшій уже къ такимъ вопросамъ.

— А вотъ повара братъ изъ Петербурга пріѣхалъ... говорить, видалъ, какъ изъ церкви выходили... такъ всѣ до одинаго, какъ есть, въ бѣлыхъ штанахъ... то генералы, такъ въ обнаковенныхъ, а то совѣтчики, говорить, такъ ужъ непременно въ бѣлыхъ.—

— Ну и что-же, если въ бѣлыхъ?—

Федоръ помолчалъ и вдругъ обидѣлся:

— Ну-къ что жъ? Я такъ только, изъ любопытства... а мнѣ то что жъ? по мнѣ хоть въ зеленыхъ ходи...—

Онъ опять помолчалъ, тяня изъ цыгарки.

— Что ты, Федоръ, печальный такой?..—

— Печальный?!—удивился было Федоръ, но тутъ же опустил голову и, покачивая ею, проговорилъ:

— И впрямь вы вѣрно сказали, Константинъ

Дмитричъ... очень я печальный... штой-то жить скучно...—

— Почему же, Федоръ, скучно?—

Федоръ глянулъ на Позорова лѣниво, устало, какъ бы не понимая его вопроса.

— Самоварчикъ что-ли подавать, восьмой часъ...— и повернулъ къ корридору. А выйдя, пробормоталъ;

— Сегодня къ концерту губернаторъ, сказываютъ, въ городъ приѣзжаетъ...—

Сначала Позоровъ было не обратилъ никакого вниманія на слово „концертъ“, но потомъ, когда это слово какъ бы само нѣсколько разъ повторилось въ его умѣ, онъ быстро обернулся къ тому мѣсту, гдѣ всегда лежала скрипка, увидалъ, что ея нѣтъ.. и поблѣднѣлъ.

— Концертъ!—прошепталъ онъ... и сразу понялъ все. Нѣсколько секундъ онъ такъ и просидѣлъ, вытянувшись въ креслѣ какъ солдатъ на смотру, поблѣднѣвшій, съ расширенными глазами. Потомъ губы его дрогнули, глаза сщурились, и онъ тихо разсмѣялся веселымъ, лукавымъ смѣхомъ...

— Такъ вотъ оно что!! Вечерній спектакль... думали, что я огорчусь, разстроюсь... а оказывается концертъ... и она участвуетъ!.. Женя моя... маленькая моя королевочка, неужели же ты еще не поняла, что я теперь совсѣмъ, совсѣмъ другой, что тогда... то былъ безразсудный эгоизмъ!..—и опять онъ тихо разсмѣялся...

— Э-э, нѣтъ!—онъ вдругъ оборвалъ смѣхъ и съ тѣмъ же лукавымъ лицомъ поднялся съ кресла.

— Вы мнѣ сюрпризецъ... и я вамъ тоже сюрпризецъ... великолѣпно!—

И, продолжая улыбаться, поспѣшно принялся переодѣваться, стараясь не производить шума, точно докторъ и Женя могли услышать его изъ городскаго сада.

Прежде всего вытащилъ онъ изъ подъ кровати свои старые стоптанные башмаки. Послѣ долгихъ

усилій ему удалось счистить съ нихъ куски засохшей земли и кое какъ почистить ваксой, причемъ оказалось, что въ подметкахъ имѣются... не то чтобы дыры, но такъ... весьма объемистыя и почтенныя скважины. Костюмъ тоже былъ совершенно смятый, порыжѣлый, съ отвисавшими колѣнками и локтями.

Онъ поморщился:

— Неприлично немного... концертъ... губернаторъ и все такое... Ну да ничего, одѣну чистый воротникъ, галстучекъ, возьму самое дешевенькое мѣсто...

Еще одѣвая воротничекъ, онъ замѣтилъ, что тотъ сталъ ему чрезвычайно широкъ, когда же, одѣвшись, заглянулъ въ зеркало, то съ трудомъ узналъ себя: лицо его было необыкновенно худо, прозрачно-бѣлое и съ широкими свѣтло-синими полосками подъ глазами. Но больше всего мѣняли его сильно выросшіе жиденькіе волосы въ усахъ и бородѣ...

Одѣвъ бѣлый лѣтній картузъ и еще разъ почи- стивъ себя со всѣхъ сторонъ щеткой, Позоровъ вы- нулъ изъ шкатулки, лежавшей въ комодѣ, два рубля и торопливо покинулъ комнату. Выйдя на улицу, онъ опять лукаво и радостно улыбнулся, поглядѣлъ на небо и жадно втянулъ въ себя начинавшій свѣжѣть, предвечерній воздухъ... Что-то сильно ударило его въ грудь, голова слабо закружилась, и на лбу выступилъ холодный потъ. Онъ пошатнулся...

— Ага!.. это ничего... рѣшительно ничего!—ска- залъ онъ, продолжая улыбаться и придерживая рукой заколотившееся сердце.

— Это у всѣхъ бываетъ... у всѣхъ безъ исключе- нія... даже у здоровыхъ, когда долго сидятъ въ ком- натѣ... Будемъ немного походить...

И онъ пошелъ сначала осторожно, слѣдя за собой и немного пошатываясь... а пройдя шаговъ сто, почув- ствовалъ себя совсѣмъ хорошо и шель, уже позабывъ про свою болѣзнь и все время улыбаясь своимъ мы- слямъ... На одномъ изъ домовъ ему бросилась въ глаза громадная, трехъ національныхъ цвѣтовъ, афиша:

Онъ смѣясь закивалъ головой, подошелъ и сталъ читать: въ афишѣ говорилось, что сегодня, такого-то числа, мѣстнымъ дамскимъ благотворительнымъ обществомъ, состоящимъ подъ предсѣдательствомъ графини такой-то, данъ будетъ концертъ въ пользу дѣтей убитыхъ на войнѣ офицеровъ; въ концертѣ, кромѣ такихъ то артистовъ, приметъ участіе тринадцатилѣтняя скрипачка Женя Позорова. Цѣны мѣстамъ повышенныя...

— Женя Позорова... Женя Позорова...—повторилъ онъ нѣсколько разъ и почувствовалъ гордость...— Милая Жерменочка—Женя Позорова!..—

Подойдя къ городскому саду, онъ увидѣлъ толпившуюся у входа публику, пристава въ орденахъ, околоточныхъ, городскихъ, которыхъ раньше въ такомъ обиліи не видалъ въ городѣ. Начало концерта было объявлено въ девять; оставалось еще около часа времени. Онъ вошелъ въ садъ и всталъ въ хвостъ передъ кассой. Очевидно, большинство билетовъ было заранее расписано, такъ какъ народа въ хвостѣ было немного.

Публика была „чистая“: мѣстные обывательницы въ шелковыхъ, цвѣтныхъ нижнихъ юбкахъ; обыватели въ сюртукахъ, бѣлыхъ пикейныхъ жилетахъ, и кое-кто даже въ лаковыхъ башмакахъ; гимназистки въ передникахъ, гимназисты въ широкихъ поясахъ и громадныхъ воротникахъ. Прямо передъ Позоровымъ стоялъ маленькій, толстый купчикъ съ окладистой бородкой, сіявшій своими лаковыми сапожками, новенькимъ гороховымъ пальто, новенькимъ синимъ картузомъ, красной выбритой шеей и лоснящимися волосами. Онъ не переставая заговаривалъ со всѣми высокимъ, крикливымъ теноркомъ, отпускалъ шутки и громко хохоталъ, закидывая голову.

Позоровъ глядѣлъ на его подвижную, юркую фигурку, слушалъ его безостановочно трещащій голосъ... и самъ удивлялся тому, что совсѣмъ не раздражается, а, наоборотъ, даже испытываетъ желаніе перекинуться шутками съ веселымъ купчикомъ...

А небо было синее, ласковое, и солнце, клонившееся къ закату, привѣтливо блестяло на пуговицахъ и козырькахъ околоточныхъ, тутъ же расхаживавшихъ...

Юркій купчикъ въ это время высказывалъ свое неудовольствіе по поводу того, что такъ долго не открываютъ кассы.

— Кассиръ небось заснулъ въ своей конурѣ...— звенѣлъ его голосъ.— Вѣрно возлюбленную вспомнилъ, а про исполненіе служебныхъ обязанностей позабылъ...—

Въ публикѣ послышался смѣхъ. Рыжій, потный околоточный съ мутными глазами, стоявшій около, бросилъ хмурый и строгій взглядъ на купчика.

Но тотъ, не смущаясь этимъ вниманіемъ, такъ же громко и весело продолжалъ:

— А то можетъ это и начальство внушаетъ, чтобы долго не открывалъ!..—

— Этакъ вовсе безъ билетовъ останешься...— заключилъ какой-то басъ изъ толпы.

— Очень просто, по ихнему явному факту...—откликнулся купчикъ.

— Ежели губернаторъ долго не ѣдетъ, такъ простой народъ хотя-бы пущай безъ ногъ оставаясь! Это для страху и почитанія... а тутъ можетъ быть дамы деликатныя дожидаются... Однако дѣла ужъ нынче не такъ обстоятъ, нынче этимъ дѣло не поправишь и никакого уваженія, окромя огорченія, не вобьешь... нынче всѣ равны, и купечество, равно какъ и дворянство, почитаемо... на купечествѣ только все и держится...—

Въ публикѣ опять послышался смѣхъ, но уже сдержаннѣе. Околоточный, все время хмурившій свои рыжія брови, при послѣднихъ словахъ купчика подошелъ къ нему и солидно и внушительно замѣтилъ:

— Прошу не философствовать... на почвѣ!—

На этотъ разъ Позоровъ не выдержалъ и первый громко засмѣялся; вслѣдъ за нимъ, точно деревенская

колотушка, закатился и купчикъ, а потомъ и вся публика сдавленно захихикала. Околоточный конфузливо покраснѣлъ и, злобно шепча что-то, отошелъ въ сторону, при этомъ его озлобленный взглядъ придиричиво скользнулъ по Позорову и на секунду остановился на его парѣ и башмакахъ. И съ этого самого момента, когда Позоровъ поймалъ на себѣ этотъ озлобленно-смущенный взглядъ околоточнаго, онъ сразу почувствовалъ, что съ нимъ должно произойти что-то неладное. А когда околоточный отошелъ къ воротамъ сада, и Позоровъ, обернувшись, замѣтилъ, что тотъ снова осматриваетъ его, ему стало не по себѣ, и сердце его испуганно дрогнуло. И, дѣйствительно, предчувствіе не обмануло его. Черезъ нѣсколько минутъ околоточный снова появился около воротъ вмѣстѣ съ приставомъ и что-то шепнулъ ему, указывая на Позорова. Приставъ, подобравъ плечи и вытянувъ голову, величественно приблизился.

— Вы что же? Начальствующее лицо замѣчаніе дѣлаетъ, а вы прямо ему въ лицо гогочете!—

И, не дождавшись отвѣта, сейчасъ же повернулъ назадъ. А еще черезъ минуту передъ Позоровымъ уже выросъ городской и проговорилъ, мотнувъ головой по направленію къ воротамъ:

— Пожалуйста... васъ спрашиваютъ.—

Позоровъ поблѣднѣлъ, прикусилъ губы и сначала не зналъ, что сказать.

— То есть какъ это спрашиваютъ? Кто спрашиваетъ?—проговорилъ онъ наконецъ, съ трудомъ дыша и еле сдерживая колотившееся сердце.

— Пожалуйста, пожалуйста... нельзя разговаривать... господинъ приставъ приказали...—

— То есть какъ! за что?!—крикнулъ онъ, сжимая кулаки, и оглянулся на публику.

Всѣ смущенно молчали, а юркій купчикъ отвернулся, дѣлая видъ, что даже не интересуется скандаломъ.

— Да вы не кричите, а ступайте, коли васъ зовутъ!—и городской взялъ его за руку.

— Руки прочь!—крикнулъ онъ задыхаясь и, оттолкнувъ городского, побѣжалъ къ воротамъ. Здѣсь, за воротами, на него сейчасъ же накинута приставъ:

— Ты кричать! бунтовать!! мерзавецъ... ты гдѣ, на цементномъ заводѣ служишь? Завтра же тебя Антонъ Ивановичъ въ шею выгонитъ... тебѣ, паршивцу, зачѣмъ концертъ понадобился?!—шипѣлъ онъ, весь побагровѣвъ и наступая на Позорова.

— Послушайте, вы не смѣете!—крикнулъ было Позоровъ, но два городскихъ оттащили его за руки въ сторону.

— Степановъ, конвоируй его!.. Ооменко!.. въ часть и обыскать!—крикнулъ вдогонку приставъ...

... — Нѣтъ... нѣтъ, этого не можетъ быть... я не услышу ея... Жермень!.. Нѣтъ, этого не можетъ быть... Боже мой, да какъ же это... почему вдругъ?—съ ужасомъ думалъ онъ, идя между городскими. Было мгновеніе, когда онъ даже подумалъ, что все это ему кажется... онъ боленъ, галлюцинируетъ... Онъ оглянулся на ведущихъ его городскихъ...

— Быть можетъ нужно встать передъ ними на колѣни, обнять ихъ сапоги и просить, чтобы они отпустили его послушать ее... Жермень, милую, любимую Женю... Я скажу имъ, что я ея братъ, что я люблю ее... это ихъ тронетъ, они пожалѣютъ меня...—

Въ лѣвомъ вискѣ протяжно заняла знакомая тупая боль.

— Нѣтъ, нѣтъ... этого не можетъ быть! Я услышу ее сегодня... Ни за что... этого не можетъ быть!.. Посмотримъ... посмотримъ, какъ это вы...—

И онъ почти бѣжалъ, заставляя бѣжать за собой и городскихъ. Въ участкѣ они сначала вошли въ темную, пустую комнату съ нѣсколькими скамейками по стѣнамъ. Здѣсь онъ съ минутъ десять дожидался съ однимъ изъ городскихъ, пока другой ходилъ докладывать.

— Посмотримъ... посмотримъ, какъ это вы...—въ десять минутъ, весь дрожа, шепталъ онъ.

Потомъ его ввели въ слѣдующую комнату. Здѣсь за письменнымъ столомъ сидѣлъ помощникъ пристава въ парадномъ мундирѣ и въ орденахъ.

— Паспортъ твой?!—обратился онъ къ Позорову.

Онъ отвѣтилъ тихо, совсѣмъ тихо:

— У меня паспорта нѣтъ съ собой... онъ дома...—

— А нѣтъ паспорта, такъ сиди здѣсь, пока мы узнаемъ, кто ты таковъ есть... Зовутъ тебя какъ?—

— Послушайте...—началь еще тише Позоровъ— вы не смѣете, потому что...—

Онъ хотѣлъ сказать еще что-то, но неожиданно для самого себя уже громко повторилъ:

— Не смѣете...—

И потомъ, самъ удивляясь, сталъ кричать эти два слова, подымая голосъ все выше и выше.

— Не смѣете! не смѣете!—

И въ ухахъ его рѣзкимъ, крикливымъ стономъ стоялъ этотъ безконечно тянувшійся звукъ „э-э-э“...

— Онъ и здѣсь буянить!—услыхалъ онъ гдѣ то вдали басъ помощника пристава.—На дворъ его, сукинова сына!—

Его потянули, толкая въ спину, а онъ все кричалъ: „не смѣете“... Шли по темному корридору, который показался ему безконечно длиннымъ, тяжело топтали и шаркали сапогами, и наконецъ сзади ихъ съ визгомъ хлопнула дверь... запахло сыростью... сараемъ...

— Поори-ка здѣсь!—опять услышалъ онъ другой уже голосъ, и сильный, тяжелый ударъ кулакомъ толкнулъ его въ спину.

Онъ пошатнулся, въ груди больно заныло, и съ крикомъ онъ обернулся...

— А-а... бить! Убійцы!!—

Но въ это время его вторично тяжело ударили въ лицо... жидкость, теплая и слизкая наполнила ему ротъ и потекла по губамъ и черезъ носъ. Онъ лишился чувствъ...

... Первое ощущеніе, которое онъ испыталъ очнувшись, была сильная ноющая боль въ груди—точно

ее стянули чѣмъ-то, и ломота въ лицѣ и головѣ. Лицо, пиджакъ и руки были испачканы кровью и землей; ротъ и пальцы онъ разнялъ лишь съ трудомъ: они слиплись. Онъ приподнялся и увидалъ, что сидитъ въ какомъ-то не то сараѣ, не то просто крытомъ дворикѣ. Въ сторонѣ сквозь полнѣйшій мракъ прорѣзывалась полоса луннаго свѣта, и сумрачно сѣрѣла стѣна съ темной поперечной тѣнью, заползавшей и къ нему въ сарай.

— Откуда я здѣсь? что со мной было?—подумалъ онъ и сразу вспомнилъ лишь одно:

— Она играла, а я не слыхалъ... да, и потомъ еще били, били до крови...—

Но это второе показалось ему менѣе ужаснымъ, чѣмъ первое.

— Теперь уже, навѣрное, все кончено... она имъ улыбается...—Онъ вытянулъ голову и сталъ прислушиваться: гдѣ то совсѣмъ далеко нѣсколько разъ протяжно прогудѣлъ свистокъ поѣзда... гдѣ-то жалобно выла собака... и еще вдругъ шумѣли необъяснимые таинственные звуки, напоминающіе тотъ шумъ, который рождаетъ тишина.

— Ночные звуки для всѣхъ одинокихъ и обездоленныхъ, для всѣхъ сидящихъ по тюрьмамъ и острогамъ...—подумалъ Позоровъ...

— И для всѣхъ загнанныхъ на каторгу—вслухъ добавилъ онъ, вспомнивъ какъ его ударили по лицу, и слезкая теплая кровь наполнила ротъ и потекла черезъ носъ.

Онъ съ минуту сидѣлъ не шевелясь, съ опущенной головой... потомъ покачалъ ею, какъ бы желая грустно сказать:—да... это такъ...—и тяжело и шумно вздохнулъ. Вздохъ его громко и хрипло раздался въ тишинѣ, и онъ сказалъ:

— Всѣ страдаютъ такъ-то и такъ-то, а я страдаю вообще.

— И послѣ этого на него напала тупая, неопредѣленная задумчивость, совершенно безразличное отно-

шеніе и къ своему положенію, и къ тому, что его ожидало въ будущемъ. Казалось, если о немъ позабудутъ, и никто уже не придетъ за нимъ въ этотъ темный сарай,—онъ такъ и будетъ сидѣть все время на сыромъ полу, обнявъ руками колѣна и съ выраженіемъ холоднаго безучастія на плотно сжатыхъ губахъ.

А когда за нимъ пришли—пришелъ гордовой, быть можетъ тотъ самый, что билъ его—это равнодушіе не смѣнилось ни возмущеніемъ, ни какимъ бы то ни было другимъ чувствомъ. Спокойно и ни о чемъ не думая пошелъ онъ вслѣдъ за гордовымъ, такъ же спокойно выслушалъ новую ругань и крики помощника пристава, далъ свое имя и адресъ... и хотѣлъ выйти изъ участка. Но помощникъ пристава велѣлъ ему вымыть морду, и онъ опять безучастно пошелъ за гордовымъ и сталъ мыться у указаннаго крана... и съ наслажденіемъ и долго освѣжалъ разгоряченное лицо и голову холодной водой, пока гордовой не окликнулъ его:

— Ну, чего зря плескаться... ты! умылъ харю... и ступай съ Богомъ!—Онъ вытеръ лицо грязной тряпкой и вышелъ изъ участка.

Было около часа ночи. Луны не было—она спряталась гдѣ-то тамъ, за дымчатыми облаками; зато звѣзды загадочно—широкой сѣтью покрыли все небо сплошь, а само небо было темно-синее, глубокое. Въ городкѣ было тихо: все спало, и въ этомъ сонномъ спокойствіи Позорову чудился отдыхъ послѣ тяжелой и всѣмъ одинаково надоѣвшей жизни. И только нѣжный свѣтъ ночи и безмолвныя печальныя тѣни, тянувшіяся отъ колоколенки церкви и отъ низенькихъ провинціальныхъ домовъ, успокаивали и говорили о родной, грустной русской жизни...

Онъ остановился, поднялъ глаза къ звѣздамъ, медленно вытянулъ руки туда, высоко къ небу... и полугромко сказалъ:

— Милыя звѣздочки... милыя.. славныя...—

И опустивъ голову, не торопясь побрелъ къ дому.

Въ комнатѣ его, когда онъ подошелъ къ ней, было

темно, но онъ сразу замѣтилъ небольшую женскую фигурку въ бѣломъ, сидящую на кровати.

— Костя, милый, вы?! Костя!—услыхалъ онъ при входѣ крикъ, и дѣтскія горячія руки, обнаженные по локать, обняли его шею, и слабое дѣтское тѣло съ сильно бьющимся сердцемъ прижалось къ нему.

Онъ молчалъ...

— Костя, родной, какъ вы смѣли выйти?... Костя, а я играла... одна дама сидѣла на эстрадѣ и плакала, я сама видѣла... Костя, губернаторъ мнѣ представился... и поцѣловалъ меня... Костя, я такъ счастлива, мнѣ такъ хорошо! Ахъ... всѣ молчали и слушали, а я играла... играла... всѣ кричали... „бисъ“... ахъ... всѣ молчать, а я одна—одинешенька стою на эстрадѣ и играю... А смотрите, Костя!..—

Она внезапно бросилась къ столу и поспѣшно зажгла свѣчку...

— Смотрите, Костя, въ какомъ я платьѣ... я потому все объясню... Неправда-ли, Костя, я сегодня хорошенькая?..

Она была въ дорогомъ бѣломъ платьѣ, въ бѣлыхъ ажурныхъ чулкахъ и въ бѣлыхъ туфелькахъ. Большіе, теперь возбужденно блестящіе глаза и строгая головка съ темными волосами, спадавшими на одну сторону лба, дышали нѣжнымъ вдохновеніемъ и еще чѣмъ-то сказочнымъ какъ грезы, которымъ никогда не сбыться.

— Вотъ видите, Костя, какая я!—повторила она, повернувшись передъ нимъ.—Но устала я...—Костя, родной... какъ я устала!..—Она усѣлась на кровать и всплеснула руками.

— Я теперь не знаю, кто я, что я!.. Я не на землѣ, я гдѣ-то высоко, высоко... на небесахъ... я стою на облакѣ... ангелочки поютъ...

— Она поблѣднѣла, сильно вздрогнула всѣмъ тѣломъ и замолчала, закрывъ глаза, продолжая улыбаться и поднимая лицо къ потолку.

Онъ медленно подошелъ къ ней, опустился на колѣни и, положивъ голову на ея колѣни, тихо сказалъ;

— Моя маленькая королевушка!..—

— Она громко и нервно разсмѣялась.

— Костя, какъ это вы хорошо сказали... Да, давайте такъ... Я королева, а вы мой рыцарь... да?.. рыцарь таинственный и прекрасный... въ черныхъ латахъ... Я повелѣваю, а вы слушаетесь!..—

Онъ вспомнилъ, какъ его ударили въ спину, какъ онъ съ крикомъ обернулся, и какъ его снова ударили по лицу... ему стало необыкновенно, до боли жалко самого себя. Тяжелый, неповоротливый комъ горечи всталъ у него въ горлѣ... что то такое, что мѣшало думать, сдавило его голову, и на минуту онъ какъ бы забылся.

— Королева!—сказалъ онъ тихо и раздѣльно, и самъ съ ужасомъ прислушиваясь къ своему глухому голосу—ко-ро-ле-ва... повели казнить всѣхъ сильныхъ и злыхъ міра сего... Ко-ро-ле-ва!—Она тихо смѣялась.

— Боже мой, что говорю?! подумалъ онъ и хотѣлъ скорѣе подняться.

Но тяжелый комъ, стоявшій въ горлѣ, всколыхнулся, медленно поднялся выше... и вдругъ онъ услышалъ всхлипываніе и плачь.

— Костя, что вы?.. Костя, Господи... что вы плачете? что съ вами?..—

— О, королева... королева... повели!..—

— Костя, я боюсь... не надо... что съ вами... встаньте сейчасъ же!—

Продолжая плакать, онъ сдѣлалъ надъ собой усиліе.

— Женя, милая, уѣдемъ... скорѣе уѣдемъ... въ Харьковъ...—

— Костя... да... конечно... милый, родной... конечно... уѣдемъ... Но почему вы плачете?.. почему. Костя?!—

— О, Женя... Женя... уѣдемъ... скорѣе уѣдемъ!..—

IX.

Соломинка утопающего.

Какъ правъ былъ докторъ, говоря, что слѣдовало бы обождать съ отъѣздомъ еще денька три, четыре...

Въ тотъ злополучный день, возвращаясь съ своего перваго концерта, Жерменъ простудилась, попавъ ногами въ тонкихъ туфляхъ въ лужу около колодца. На утро она встала съ кашлемъ. Кошляла она громко, сухо, надрываясь всей маленькой грудью, и Позорову при каждомъ ея покашливаніи казалось, что его больно бьютъ тупыми, твердыми палками по головѣ. Иногда онъ не въ силахъ былъ выдержать, хватался за голову и выбѣгалъ изъ комнаты въ корридоръ. А Жерменъ кашляла... и лицо ея, еще вчера такое радостное, возбужденное, теперь осунулось, поблѣднѣло, и, кончая кашлять, она каждый разъ смотрѣла на Позорова стекляннымъ сузившимся взглядомъ—она вспоминала. И одинъ разъ, кончивъ кашлять, сказала упавшимъ голосомъ:

— Мама тоже кашляла...—

Позоровъ, скрипнувъ зубами, со стономъ бросился къ ней, схватилъ ея руки, хотѣлъ что-то сказать, но снова забѣгалъ по комнатѣ, думая:

— Надо выгнать изъ нея эти мысли, надо разве-селить ее!..—

— Женя... хы!.. хы!..—началъ онъ, смѣясь—...мы поѣдемъ въ Харьковъ!—

— Да, Костя... поѣдемъ.—

— Женя, какъ хорошо вѣѣзжать въ новый, незнакомый тебѣ, городъ! Выходишь изъ вокзала; шумъ, стукъ, носильщики кричатъ... садишься на извозчика—колеса грохочутъ, трещатъ, а солнышко такъ прямо и жарить тебѣ въ лицо—цапъ, цапъ!.. Женя, вѣдь славно все это, а?.. хы!.. хы!..—

— Да, Костя... славно.—

Но лицо ея оставалось грустнымъ, задумчивымъ.

— Женья!—вскрикнулъ онъ, точно вспомнилъ радостное—... скоро придетъ докторъ... Смотри, сорокъ градусовъ жары, а онъ будетъ себѣ плыть на солнышкѣ, разрѣзая животомъ духоту: пуфъ! пуфъ!—

И онъ помахалъ руками, изобразилъ, какъ ходитъ докторъ, и поспѣшно засмѣялся:—Хы!.. Хы!..—

Жермень тоже закатилась громкимъ, рѣзкимъ смѣхомъ, но смѣхъ ея перешелъ въ кашель: судорожно схватившись за грудь, она закашлялась... кашляла долго и глухо, съ прерывавшимся подчасъ голосомъ... и вдругъ перестала, выплюнувъ темный сгустокъ крови.

— Вотъ!—сказала она, глядя на кровь горящими глазами, и лицо ея покрылось бѣлыми, какъ мѣлъ, пятнами.

Онъ остановился, какъ вкопанный, согнулъ голову, какъ подъ ударомъ, и закрылъ глаза: прямо на него надвигалась пропасть... ужасная, темная, безпроглядная...

Но пришелъ докторъ, прописалъ что-то, и черезъ два дня Жермень стало лучше; а на третій день она уже и повеселѣла, и порозовѣла...

За участіе въ концертѣ ей дали двадцать рублей, а какой-то мѣстный богачъ подарилъ еще семьдесятъ пять на образованіе. И вотъ теперь ужъ она сама отправилась съ Позоровымъ въ магазины, выбрала ему новый костюмъ, башмаки, заставила побриться, одѣть все новое, и сама повязала ему изящнымъ бантомъ новый черный галстухъ.

— Костя... милый... какой вы красивый!—говорила она, прыгая вокругъ него и хлопая въ ладоши...— Знаете, на кого вы похожи? на Шопэна... только лицо у васъ печальнѣе и худѣе...—

Онъ понемногу успокаивался, но ему уже не ждалось... его неудержимо потянуло скорѣй вонъ изъ этой ямы, скорѣе въ Харьковъ.

— Все новое: городъ, обстановка, люди... и жизнь должна будетъ начаться тоже новая... да, должна!..—

И онъ бѣгалъ по комнатѣ, сдавливалъ себѣ руками виски, стараясь опять испытать эту трепетную увѣренность въ будущемъ счастьѣ, это ощущение необыкновенной легкости и бодрости на сердцѣ, которое онъ еще такъ недавно переживалъ... но вмѣсто этого, онъ вспоминалъ... кровь... свою кровь, теплую и склизкую во рту, и кровь ея, его Жени, вдругъ выплунутую темнымъ сгусткомъ на полъ.

— Однако это ничего! Это просто тяжелыя воспоминанія... а счастье впереди, непремѣнно впереди. Все будетъ такъ, какъ онъ думалъ тогда, въ тотъ вечеръ, когда въ комнатѣ было чисто прибрано, уютно и прохладно, на улицѣ и въ корридорѣ тихо, а у него на душѣ хорошо и радостно. Все будетъ... все должно быть такъ... Только надо скорѣе уѣхать...—

— Повремените еще денька три, четыре,—говорилъ докторъ—дайте кузиночкѣ нашей совсѣмъ оправиться.—

— Нѣтъ, нѣтъ, докторъ! Тамъ въ Харьковѣ она скорѣе поправится...—

Денегъ было у нихъ въ общей сложности около ста рублей... и они уѣхали въ Харьковъ.

Но въ дорогѣ Жерменъ опять стало плохо; ее продуло, и она опять стала кашлять. И когда они пріѣхали и остано­вились въ перво­попавшейся гостиницѣ, она, не раздѣваясь, упала на постель, съ холодными пальцами и пылающей головой. А онъ... первое, что онъ сдѣлалъ въ этомъ новомъ городѣ, это—побѣждалъ, не передохнувъ, за докторомъ. . .

Все это вспомнилъ онъ теперь, на четвертый день послѣ пріѣзда въ Харьковъ, сидя у ея постели.

Тяжело и неровно дыша, она спала, покрытая до головы одѣяломъ. Лобъ и подбородокъ ея были блѣдны, но щеки горѣли и были красныя. Иногда она начинала ворсчатся и шептать что-то засохшими губами...

или вдругъ быстро и громко проговаривала длинную, но бессмысленную фразу. Тогда онъ вздрагивалъ и наклонялся къ ней, прислушиваясь къ бреду.

Гостинный номеръ былъ довольно большой, свѣтлый, съ крашенымъ неровнымъ поломъ и въ два окна. Кромѣ красной аляповатой мебели, въ немъ стояли еще двѣ совершенно одинаковыя старинныя этажерки, вырѣзныя и чернаго... если не дерева, то цвѣта—такія, словомъ, какія можно было встрѣтить въ двѣнадцатомъ году у старухи-помѣщицы, доживающей свой вѣкъ въ молитвахъ и поркъ безнравственныхъ дворовыхъ дѣвокъ. На одной изъ стѣн висѣли портреты царя и царицы, а на другой—Ломоносовъ, кажется, показывалъ Екатеринѣ Второй электрическую машину: Екатерина весело смотрѣла на забавную штучку и, снисходительная къ шалостямъ ученыхъ, добродушно и покровительственно улыбалась. И прическа у государыни, была тоже очень хороша...

Тихо было въ комнатѣ. Лишь большая зеленоватая муха ожесточенно жужжала и билась о стекло. Позоровъ безшумно вынулъ изъ чемодана бумагу, придвинулъ къ кровати ломберный столъ и сталъ писать:

— Была лишь одна необыкновенно маленькая минута счастья и вѣры въ новую жизнь, а теперь... началась эта новая жизнь, тяжелая и ужасная какъ... жизнь... старая, всегдашняя жизнь. У Жени воспаленіе легкихъ. „Не особенно сильное“, сказалъ докторъ, и невинно и кстати добавилъ: „но у дѣвочки наследственный туберкулезъ, а это грозитъ серьезнымъ осложненіемъ... во всякомъ случаѣ, посмотримъ, что будетъ денька черезъ два, три“... Да, многоуважаемый господинъ докторъ, вы посмотрите... а мнѣ смотрѣть уже не приходится, я заранѣе знаю все, что будетъ... и не денька черезъ два, три только, а всю жизнь. Господинъ ученый! начинается моя новая жизнь, жизнь, при которой каждый день приноситъ съ собой новое горе, и каждое горе кажется сегодня

самымъ ужаснымъ и безвыходнымъ, но на завтра настанетъ другое горе, еще ужаснѣй и еще безвыходнѣе. Сегодня меня избили въ кровь и лишили счастливаго и радостнаго вечера, котораго раньше у меня въ жизни не было и, быть можетъ, уже не будетъ... и это было ужасно, и я думалъ, что не перенесу этого... а на завтра я позабылъ объ этомъ, и вотъ заболѣла она, моя дѣвочка, мой свѣтъ, мой воздухъ... Господинъ образованный человѣкъ! вы ее вылѣчите, она выздоровѣетъ, я успокоюсь и... черезъ два дня настанетъ время для новыхъ страданій...—

— А что!?.—молніей промелькнулъ вдругъ обрывокъ мысли... Онъ поблѣднѣлъ, съ перекосившимся лицомъ отбросилъ перо на полъ и вцѣпился руками въ волосы.

— А что... если Женя не выздоровѣетъ!? докончилъ онъ свою мысль. И почему эта мысль раньше не приходила ему въ голову?.. Впрочемъ, онъ вчера и третьяго дня нѣсколько разъ мелькомъ подумалъ о томъ, что вообще всякая болѣзнь можетъ кончиться смертью. Теперь же онъ не подумалъ, а ярко представилъ себѣ, что именно она, Женя, эта самая Женя, что лежитъ здѣсь... можетъ не выздоровѣть... а умереть...

Вѣдь воспаленіе легкихъ и наслѣдственный туберкулезъ!—вдумался онъ теперь только въ страшный смыслъ этихъ названій.

— Нѣтъ!—проскрежеталъ онъ, сжимая кулаки и дѣлая надъ собой невѣроятныя усилія, чтобы не крикнуть.—...Нѣтъ, это... не смѣетъ быть!..—

Онъ всталъ, машинально, какъ лунатикъ, прошелся по комнатѣ и вдругъ остановился, затопалъ ногами и, грозя кому то кулаками, злобно прошепталъ:

— Это не смѣетъ быть, слышите?!—

Потомъ поднялъ голову къ потолку и, грозя кулаками вверхъ, повторилъ:

Слышишь, ты?! это не смѣетъ быть! слышишь не смѣетъ!!.

— И опять вспомнилъ, какъ въ участкѣ кри-

чалъ: „не смѣте“, и какъ его избили. Онъ опустился на стулъ и сталъ опять думать.

— Нѣтъ, нѣтъ... теперь это самое ужасное, самое безвыходное и главное... именно теперь... Лишь бы она только выздоровѣла, лишь бы только это, а потомъ все будетъ хорошо... всякое горе будетъ казаться ничтожнымъ. Только чтобы выздоровѣла, только бы это...—

Онъ опять метался по комнатѣ, хватаясь за голову, и ежеминутно прислушивался къ дыханію больной... Неожиданно лицо его расплылось въ недоумѣвающую, насмѣшливо-презрительную улыбку, и, пожавъ плечами, онъ прошепталъ самому себѣ, дрожа отъ злости всѣмъ тѣломъ:

— Вѣдь это невозможно, ты! Вѣдь это твоя жизнь... Оселъ! идиотъ! что-же ты думаешь о собственной смерти? Гадина!.. Вѣдь это вообще возможно, а такъ это невозможно?—задыхаясь, закончилъ онъ и остался очень доволенъ этимъ доводомъ.

Еще разъ пожавъ плечами, онъ небрежно и даже улыбаясь поднялъ съ пола перо, сѣлъ къ столу и сталъ писать дальше, стараясь думать лишь о томъ, о чемъ писалъ раньше.

— Господинъ ученый! вы прочли сотни и тысячи толстыхъ томовъ, вычитали-ли вы въ нихъ одну истину—истину, которая для меня и стара, и шаблонна. Вычитали-ли вы именно, что есть люди съ дѣтства... нѣтъ, съ рожденія, въ утробѣ матери еще лишенные солнца и благословленные холодной луной съ душой мертвеца? Благословленіе это—призывъ въ вѣчный храмъ всѣхъ демоновъ скорби и ужаса, призывъ этотъ—печать безразсуднаго страха на всю жизнь, печать эта—проказа: жизнь не хочетъ этихъ людей въ себѣ, съ гнѣвомъ и брезгливо вонъ ихъ выбрасываетъ... И вотъ я теперь уже навѣрное знаю, что эта роковая язва, ненасытно пожирающая все, что въ мысляхъ иль чувствахъ пытается робко обрadowаться жизни, эта худшая проказа изъ проказъ—

живетъ и во мнѣ. Но поймете ли вы, прочитавшіе тысячи ученыхъ томовъ, что такое сказать самому себѣ: и я—прокаженный... и я принадлежу къ этимъ злосчастнымъ избранникамъ неизвѣстнаго бога безцѣльныхъ страданій?..

Ибо людямъ этимъ счастья нѣтъ, и счастье для нихъ невозможно. Слезы ихъ—не утѣшаютъ, но жгутъ безысходностью, смѣхъ ихъ—не шутитъ, не смѣется, но горечью отравляетъ... жизнь ихъ—часы несчастья и лишь изрѣдка минуты, когда несчастья нѣтъ. И вотъ эти-то минуты отсутствія несчастья—могу-ли... долженъ-ли я принять ихъ за счастье? Господинъ ученый! представьте себѣ столбъ, у столба стоитъ человѣкъ, налѣво отъ столба—несчастье, направо—счастье. Съ самаго рожденія человѣкъ этотъ неустанно идетъ влѣво, идетъ почти безостановочно... но иногда ему удается остановиться, и тогда онъ говоритъ другимъ, а иногда и себѣ: я переживаю счастье! Но на самомъ дѣлѣ, господинъ докторъ медицины, счастье направо отъ столба, и туда человѣку этому никогда не попасть: передохнувъ, онъ зашагаетъ дальше влѣво. Понимаете ли вы теперь, что несчастье есть самый положительный и дѣйствительный... и единственный элементъ моей жизни—другого элемента не существуетъ. И... ахъ, докторъ, ахъ, милый человѣкъ! какъ бы хотѣлъ я узнать, каково оно на вкусъ, это самое счастье! И вотъ, когда Женя выздоровѣетъ, появится новое горе... я пойду влѣво... и...—

Онъ замялся и странно, еле дописавъ, закончилъ:

— И это будетъ очень нехорошо...—

Въ умѣ его опять пронеслось: наслѣдственный туберкулезъ и воспаленіе легкихъ...

— А—ахъ!—громко простоналъ онъ и снова отбросилъ отъ себя перо.

Жермень, разбуженная его стономъ, зашевелилась. Испуганно притаивъ дыханіе, онъ сталъ смотрѣть на нее. Она долго ворочалась, двигала съ неяснымъ

шепотомъ губами и, внезапно приподнявшись, сѣла въ кровати и долго, молчаливо глядѣла на него оставившимся воспаленнымъ взглядомъ...

— Костя!—позвала она наконецъ.

Онъ рванулся со стула, дрожа сѣлъ возлѣ нея, на кровати, и взялъ обѣ ея руки въ свои.

— Женя... я здѣсь, съ вами... я васъ слушаю... Женя, скажите... вамъ лучше?—

— Костя, мнѣ плохо... мнѣ снилось...—она показала головой и закрыла глаза.

А открывъ ихъ снова, тихо, но воодушевленно сказала:

— Костя, когда я умру, вы мнѣ купите много, много цвѣтовъ... для могилки. И только самыхъ дорогихъ и роскошныхъ!..—

— Жерменъ!—простоналъ онъ и до крови закусилъ губу, боясь крикнуть ей, чтобы она замолчала.

Она опустила на подушки и, какъ бы сказавъ самое важное, продолжала уже безъ воодушевленія:

— А помните, Костя, какъ мы познакомились? Вы стояли у окна, а я на дворѣ пѣла:

Клялся любить на вѣки,
А бросилъ въ тотъ же день!—

Она пропѣла эти слова тоненькимъ, хриплымъ и еле слышнымъ голосомъ... и громко закашлялась.

Это къ мамѣ приходилъ одинъ офицеръ и перевелъ французскую пѣсенку—хмуро сказала она, кончивъ кашлять.

— А потомъ, помните?—она слабо запѣла мотивъ Лунной сонаты, и голосъ ея, больной и дрожавшій, напомнилъ далекую, еле слышную деревенскую свирѣль.

— Знаете, Костя, что я представляю себѣ въ Лунной сонатѣ?—вдругъ быстро спросила она, и глаза ея напряженно сщурились.

— Вотъ теплая, свѣтлая ночь!.. Луна, такая красивая, свѣтитъ съ неба... а на яркомъ зеленомъ

лугу танцуетъ дѣвушка. Ей такъ весело, и она такъ радостно машетъ лунѣ руками!..

Это, Костя,—первая часть. И вотъ луна спряталась, и дѣвушка такъ удивилась... и ей очень захотѣлось плакать... Это, Костя,—вторая часть. Но вдругъ грянулъ громъ, облака завертѣлись, стало темно, и дѣвушка упала на землю и отъ страха умерла... Это, Костя,—конецъ...—

Она кончила рассказывать и долго молчала. Глаза ея мало-по-малу закрывались въ то время, какъ губы еще шептали что-то безсвязное. А онъ, согнувшись, сидѣлъ на кровати и съ ужасомъ прислушивался къ ея взволнованному, неестественному голосу. Вдругъ она, опять порывисто поднявшись, сѣла и, какъ прежде, уставилась въ него глазами.

— Костя, а почему дѣвушка умерла?... ей было весело... луна на нее упала... Костя... и я не хочу умирать... губернаторъ и дамы плакали, я сама видѣла... А почему не пустили нищихъ. Костя!—рѣзко вскрикнула она и схватила его за плечи.—Костя, у меня все горитъ въ груди, это залъ горитъ. Смотри, Костя! эти нищіе, воры и разбойники... они прямо сюда, на эту эстраду бѣгутъ... они убьютъ меня!.. Костя!!..—Она поднялась на колѣни и обхватила руками его шею.

— Доктора, сію-же минуту доктора, ты слышишь!—шепотомъ строго приказалъ онъ, какъ будто не самому себѣ, а кому-то другому.

Онъ осторожно уложилъ ее, прикрылъ одѣяломъ, и, подбѣжавъ къ двери, началъ звонить. На звонокъ прибѣжалъ коридорный.

— Бѣгите скорѣе за докторомъ! скажите: плохо... очень плохо...—И, сѣвъ на кровать, онъ снова взялъ ея руки и съ выраженіемъ всего того-же сосредоточеннаго ужаса на лицѣ сталъ слушать ея бредъ...

Молодой докторъ прибѣжалъ минутъ черезъ двадцать. Онъ долго выстукивалъ, выслушивалъ больную, измѣрялъ нѣсколько разъ температуру и,

окончивъ всю эту процедуру, казался очень смущеннымъ.

— Видите-ли... обратился онъ послѣ молчанія къ Позорову, который все время стоялъ около кровати, медленно переводя взглядъ съ доктора на Женю и снова на доктора.—...видите-ли, неожиданныя осложненія... Впрочемъ я не ручаюсь, я одинъ не могу... если позволите, я коллегу тутъ одного приглашу... Вообще, если у васъ есть, простите, средства, то вѣрнѣе бы профессора...—

Да, средства... — машинально отозвался Позоровъ...—... вотъ, докторъ...—онъ поспѣшно порылся въ карманахъ и, вынувъ всѣ свои деньги, семьдесятъ пять рублей, сунулъ ихъ въ руку доктора.

— Вотъ вы расплатитесь съ... коллегой и профессоромъ, а потомъ я еще, если понадобится...—и хвативъ шапку, хотѣлъ было бѣжать.

— Да погодите, куда же вы... а адреса?—

Докторъ написалъ на бумажкѣ два адреса, и Позоровъ, взявъ ее, выбѣжалъ изъ номера...

Онъ, не переводя дыханія, забѣжалъ по тому и другому адресу и въ обоихъ мѣстахъ дрожащимъ голосомъ кричалъ отворявшимъ дверь:

— Чтобы сію-же минуту... сію же секунду докторъ пріѣхалъ вотъ по этому адресу!...—

И, съ трудомъ справляясь съ рукой, писалъ на поданномъ блокнотѣ свой адресъ.

А выйдя отъ профессора, онъ остановился посреди троттуара и улыбнулся, держась рукой за рвавшееся въ груди сердце: ему показалось, что онъ сдѣлалъ самое главное, и что теперь уже нечего бояться. Онъ подумалъ:

— А я самъ туда не пойду... пока все не будетъ кончено, часа черезъ два три... Если предположить, что коллега сейчасъ пойдетъ, а профессоръ черезъ часъ, то черезъ два все будетъ кончено... и я приду, и докторъ меня встрѣтитъ и скажетъ: „ну, ваше счастье! сестричка ваша черезъ нѣсколько дней со-

вершенно и безъ всякаго сомнѣнія выздоровѣтъ“— Слова „совершенно“ и „безъ всякаго сомнѣнія“ онъ, самъ не замѣчая, произнесъ громко и сжалъ при этомъ кулаки.

Потомъ онъ посмотрѣлъ на часы—было три часа пополудни.

— Очень хорошо, я не пойду домой до пяти часовъ... какъ разъ. —

Онъ пошелъ по троттуару, въ противоположную отъ дома сторону.

Пройдя однако всего нѣсколько шаговъ, опять торопливо посмотрѣлъ на часы: стрѣлки еле передвигались съ трехъ.

— Нѣтъ, такъ не годится, я буду считать шаги. Предположимъ, я дѣлаю шагъ въ секунду... въ часу три тысячи шесть сотъ секундъ, слѣдовательно—мнѣ нужно сдѣлать семь тысячъ двѣсти шаговъ. Это вовсе не много. Напримѣръ, вотъ: разъ, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... уже десять шаговъ. Вотъ такъ, всего семьсотъ двадцать разъ... Это совсѣмъ мало. А въ часы смотрѣть ни за что не буду...

Онъ засунулъ руку въ карманъ жилетки, сжалъ тамъ часы и сталъ считать свои шаги. Но, насчитавъ около пятисотъ, снова машинально вытащилъ часы: стрѣлки показывали десять минутъ четвертаго.

— Всего четырнадцать разъ такъ. — подумалъ онъ, кладя обратно часы—...но я лучше буду считать фонари—тутъ же рѣшилъ онъ

— Если отъ фонаря до фонаря я прохожу въ десять секундъ, то въ минуту я прохожу шесть фонарей, то есть—мнѣ нужно пройти всего на всего семьсотъ двадцать фонарей... Это скорѣе, чѣмъ шаги, я пойду...—

Онъ пошелъ и сталъ считать фонари...

Было жарко, раскаленный городской воздухъ душилъ его, и онъ нѣсколько разъ останавливался, хватаясь рукой за сердце; а въ головѣ, точно тысячи маленькихъ, необыкновенно тяжелыхъ молоточ-

ковъ... били, били безъ конца во всѣ стороны, и отъ этого въ ушахъ звенѣло, а въ глазахъ вдругъ начинали ходить синіе круги... На сорокъ восьмомъ фонарѣ, переходя улицу, онъ обратилъ вниманіе на толстаго рыжаго господина, ѣхавшаго съ чемоданомъ на извозчикѣ и обмахивавшаго снятой соломенной шляпой потное лицо.

— Кто это?—подумалъ онъ, стараясь припомнить, гдѣ онъ видалъ это лицо... а лицо было необыкновенно знакомо.

— Кто это?—повторилъ онъ—... Ахъ, да это дядя Егоръ! какъ же это я не узналъ?!

Онъ бросился догонять извозчика, онъ бѣжалъ, стараясь не отставать. Извозчикъ покрутилъ по улицамъ и остановился у одной изъ лучшихъ гостиницъ города. Выбѣжалъ молодецъ въ бархатныхъ штанахъ и сапогахъ гармошкой и взялъ дядинъ чемоданъ. Дядя съ трудомъ вылѣзъ изъ извозчика и пошелъ за молодымъ. Позоровъ постоялъ нѣсколько минутъ, глядя вслѣдъ дядѣ, потомъ круто повернулся и поспѣшно побѣжалъ назадъ... Добѣжавъ до своей гостиницы, онъ осторожно поднялся по лѣсницѣ наверхъ, тихо, на ципочкахъ, подошелъ къ дверямъ своей комнаты и прислушался. За дверью онъ услышалъ шумъ мужскихъ голосовъ и чрезвычайно громкій и частый, какъ ему показалось, топотъ ногъ. У него немного закружилась голова. Онъ закрылъ глаза, и шумъ за дверью напомнилъ ему топотъ лошадей въ конюшнѣ и негромкіе окрики кучера.

— Что они тамъ дѣлаютъ?—

Онъ нагнулся къ замочной скважинѣ и заглянулъ въ комнату. Около самой двери сидѣлъ высокій, худой господинъ, съ длинными сѣдыми волосами, въ золотыхъ *pince-nez*. У Жениной же постели дѣлали что-то еще двое; но ему были видны только четыре ноги. Лицо же у высокаго и худого было землистаго цвѣта, съ длиннымъ тонкимъ носомъ и холоднымъ, презрительнымъ выраженіемъ

— Нѣтъ, лишь бы не этотъ сообщилъ мнѣ...—подумалъ Позоровъ, испытывая необъяснимый страхъ. Ему показалось, что высокій, какъ только увидить его, сейчасъ-же схватить за шиворотъ и крикнетъ: она умретъ! слышишь ты, она умретъ! И когда онъ увидалъ, что высокій встаетъ, то торопливо, опять на ципочкахъ, отбѣжалъ въ противоположный отъ выхода конецъ коридора... и сталъ оттуда слѣдить. Скоро изъ комнаты, заложивъ руки за фалды сюртука, вышелъ этотъ самый высокій и худой, вслѣдъ за нимъ вышелъ другой, низенькій и лысый, постукивавшій высокими каблучками.

Тогда Позоровъ подкрался къ двери и вошелъ въ комнату. Докторъ встрѣтилъ его хмурый, смущенный. избѣгая смотрѣть ему прямо въ глаза...

— Ну что жъ... плохо...—сказалъ онъ послѣ нѣ котораго молчанія, и такимъ тономъ, будто винилъ его, Позорова.

Но, взглянувъ на его совершенно поблѣвшее лицо, онъ испуганно отвелъ глаза и добавилъ;

— Если есть у васъ средства—попытайтесь... возьмите отдѣльное купѣ и везите сейчасъ же больную въ Крымъ. —

— Въ Крымъ...—машинально откликнулся онъ, глядя на доктора и не видя его.

Послѣ этого докторъ, смущенно добавивъ еще что то, чего не слыхалъ Позоровъ, ушелъ.

Только послѣ ухода доктора онъ замѣтилъ, что въ комнатѣ стоитъ еще какая то дама, сильно накрашенная, съ массой колецъ на пальцахъ и съ необыкновенно громадными золотыми серьгами въ ушахъ.

— Не удивляйтесь, пожалуйста...—быстро начала она, замѣтивъ, что Позоровъ бросилъ на нее взглядъ—... я ваша сосѣдка по номеру, и, еще когда вы пріѣхали, видѣла васъ... и обратила свое вниманіе... Позвольте завести знакомство, очень желательно... фамилія моя Смяткина, а зовутъ Татьяной Ивановной... очень желательно...—

И дама протянула ему руку въ кольцахъ. Онъ ничего не отвѣтилъ ей и, не подавая руки, постоялъ еще нѣсколько секундъ не шевелясь... потомъ обернулся, молча повалился на колѣни передъ кроватью Жерменъ и положилъ голову около ея ногъ.

— Въ Крымъ... въ Крымъ...—протяжнымъ шепотомъ повторилъ онъ.

А Смяткина опять заговорила:

— А вы... и ничего себѣ... и не огорчайтесь... Давешнимъ лѣтомъ у моей невѣстки братъ... такъ точно такой-же случай... всѣ эти доктора въ одинъ голосъ: куберкулезъ и куберкулезъ, умереть, ужъ непременно, отъ чахотки умереть... И что-же вы думаете? Онъ возьми себѣ и выздоровѣй... и до сихъ поръ живетъ... хоть кашляетъ и сильно, а живетъ.—

Она еще долго говорила и, только увидавъ, что Позоровъ не подымается съ пола, ушла, шурша шелковыми юбками, приложивъ палецъ ко рту и шепча: „т-сс-т-сс“. При этомъ ея круглое лицо было очень озабочено.

— Въ Крымъ... въ Крымъ...—снова повторилъ онъ, поднялся съ пола и уставился безсмысленными ужасными глазами на Женю.

Она тяжело и съ хрипомъ дышала. Лобъ и руки ея, лежавшія поверхъ одѣяла, еще сильнѣе поблѣднѣли, а пятна на щекахъ увеличились и еще зловѣщѣе выдѣлялись на бѣлой подушкѣ. Онъ медленно заложилъ руки, и пальцы его громко хрустнули. И вытянувъ голову и закрывъ глаза, онъ сталъ тихо и протяжно стонать, стоналъ долго, и при каждомъ стонѣ плечи и спина его дрожали. И скоро сквозь эти стоны все яснѣе и яснѣе стали слышны два единственные слова, которыя онъ произносилъ. Эти два слова были:

— Въ Крымъ... въ Крымъ... —

Х.

Во что бы то ни стало.

Онъ всю ночь не ложился спать. Всю ночь онъ шагаль взадъ и впередъ по комнатѣ, и эти два слова „въ Крымъ“, точно пара острозубыхъ звѣрьковъ, родившихся въ черепѣ, мучительно грызли его мозгъ. Случайный скрипъ половицы или другой ночной шорохъ номеровъ пугали его какъ ребенка и надолго подчасъ выводили изъ задумчивости. Однако въ такія минуты мысль его не пріобрѣтала новаго содержанія, но какъ-то механически, безвольно погружалась въ тупое состояніе недуманія, въ тотъ страшный пустой хаосъ—безчувственный, бессмысленный,—который нельзя назвать иначе, какъ—несуществованіемъ; но онъ страдалъ и въ эти минуты, такъ какъ хаосъ этоть—не смерть: безчувственный по своему содержанію, онъ все-жъ, весь цѣликомъ, болѣзненно-остро ощущается. Но какъ только долгій дѣтскій испугъ проходилъ, мысль оживала... снова сейчасъ-же въ головѣ начиналась старая работа:—въ Крымъ!... въ Крымъ!...—Точно острозубые звѣрьки, сами испугавшись ночного шороха, временно притихали... и снова принимались и копошиться, и грызть, убѣдившись, что все кругомъ тихо.

Впрочемъ, одинъ разъ вниманіе его остановилось на пакетѣ, выпавшемъ изъ чемодана и валявшемся на полу. Онъ поднялъ, раскрылъ его: въ пакетѣ оказалось бѣлое платье Жерменъ, ея туфельки и чулки. Онъ сталъ бережно развертывать платье... и вдругъ что-то легкое, съ слабымъ шуршаніемъ скользнувъ межъ складокъ и задѣвъ его руку, упало къ его ногамъ. Онъ рѣзко вздрогнулъ всѣмъ тѣломъ, глухо ахнулъ и не сразу рѣшился взглянуть на полъ: на минуту ему показалось, что въ рукахъ его

трепетнула слабая, хрупкая жизнь, что маленькая живая душа, покинувъ складки мягкой матеріи, коснулась его пальцевъ и со вздохомъ вырвалась на волю. Все еще не рѣшаясь взглянуть себѣ подъ ноги, онъ порывисто наклонился къ головѣ спящей Жерменъ и долго прислушивался къ ея дыханію. И нѣсколько успокоился лишь тогда, когда, нагнувшись наконецъ къ полу, поднялъ... увядшую... мертвую розу...

А больная спала довольно спокойно. Только одинъ разъ она вдругъ стала громко кричать, потомъ быстро заговорила и долго не узнавала окликавшего ее Позорова... а узнавъ, тихо разсмѣялась и, взявъ его за руку, серьезно сказала:

— Костя, вы помните, да? Когда я умру, мнѣ на могилку много цвѣтовъ... и самыхъ дорогихъ и роскошныхъ... бѣлыхъ, красныхъ...—И сейчасъ же послѣ этихъ словъ снова позабылась.

Тогда у него явилось желаніе говорить долго, громко и бодро. Вставъ около кровати, онъ заговорилъ съ пафосомъ, декламируя, какъ плохой актеръ въ плохо написанной пьесѣ:

— Нѣтъ, Жерменъ, вы не умрете! Мы не умремъ, Женя... Мы сядемъ въ поѣздъ. По стальнымъ рельсамъ онъ помчитъ насъ туда, въ теплый край, на югъ. Мы приѣдемъ въ страну пальмъ, въ страну винограда. Насъ встрѣтитъ теплое море... теплое южное солнце будетъ грѣть насъ... Женя, вы выздоровѣете... прекрасная, ненаглядная дѣвочка, вы выздоровѣете! Ахъ, какъ вы будете смѣяться! И развѣ тогда будетъ плохо, Женя?—

Послѣ этого онъ еще быстрѣе зашагалъ по комнатѣ, опять ломалъ руки и опять стоналъ:

— Въ Крымъ!.. въ Крымъ!..—

А утромъ, часовъ въ девять, постучался въ комнату Смяткиной.

— А, это вы! какъ ваше здоровье... я вчера было испугалась за васъ...—начала Смяткина, увидавъ его.

— Пожалуйста, побудьте съ ней... я возвра-

щусь самое большее черезъ часъ... — таинственно пробормоталъ онъ.

И минутъ черезъ двадцать, когда Смяткина вошла въ его комнату, онъ взялъ шляпу и, не слушая ея новой болтовни, вышелъ изъ номера. Черезъ полчаса онъ уже былъ въ гостиницѣ, гдѣ остановился дядя Егоръ. Подойдя къ указанной корридорнымъ двери, онъ рѣзко стукнулъ. За дверью раздался здоровый и веселый басъ:

— Это кто тамъ? Войдите!—

Онъ толкнулъ дверь и вошелъ въ комнату. Дядя Егоръ, безъ пиджака, въ разстегнутомъ жилетѣ, сидѣлъ у открытаго окна и пилъ чай.

— Константинъ! чортовъ сынъ, ты!! закричалъ онъ, вскакивая со стула—... Въ Харьковѣ, дьяволъ... да откуда ты взялся?

Онъ обхватилъ Позорова и трижды поцѣловалъ мокрыми отъ чая губами.

— Ну, чего-жъ ты молчишь? Присаживайся чай пить... А я, видишь, здѣсь проездомъ, по дѣламъ... ненадолго должно... Отсюда думалъ ужъ къ тебѣ въ городишко заѣхать.. да вотъ тебя, бѣсова сына, сюда нелегкая принесла... Присаживайся!..—

И дядя, какъ человѣкъ, любящій свои мысли— быть можетъ за ихъ легкость,—не стѣсняясь внезапной встрѣчей съ племянникомъ, толкнулъ его на стулъ, а самъ, покачивая животомъ и полами разстегнутой жилетки, зашагалъ по комнатѣ и принялся говорить. Говорилъ онъ долго, быстро, обильно и на всевозможныя темы: то затрагивалъ торговыя дѣла, тутъ-же производя выкладки съ цифрами, то вспоминалъ двухъ ему принадлежащихъ лошадокъ, выигрывавшихъ подъ-рядъ два приза на Московскихъ бѣгахъ... то, снова возвращаясь къ торговлѣ, вдругъ потрясалъ въ воздухъ кулакомъ и чуть-ли не со слезами искренняго негодованія въ голосѣ жаловался на нынѣшнихъ сыновей, не желающихъ заниматься

отцовскимъ дѣломъ... и опять-таки громко, самодовольно хохоталъ, потиралъ руки и восклицалъ:

— Но лошадки!... батюшки мои, лошадки то какія!!.—

И вдругъ смолкъ, оборвавъ на полсловѣ, снопомъ повалился на стулъ и глянулъ исподлобья на племянника.

Позорову стало неловко дольше молчать, и онъ проговорилъ, съ трудомъ сдерживая дрожанье губъ:

— Дядя, я къ вамъ по дѣлу.—

Лицо дяди расплылось въ широкую веселую улыбку.

По дѣлу!.. ха!.. знаю, Константинъ, самъ, что по дѣлу... Видимость твоя, какъ у мокрой курицы, сама отъ себя говорить... Что, братъ Константинъ, надоѣла такая жизнь... за умъ хочешь взяться?.. ну, а тутъ благо дядька—добрякъ подвернулся... а? Да можно ли тебѣ простить твое старое, ты, чучело!

И дядя стукнулъ кулакомъ о столъ, но лицо его не потеряло добраго, веселаго выраженія. Позоровъ уперся локтями о колѣни и продолжалъ глядѣть на полъ:

— Дядя, мнѣ нужны деньги.—

Дядя звучно расхохотался:

— Деньги! ха-ха-ха! ну, разумѣется, что деньги, чудила... Развѣ я самъ не знаю... Безъ денегъ ты теперь ничто, босякъ несчастный... и самый пропащій... --

И внезапно складки на его лицѣ собрались, лицо приняло строгое выраженіе, и, стуча пальцами по столу, онъ проговорилъ:

— А только слушай теперь и знай въ мой послѣдній разъ: ни копейки я тебѣ не дамъ больше, если сейчасъ же дурь эту всю твою изъ головы не выкинешь и къ отцу въ дѣло не пойдешь... Ты что отца, мать изводишь? Вѣтромъ въ полѣ живешь?! на отцовской да дядькиной спинѣ!.. А образованія свои куды дѣвалъ? гимназіи, университеты, консерваторіи да за-границы? У дѣвочекъ подъ подушками за-былъ?!—

— Дядя, мнѣ нужно уѣхать!—хмуро перебилъ Позоровъ.

— А-а-а, уѣхать!—глухо протянулъ дядя Егоръ, и лицо его осложнилось въ лукавую, презрительную гримасу. — Ни, ни, ни... милѣйшій мой... ни, ни, ни... Помнимъ, помнимъ, батюшка, съ чѣмъ ты изъ-за границы прибылъ... Уѣхать тебѣ точно надо, только сейчасъ же въ Москву, за дѣло, за работу... А не хочешь, такъ я тебя знать не знаю, и хотъ сейчасъ тогда вставай и ступай съ Богомъ на всѣ на четыре стороны!—

И дядя Егоръ замолчалъ, съ рѣшительнымъ видомъ принялся допивать свой чай.

Долго, минутъ пять, они оба молчали, и только дядя нѣсколько разъ изъ подлобья взглядывалъ на племянника.

— Дядя, дайте мнѣ денегъ!—тяжело дыша, снова попросилъ Позоровъ.

Дядю взорвало. Онъ вскочилъ, стукнулъ изо всѣхъ силъ кулаками по столу и закричалъ, и пятакъ и брызгая слюной:

— Ну, и замолчи, замолчи!.. Довольно!.. Разъ скажешь, что не дамъ, значить кончены разговоры... И не хочу больше ничего слышать... и замолчи... перестань! А не то... ступай-ка вотъ себѣ!..—

Позоровъ весь похолодѣлъ, еще ниже согнулся на стулѣ и не отрывалъ глазъ отъ пола.

Опять молчали, еще дольше, минутъ десять... И всѣ эти десять минутъ мысль Позорова какъ бы совсѣмъ не дѣйствовала, умерла. Онъ хорошо зналъ дядю и понималъ по выраженію его лица, что денегъ тотъ не дастъ; но вдуматься и сознать это было безпредѣльно страшно... да и невозможно... Возможно было думать только о томъ, что деньги нужны, что ихъ во что бы то ни стало нужно достать... и позабыть объ этой мысли для какихъ бы то ни было другихъ нельзя было хотя бы на одну секунду... Глаза его бессмысленно застыли на одномъ изъ квадратовъ

номерного паркета, а мысль какъ бы потонула въ сознаниі необходимости достать денегъ...

Громкій стукъ заставилъ его очнуться: это дядя, хлопнувъ дверью, вышелъ изъ комнаты и пошелъ куда-то по корридору.

Позоровъ поднялъ руки, сдвинулъ бившіеся виски и, чувствуя, что сейчасъ упадетъ, безпомощно повелъ глазами вокругъ комнаты. И вдругъ его взглядъ упалъ на дядинъ чесучовый пиджакъ, висѣвшій на стулѣ, около кровати: изъ внутренняго бокового кармана пиджака высовывался толстый, сильно потертый бумажникъ желтой кожи...

На секунду все потемнѣло въ его глазахъ... и вся комната, со всѣми вещами и съ пиджакомъ на стулѣ, дважды покачнулась, какъ при землетрясеніи. Онъ и не замѣтилъ, какъ вцѣпился обѣими руками въ сидѣніе своего стула и, закрывъ глаза, не слышалъ, какъ стучали, дрожа, его зубы.

Тогда въ головѣ его мелькнула мысль:

— Сейчасъ... или все пропало!..—

Онъ быстро и порывисто всталъ—его сильно качнуло въ сторону. Онъ схватился за стулъ съ пиджакомъ... онъ оглянулся на дверь въ корридоръ... онъ рвануль изъ кармана бумажникъ... Быстро нашелъ въ одномъ изъ отдѣленій деньги... все сторублевая бумажки... толстая пачка...

Пять всего бумажекъ отсчиталъ онъ себѣ—зачѣмъ ему больше? Нашупалъ еще разъ толщину оставшейся пачки, спряталъ ее въ бумажникъ, сунуль его обратно въ пиджакъ... Той ли стороной? Да, такъ... а деньги зажаты въ кулакъ... И вотъ ужъ онъ около своего стула... сѣлъ... и принялъ совершенно ту же позу, въ какой былъ раньше...

Дядя вошелъ въ комнату все съ тѣмъ же раздраженнымъ лицомъ. Опять они долго молчали, и Позоровъ, не подымая головы думалъ о томъ, какъ уйти.

— Ну, что же ты, думаешь или такъ сидишь?— началъ дядя.

— Слушай, Константинъ... гляжу я на тебя и противень мнѣ ты, какъ какой нибудь хитрованецъ... Вѣдь подумай, на кого ты похожъ сталъ! Лицо у тебя нето какъ у пьяницы, нето какъ ты вотъ только что изъ больницы вышелъ... Одумайся, Константинъ, одумайся, говорю тебѣ, пока есть время... А такимъ, каковъ ты теперь есть, ни отецъ твой, ни я... да и никто тебя знать не захочетъ.—

Позоровъ почувствовалъ, что надо уходить. Онъ всталъ и, не глядя на дядю, зашевелилъ бѣлыми губами, не зная, что сказать. Наконецъ произнесъ еле слышно.

— Хорошо, дядя... я... я... по думаю... я, быть можетъ... одумаюсь...—

Но отъ этихъ словъ на его совершенно бѣлыхъ губахъ пятнами выступила краска стыда. Онъ одѣлъ шляпу и, не простившись съ дядей, вышелъ изъ номера.

На улицѣ первымъ движеніемъ выхватилъ изъ кармана часы:—два часа!.. два часа не было его дома!.. Еще разъ взглянувъ на деньги, онъ снова зажалъ кулакъ и бросился бѣжать...

Онъ не замѣтилъ, какъ добѣжалъ до дома и какъ поднялся по лѣстницѣ въ корридоръ. Но здѣсь, въ корридорѣ, онъ остановился: дверь въ его комнату была отворена; около нея увидалъ онъ Смятку, корридорнаго и еще двухъ, незнакомыхъ ему, людей—низенькаго сѣдого старика въ длинномъ, почти до колѣнъ, пиджакѣ, и еще господина въ военной тулупкѣ и туфляхъ.

— Что такое... что тамъ?..—

Онъ рванулся... и, чувствуя, что холодѣетъ, ворвался въ комнату.

— Что это... и здѣсь народъ?! А вотъ и Женя... Но это что?.. постель прибрана, а она одѣта?!—

Жерменъ лежала въ постели, одѣтая въ свое бѣлое платье, бѣлые чулки и бѣлыя туфли. Глаза ея были закрыты, и худыя, прозрачныя руки сложены

на груди. Строгое личико ея поблѣднѣло, стало матовымъ, но на щекахъ все еще виднѣлись слабыя розовыя пятна. Черные волосы уже не лежали на одной сторонѣ лба, а открывали его весь, поблѣвшій и нѣжно-спокойный. Но все маленькое лицо съ чуть заострившимся носикомъ не было спокойно: оно дышало дѣтскою строгостью и недѣтскимъ страданіемъ.

Онъ остановился въ срединѣ комнаты. Тѣло его вытянулось по направленію къ Жерменъ, и еще болѣе вытянулось его лицо. И когда всѣ эти чужіе люди, что наполняли комнату, взглянули на это вытянувшееся лицо, то имъ сейчасъ же стало неловко оставаться—они вышли и прикрыли за собой дверь.

Прошла минута, и руки его, застывшія въ воздухѣ, упали и повисли какъ плети, и, еще болѣе вытянувъ лицо, весь худой, изогнутый, онъ громко сказалъ низкимъ и не своимъ голосомъ:

— Ты умерла... ты умерла...—

И какъ хорошо онъ почувствовалъ въ этотъ моментъ все то, что теперь уходило изъ него. И какъ же это онъ думалъ все время, что жизнь его была пуста, что пусто было сердце, что ничего въ немъ не было? А вотъ что-же это теперь уходитъ изъ него: вотъ онъ... вотъ онъ, интересъ къ жизни, обрывается, а вотъ вѣра въ себя, въ свои силы разбивается вдребезги, а вотъ и оно... вотъ оно-все, что составляло цѣль и смыслъ его жизни... все это разлетается какъ дымъ, ломается какъ мыльный пузырь...

— Ты умерла... ты умерла...—повторилъ онъ тѣмъ же низкимъ, ровнымъ голосомъ. Потомъ отвернулся отъ умершей и, какъ бы обращаясь къ кому-то, сказалъ:

— У людей было все: несмѣтныя богатства, великолѣпная природа, науки, искусства... а у меня была только она... Развѣ не было бы справедливѣе, если люди лишились бы половины своихъ богатствъ, а у меня осталась бы она? Но ты умерла... ты умерла...—

И, постоявъ не шевелясь еще минуту, онъ съ сухими глазами и холоднымъ лицомъ вышелъ изъ номера, вышелъ на улицу и спокойно пошелъ куда-то.

.....

Дядя Егоръ былъ очень удивленъ, когда черезъ неполный часъ послѣ ухода племянника, открывъ на стукъ дверь, онъ снова увидѣлъ его, Позорова, еще болѣе блѣднаго и съ горящими глазами.

— Тебѣ что?—спросилъ онъ.

Но тотъ, вмѣсто отвѣта, вынулъ изъ кармана скомканную пачку ассигнацій, размахнулся и, швырнувъ [ее въ лицо дяди, ровнымъ голосомъ произнесъ:

— Вотъ это я у тебя укралъ...—

Потомъ повернулся, пошелъ... и сталъ медленно спускаться съ лѣстницы...

XI.

Избавленіе.

Онъ вернулся домой, въ гостиницу, лишь къ вечеру. Онъ и не замѣтилъ, какъ не разъ околесилъ весь городъ, снова и снова возвращаясь къ однимъ и тѣмъ же мѣстамъ. А одинъ разъ ему даже показалось, что онъ прошелъ мимо синей вывѣски своей гостиницы, и на секунду почувствовалъ, что *все это—тамъ...* но не зашелъ туда, а прошелъ мимо и вернулся лишь часа черезъ два.

Первый, кто встрѣтилъ его въ комнатѣ, это—тотъ самый низенькій, сѣдой старикъ въ длиннополомъ пиджакѣ.

— Хоронить есть на что?—спросилъ онъ угрюмо и непривѣтливо.

Позоровъ, не сразу понявъ вопросъ, молчалъ. Угрюмый старикъ разсердился.

Хоронить, спрашиваю я, есть на что?!. Потому—

я хозяинъ, и нельзя, чтобы здѣсь трупъ—тѣло лежало... А то вонъ сосѣдка ваша хочетъ похоронить.—

Позоровъ молча показаль на всѣ свои разбросанныя вещи, книги, ноты... потомъ показаль на одѣтце на немъ новый костюмъ и башмаки. А когда старикъ оставилъ его одного, онъ, дѣйствительно, снялъ съ себя костюмъ и башмаки, сложилъ ихъ къ остальнымъ, лежавшимъ на полу, вещамъ, а самъ одѣлъ свою старую подранную пару, свои стоптанные башмаки.

Весь этотъ вечеръ и всю ночь потомъ никто не заходилъ въ комнату, и Позоровъ и не замѣтилъ, какъ прошла она, эта ночь. Кажется, онъ всю ее такъ и просидѣлъ на стулѣ, передъ кроватью, обнявъ колѣна и не отрывая холодного, сосредоточеннаго взгляда отъ лица умершей. Онъ ни о чемъ не думалъ и, казалось, ничего не чувствовалъ—глядѣлъ на маленькую покойницу и только...

Было часовъ девять сѣраго, пасмурнаго утра, когда онъ покинулъ гостиницу. Подъ мышкой онъ держаль скрипку и смычокъ, лицо его было спокойно, и только раза два онъ прошепталъ, какъ бы напоминающая себѣ:—цвѣтовъ для могилки... и самыхъ дорогихъ и роскошныхъ.

Онъ вошелъ въ первопопавшійся дворъ, оглядѣлъ окна и заигралъ первую пришедшую на память мелодію—серенаду Брага...

Давно ужъ... цѣлыхъ три года не занимался онъ скрипкой! Но за послѣдніе мѣсяцы жизни... тамъ, въ такъ недавно покинутомъ городкѣ, когда случилось—Женя уходила, онъ бралъ ея скрипку-бродяжку и, одинъ самъ съ собой, любилъ наигрывать любимыя мелодіи. При Жени—онъ не рѣшался... боялся ея суда...

Теперь смычокъ подъ его рукой звучаль неуверенно и робко. Впрочемъ онъ и не слыхаль того, что игралъ: чрезвычайно ясно, отчетливо въ ушахъ

его раздавалась другая мелодія—луна - печальница плыла по небу... да, онъ слышалъ ихъ, эти унылые, простые звуки, которыхъ самъ переложить для скрипки не могъ... Онъ сыгралъ еще баркароллу Чайковского, и когда кончилъ—мѣдные пятаки и копейки, глухо шлепаясь о землю въ бумажкахъ или звеня и подскакивая, покатались къ его ногамъ. Онъ снялъ картузь, поклонился въ окна и ушелъ съ этого двора. Такъ онъ ходилъ долго, мѣняя дворъ за дворомъ, но совершенно не чувствовалъ усталости. Всюду онъ игралъ все новыя и новыя приходившія ему на память мелодіи, и всюду слышалъ мелодію совсѣмъ иную, унылую и простую...

Онъ совершенно не обращалъ вниманія на людей, съ любопытствомъ разглядывавшихъ его. Онъ чувствовалъ себя удивительно независимымъ, обособленнымъ... быть можетъ, даже безпечнымъ. А шуткамъ, отпускаемымъ по его адресу, онъ почти что улыбался, съ дѣтской радостью сознавая, что всѣ онъ—наглозлыя или жалостливо-добрыя—безвредно назадъ отскакиваютъ, ударившись о броню его горя...

Вышелъ на одномъ дворѣ изъ будки дворникъ и сталъ гнать его.

— Эй ты... музыкантъ!.. ступай-ка себѣ съ Богомъ!.. нынче не велѣно...—

А ему почему то неудержимо захотѣлось сказать что-нибудь этому дворнику.

— Послушайте...—началь онъ —...вы господинъ дворникъ? я вижу на васъ форменный картузь вы состоите на коронной службѣ... я васъ чрезвычайно уважаю...—

— Ну, ну, ступай ка себѣ... ступай ты... юродивый!—

Вышла на другомъ дворѣ изъ черного входа главнаго флигеля нарядная горничная:

— Пожалуйте, пожалуйста... васъ баринъ приказали позвать...—

Онъ пошелъ за ней. Въ кухнѣ она заставила его

почистить ноги, потомъ провела черезъ рядъ богато-убранныхъ комнатъ въ богато-убранную столовую, гдѣ за богато-убраннымъ столомъ обѣдалъ полный господинъ съ широкими бакенами, съ бѣлыми, полными руками и съ блестящей бѣлизны салфеткой, заложенной за блестящій бѣлизны воротничекъ.

— Здравствуйте, молодой человѣкъ... вотъ садитесь сюда...—указаль онъ Позорову стулъ противъ себя.—Не хотите-ли со мной пообѣдать... или вотъ вина выпить?—

Позоровъ вмѣсто отвѣта пошевелилъ губами.

— Вотъ видите, молодой человѣкъ... я услыхалъ черезъ окно... васъ... вашу игру и предположилъ, что какая нибудь случайность... нужда выгнала васъ на улицу, подъ окна людей, въ большинствѣ случаевъ въ искусствѣ невѣжественныхъ... которые бросятъ вамъ пятачекъ и тутъ же позабудутъ о музыкѣ... Расскажите мнѣ ваше горе, можетъ быть, я сумѣю вамъ помочь...—

— Нѣтъ, вы не сумѣете помочь мнѣ.—

Полный господинъ лукаво улыбнулся, какъ бы говоря, что только и ожидалъ этого отвѣта, и что вообще онъ „все это“ отлично понимаетъ.

— Ну, видите, я такъ и зналъ... Вы страдаете той же болѣзнью, что и большинство моихъ учениковъ... и, къ сожалѣнію, подчасъ самыхъ талантливыхъ... Всѣ вы надѣетесь на свои таланты и геніи и забываете одно...—Полный господинъ сдѣлалъ серьезное лицо.—Надо работать, работать и работать!—Позоровъ всталъ и пошелъ по направленію къ дверямъ.

— Пойдите, куда же вы? я пожилой человѣкъ... вамъ обижаться нечего... Во всякомъ случаѣ.. если одумаетесь... запомните мой адресъ, заходите ко мнѣ. А покамѣстъ вотъ... позвольте вамъ...—

Полный господинъ вытеръ ротъ салфеткой, вынулъ изъ кармана изящный кошелекъ и, доставъ пятирублевый золотой, протянулъ его Позорову.

Онъ взялъ деньги.

— Подумайте, основательно подумайте, другъ мой!—какъ бы уже съ большимъ правомъ посовѣтовалъ полный господинъ, поправилъ салфетку и снова принялся за ѣду.

Выйдя отъ этого господина, Позоровъ сосчиталъ свои деньги—вмѣстѣ съ мѣдью у него оказалось пять рублей девяносто три копейки. Онъ любовно потрясъ ихъ въ рукѣ, улыбнулся, глядя на нихъ и зашепталъ что-то...

Скоро ужъ онъ былъ дома, въ номерѣ, и нисколько не удивился, не найдя Жерменъ на кровати: онъ. еще играя, зналъ, что ея уже тамъ нѣтъ, что ее зарываютъ въ землю. И то, что онъ не видалъ ея въ послѣднія минуты, и то, что похоронили ее чужіе—все это нисколько не огорчало его... обо всемъ этомъ ему даже какъ-то не думалось. Оставивъ скрипку на столѣ, онъ сейчасъ же снова спустился внизъ, спросилъ у швейцара дорогу на городское кладбище и, не вслушиваясь въ подробныя указанія, медленно побрелъ по тому направленію, куда швейцаръ рукой махнулъ.

По дорогѣ вошелъ онъ въ цвѣточный магазинъ.

Молодая продавщица цвѣтовъ, удивленно оглянувъ его костюмъ и башмаки, далеко не съ обычнымъ умѣніемъ сложила губы въ обворожительную улыбку.

— Позвольте мнѣ цвѣтовъ... для могилки...—

— На сколько вамъ?—

Онъ вынулъ изъ кармана золотую монету и мѣдъ и молча высыпалъ все на прилавокъ

Какихъ же вамъ цвѣтовъ?—

— Все равно какихъ...—отвѣтилъ онъ продавщицѣ, а самъ про себя прошепталъ:—только самыхъ дорогихъ и роскошныхъ...—И на секунду лицо его озарилось радостью, когда онъ бережно, любовно, съ преувеличенной осторожностью принялъ изъ рукъ

продавщицы большую, бѣлую коробку, полную живыхъ цвѣтовъ...

Вечерѣло. Солнце замѣтно клонилось къ закату. На кладбищѣ было безлюдно, тихо и сумрачно. Косые лучи солнца мягко играли на листьяхъ кустовъ между могилами, на мраморныхъ плитахъ и памятникахъ... и вдругъ тускло-алой полосой перерѣзывали кое гдѣ печальную кладбищенскую дорожку... Навстрѣчу Позорову попались двѣ монашенки, и тяжелый стукъ ихъ толстыхъ башмаковъ гулко отдался въ тишинѣ кладбища. Встрѣтилъ онъ еще блѣднаго, изящно одѣтаго молодого человѣка, заботливо ведшаго подъ руку представительную заплаканную старуху въ глубокомъ траурѣ... Пахло увядающими цвѣтами и свѣжевырытой землей...

Онъ скоро, по указанію сторожа, нашелъ могилу Жерменъ. Свѣжій, только что сдѣланный бугорокъ съ деревяннымъ крестомъ безъ надписи помѣщался одиноко, вдали отъ другихъ могилъ, на новомъ участкѣ, видно только недавно отведенномъ для расширенія кладбища. Кругомъ одинокаго бугорка не было ни деревца, ни кустика, даже трава была аккуратно скошена, и ея остатки высохли и пожелтѣли на солнцѣ.

Подойдя къ могилѣ, онъ снялъ шляпу, положилъ ее на землю, а самъ опустился на колѣна около бугорка. При этомъ лицо его не переставало улыбаться той тихой, еле замѣтной улыбкой нето грусти, нето недоумѣнія, смыслъ которой никогда не бываетъ понятнымъ самымъ внимательнымъ постороннимъ. Медленно раскрылъ онъ коробку и, не торопясь, внимательно разглаживая одинъ цвѣтокъ за другимъ, сталъ покрывать ими бугорокъ... Скоро вся маленькая могила потонула въ цвѣтахъ. Тогда онъ прикрѣпилъ нѣсколько оставшихся розъ къ кресту, погладилъ бугорокъ руками и, опустивъ на него голову, сказалъ:

— Милый... одинокій бугорокъ!—

Потомъ всталъ, вытянулъ, какъ тогда передъ кроватю, голову и сталъ смотрѣть на могилу... Сумерки сгущались. Запахъ недавно вырытой земли смѣшался съ запахомъ свѣжихъ розъ и ласкалъ въ теплыхъ и слабыхъ порывыхъ вѣтра его лицо.

Могильные памятники и кусты направо постепенно темнѣли, точно на нихъ спускали тонкую вуаль. По небу носились обрывки сѣровато-бѣлыхъ, какъ залежавшійся весенній снѣгъ, тучъ... и изрѣдка нѣсколько холодныхъ капель падали ему на лицо и слабо шуршали въ розахъ... И вдругъ онъ тихо позвалъ:

— Женья... а Женья!...

И пригнулся къ бугорку, какъ бы прислушиваясь.

Таинственно и сумрачно молчало кладбище, дыша беззаботностью и призывомъ къ отдыху.

Тогда ему стало страшно, и онъ позвалъ уже громче и дрожащимъ голосомъ:

— Женья... Жермень... Жерменочка!.

Гдѣ-то далеко, тихо, точно сдерживаемая злоба, прокатился громъ... вѣтеръ подулъ сильнѣе и продолжительнонѣе...

И впервые въ головѣ его промелькнула мысль...

— Какъ! Уйти отсюда и уже болѣе не возвращаться! Дома не застать ея... и уже больше никогда съ ней не видѣться...

Женья!. Жермень!—дико воскрикнулъ онъ и повалился на могилу, и забился всѣмъ тѣломъ въ истерическихъ рыданіяхъ.

— Жермень, откликнись же!—звалъ онъ громко... то вдругъ тихо просилъ:—Услышь же, услышь... Женья, Жерменочка!...

Все такъ же было межъ могилами. Темъ становилось непроглядной... По спинѣ Позорова и по открытой головѣ заколотили крупныя капли дождя, а онъ все лежалъ на землѣ, и скоро его плачь пересталъ нарушать тишину заснувшего кладбища...

Онъ поднялся съ земли, когда тучи уже разорва-

лись, расползлись, и межъ нихъ, точно торопясь на свиданіе къ таинственному богу ночи, легко и быстро скользила луна. Вставъ, онъ порывисто отвернулся отъ могилы и, ни разу не оглянувшись, торопливо зашагалъ вонъ изъ кладбища...

Домой, къ себѣ, онъ вернулся въ одиннадцатомъ часу. Войдя, не зажигая огня, повалился на диванъ, опустилъ голову къ колѣнямъ и сжалъ ее руками. И въ эту минуту, въ такой позѣ, во всемъ его существѣ можно было подмѣтить какое-то недоумѣніе, беспомощность и покорность судьбѣ... Когда онъ поднялъ голову, ему бросилась въ глаза газета, лежавшая на диванѣ. Онъ взялъ ее въ руки и легко, при лунномъ свѣтѣ, сталъ читать:

„Сбѣжалъ небольшой, бѣлый въ пятнахъ фокс-терьеръ; доставившему по нижеслѣдующему адресу пять рублей вознагражденія“.

Нѣсколько ниже онъ прочелъ:

„Веду ходатайства по бракоразводнымъ дѣламъ“.

И потомъ еще:

„Дешево продается молодой жеребецъ англійской породы, хорошо выдержаннаго хода“.

Онъ перевернулъ газету и прочелъ заглавіе передовицы: „Будемъ бороться“. Машинально сталъ онъ скользить глазами по строкамъ газетнаго столбца и на секунду остановился на словахъ: „...двѣсти убитыхъ и раненыхъ“...

И тогда на днѣ его сердца, точно слабо заволнованная струйка крови, робко затрепеталъ вопросъ:— неужели эти слова совсѣмъ не волнуютъ меня?! неужели призывъ къ борьбѣ не рождаетъ въ душѣ моей отзвука?!

Онъ отложилъ газету, всталъ и сталъ придвигать къ стѣнѣ, подъ портретъ царя, высокій и тяжелый табуретъ, стоявшій въ номерѣ подъ умывальникомъ. Всталъ на него, снялъ портретъ, оторвалъ отъ него довольно толстую веревку, сдѣлалъ изъ нея петлю, повѣсилъ ее на гвоздь... и слѣзъ съ табурета.

— Надо сначала о чемъ нибудь подумать — сказалъ онъ самъ себѣ и прошелся по комнатѣ. Но, дойдя опять до табурета, онъ, точно его толкнули, рѣзкимъ движеніемъ вскочилъ на него и... осторожно надѣлъ на себя петлю, не выпуская ея изъ судорожно сжатыхъ пальцевъ. Стоя такъ, обернулся къ окну, посмотрѣлъ на смотрѣвшую на него луну... и улыбнулся. А вотъ опять повернулъ голову къ комнатѣ... и увидалъ, что тамъ, около дивана, между его разбросанными по полу вещами, стоитъ что-то бѣлое, колеблющееся, прозрачное... Весь задрожавъ, онъ приглядѣлся и узналъ, это Жермень.. у нея въ рукахъ скрипка... И вотъ... въ послѣдній разъ, неразрѣшеннымъ вопросомъ земныхъ страданій, неуверенно прозвучалъ, но безнадежнымъ стономъ отдался въ душѣ его скорбный мотивъ:—...луна-печальница плыла по небу...—

— Жермень!—вскрикнулъ онъ, и, вытянувъ руки, рванулся къ ней...

Но вмѣстѣ со своимъ крикомъ онъ услыхалъ тяжелый стукъ падающаго табурета, и лунные лучи, душа его, впились ему въ грудь...

Спавшій внизу швейцаръ, услыхавъ въ номерѣ надъ собою крикъ и стукъ чего-то падающаго, тревожно хватился съ постели.

— Пойти—посмотрѣть, что тамъ!—рѣшилъ онъ, натянулъ съ ворчаніемъ на себя штаны и, зажегши огарокъ свѣчки, пошелъ наверхъ. Онъ долго стучался въ номеръ къ Позорову и, не получивъ отвѣта, рѣшилъ самъ попробовать дверь. Она оказалась отпертой, и онъ вошелъ въ комнату. Луны ужъ не было, и швейцаръ, увидавъ повѣсившагося лишь при дрожащемъ свѣтѣ огарка, испуганно выронилъ его, всплеснулъ руками и, крестясь, побѣждалъ внизъ. Въ швейцарской онъ торопливо накинулъ на себя пиджакъ, отперъ уличную дверь и пустился бѣжать въ участокъ.

А въ это время по улицѣ проходилъ оборванецъ.

Замѣтивъ выбѣжавшаго швейцара и оставленную открытой дверь, онъ съ полминуты поглядѣлъ вслѣдъ бѣжавшему, потомъ прокрался въ переднюю и быстро взобрался наверхъ. Здѣсь, увидавъ отворенную дверь въ одинъ изъ номеровъ, онъ вошелъ въ него и сталъ шарить рукой по столу. Наконецъ онъ нащупалъ что-то твердое, догадался, что это скрипка, спряталъ ее подъ лохмотья и съ осторожной воровской торопливостью спустился внизъ...

На улицѣ, недалеко отъ гостиницы, на него подозрительно покосился городской. Но лицо у оборванца было жалкое—больное и голодное...

Парижъ, Октябрь 1906 г.

ЗАПИСКИ СТАРАГО ХУДОЖНИКА.



I.

Я, право, ни разу прежде не предполагалъ, что промѣняю когда либо кисть на перо. Но я не сумѣю выразить все, мною теперь переживаемое, при помощи холста и этихъ разноцвѣтныхъ струекъ краски, змѣйками выползающихъ на палитру. Когда хочешь рассказать, какъ все это случилось, то трудно объяснить однимъ единственнымъ художественнымъ образомъ. А я привыкъ всю жизнь освобождаться отъ волнующихъ меня впечатлѣній, отдавая ихъ искусству, и не смогу я спокойно и сознательно уйти изъ этого міра, не выяснивъ себѣ и другимъ всего того, чѣмъ перемучился я за эти послѣдніе годы. Да, мнѣ хотѣлось бы, чтобы окружающіе меня знали, почему я, художникъ Илышевъ, не могу больше жить какъ разъ въ тотъ моментъ, когда надъ родиной моей готова взойти заря новой, болѣе счастливой жизни. Поэтому я разъ навсегда забрасываю кисть и въ первый и послѣдній разъ берусь за перо.

Весьма вѣроятно, что тѣ, которые будутъ читать эти строки, найдутъ мои страданія неважными и, быть можетъ, даже смѣшными. Но... слушай, читатель! Ужъ не думалъ ли ты, что удивишь меня смѣхомъ? Знаешь ли ты величіе слабости? Врядъ-ли... Ты силенъ, необыкновенно, гигантски силенъ, ты самъ-сто, самъ-милліонъ, ты великъ въ своей силѣ, а слабость презираешь. И разумно... Ужъ не думалъ ли ты, что стану тебя поучать я? О, нисколько... нисколько—ты

нужнѣ меня. Гордость твою смущать не желаю, силъ твоихъ подрывать не хочу, но потревожить тебя— потревожу.

Слушай, читатель! Что мнѣ за дѣло до твоихъ настроеній и вкусовъ!.. Я знаю—ты мнишь себя сильнымъ и гнѣвнымъ, я знаю—ты хочешь лишь звуковъ побѣды—тѣхъ криковъ, что заглушаютъ робость души. Но что мнѣ за дѣло: жизнь, моя жизнь—та жизнь, что билась такъ кровно, умираетъ... одиноко, въ сторонѣ умираетъ. И если только мой стонъ долетитъ до той горы, съ которой ты такъ смѣло теперь заглядываешь въ даль будущаго, то этотъ стонъ тебя потревожитъ. Вѣдь на эту гору ты взобрался, раздавивъ мою грудь, вставъ мнѣ на плечи и толкнувъ меня въ бездну...

... Странная жизнь, странные дни, роковое время!.. Тамъ, у нихъ—вдругъ проснувшееся чувство, вдругъ вспыхнувшая отвага и надежда—надежда на иную, лучшую жизнь... а здѣсь, у меня—мысль съ надломанными крыльями и сердце, бьющееся тяжело и медленно, какъ товарный поѣздъ въ туманѣ осенней ночи. Трудно жить съ такимъ сердцемъ, съ такой мыслью. Но я знаю—я долженъ еще жить, хоть и недолго, я долженъ въ послѣдній разъ подчинить себѣ волю и рассказать тебѣ, читатель, почему стонъ похороннаго органа въ трауръ одѣнетъ трубные звуки твоего возрожденія. Пусть сердце измято уже, пусть порвано... пусть кровь течетъ уже только для смерти— ну что-жъ? Сокомъ этой крови я разбавлю чернила и расскажу тебѣ повѣсть болѣзни и смерти. Ты не знаешь ея, этой повѣсти, потому что взоръ твой, обольщенный сіяніемъ будущаго, сюда, ко мнѣ, въ эту яму, тобой для меня заготовленную, не проникаетъ. На глазахъ твоихъ, на міру, красной смертью умираютъ славные герои времени—и ты это знаешь. а въ забытыхъ всѣми углахъ безшумно, одинокие, заброшенные, умираютъ безславные герои безвременья—и ты этого не знаешь...

Съ той минуты, какъ понялъ я, чему долженъ отдать свои послѣднія силы, мнѣ стало легче. Спокойствіе снова вернулось ко мнѣ, и я заранѣе люблю этотъ мѣсяць-другой, что мнѣ еще осталось прожить. Они улыбаются мнѣ, эти прощальные дни, улыбаются невѣдомой, неотразимой улыбкой живой, трепетной жизни—каждая минута ихъ будетъ владѣть моимъ существомъ всецѣло. А потомъ, когда послѣдняя точка будетъ поставлена, дальнѣйшая жизнь станетъ невозможной. Я знаю—меня охватить тогда такое чувство, отъ котораго, если бы только природа была устроена разумнѣе, тѣло умирало бы само собой... не нужно было бы прибѣгать ни къ веревкѣ, ни къ револьверному дулу. И потому, что все это мнѣ такъ ясно, и потому, что все это такъ неизбежно, я спокоенъ... какъ были бы спокойны всѣ люди, если бы заранѣе точно знали, сколько они проживутъ, и что за все время жизни будутъ дѣлать. Я уже не боюсь, какъ прежде, ни себя, ни своихъ мыслей, не боюсь даже тѣхъ людей, что окружаютъ меня... Я охотно бываю между ними, слушаю ихъ, я интересуюсь ихъ жизнью, зная, что самъ живу своей жизнью. И есть даже минуты, проводимыя съ ними, которыя я люблю больше другихъ, о которыхъ я даже мечтаю. Пусть чаще повторятся онѣ прежде, чѣмъ жизнь вздохнетъ послѣднимъ вздохомъ!.. Да, я еще мечтаю. О чемъ? Слушай, читатель, о чемъ!

Къ вечеру будетъ все это, послѣ душнаго, душнаго дня.

Дождь будетъ снова итти, поля и лѣса кругомъ облегченно вздохнуть. Тѣмъ, что страдаютъ, тѣмъ, чьи слезы всѣхъ горче, станетъ ли легче? Не знаю. А я... храня въ себѣ потухшую злобу и минутно не сѣтуя на горькое чувство безсилія, буду сидѣть на террасѣ, мокрая парусина, надувшись, будетъ трепыхать около меня. Будетъ славный вечеръ. Люди, между которыми я буду сидѣть, будутъ близкіе, но чуждые мнѣ люди. И вотъ въ листьяхъ будетъ шур-

шать дождь, самоваръ будетъ гудѣть, и кто нибудь изъ этихъ людей заговорить о чемъ нибудь очень серьезномъ... заговорить и такъ искренно, такъ горячо будетъ притворяться, что это серьезное его дѣйствительно интересуется... И мнѣ будетъ забавно, когда онъ будетъ умствовать... И барышни за столомъ тоже будутъ горячо умствовать... И мнѣ будетъ хорошо... А потомъ, когда я уйду къ себѣ, наверхъ, останусь одинъ, мокрая парусина на моей маленькой террасѣ будетъ трепыхать для меня одного, мокрая деревенская ночь будетъ молча взирать на меня одного, умствующие люди будутъ тамъ внизу... тогда мнѣ будетъ еще лучше...

II.

Я родился въ безвремяе—я жилъ въ сумеркахъ...

Годы ранняго дѣтства—время безпричиннаго смѣха и полусоленныхъ слезъ—не оставили послѣ себя почти никакихъ воспоминаній. Что такъ? А, должно быть, не очень то часто билось повышенно въ отцовскомъ домѣ маленькое ребячье сердечко. Да, отецъ... Что бы сказать о немъ? Былъ онъ купцомъ, купцомъ богатымъ, всегда чрезвычайно уважалъ себя, но вполне оцѣнилъ лишь послѣ женитьбы на дѣвицѣ дворянскаго происхожденія. Носилъ онъ бѣлый жилетъ и лаковые башмаки, билъ извозчика, когда торопился, кулакомъ въ спину, о себѣ говорилъ „мы, дворяне“, прислугу называлъ холоями и жаловался на скверно поставленный въ столицѣ балетъ. Впрочемъ, и отца моего, и мать—женщину, сильно пахнувшую тонкими духами, сильно шумѣвшую шелковыми юбками, часто ѣздившую на воды и рѣдко заглядывавшую въ дѣтскую,—я узналъ лишь позже. До девяти же лѣтъ они были знакомы мнѣ лишь по урокамъ расшаркиванья передъ взрослыми и держанія вилки и ножика за обѣдомъ, и зналъ я ихъ

несравненно меньше, чѣмъ, напримѣръ, горничную Дашу, стаскивавшую съ меня по вечерамъ сапожки, или кучера Гаврилу, возившаго меня кататься.

Что-то очень безцвѣтное, сытое и не свободное, не радостное и не печальное, настойчиво всплываетъ въ моей памяти каждый разъ, когда пытаюсь я представить себѣ мое дѣтство. Запомнилась мнѣ холодно и чинно убранная гостиная, въ которую дѣтей не пускали, запомнился взятый по настоянію матери французъ—гувернеръ, котораго отецъ называлъ „французской собакой“, и, наконецъ, запомнилась еще пахучая помада, которой заставляли меня каждое утро мазать волосы—терпѣть я не могъ этой помады.

Вотъ какъ будто бы и все о раннемъ дѣтствѣ.

Но зато ярко и рѣзко врѣзалось въ память воспоминаніе о томъ, какъ я девятилѣтнимъ мальчикомъ упалъ со второго этажа, и остался на всю жизнь съ поврежденной ногой. Событіе это, которое всѣмъ окружающимъ казалось такимъ ужаснымъ, мнѣ до сихъ поръ кажется самымъ простымъ—иначе быть не могло.

Стоялъ я въ высокой, свѣтлой дѣтской у открытаго окна, глядѣлъ на задній дворъ—обыкновенный пыльный городской дворъ. Въ противоположномъ флигелѣ дома помѣщалась булочная; сквозь открытую дверь ея чернаго хода на дворъ вырывались пѣсни пекарей, дымъ и вкусный запахъ пряностей; около самой двери, на табуретѣ, лежала куча поломанныхъ кренделей и пирожнаго, съ которыми булочники, очевидно, собирались пить на дворѣ чай.

Я смотрѣлъ на пирожное и думалъ о томъ, что у насъ къ чаю оно подается такое красивое и вкусное, а тутъ, на табуретѣ, оно поломанное, смятое неаппетитное, и что я врядъ ли бы согласился попробовать его. Но вотъ я замѣтилъ, что не я одинъ смотрю на пирожное: изъ подвального этажа дома вышла дворничья дочка, испачканная дѣвочка лѣтъ

семи, въ отрепьяхъ и босоногая; она увидала его, это пирожное, какъ вкопанная остановилась въ изумленіи, и ея блеснувшіе глаза выразили восхищеніе, благодарный восторгъ передъ этой роскошью, небрежно брошенной на табуретъ—какое блаженство, на самомъ дѣлѣ, забраться съ этимъ пирожнымъ куда нибудь подальше, въ темный уголь двора, около помойной ямы, и, позабывъ сію земную жизнь съ ея душнымъ смраднымъ подваломъ и побоями пьянаго отца, всѣмъ существомъ отдаться этому сладкому великолѣпію, что переносить на небеса, если кушать его долго, по маленькимъ кусочкамъ, и не проглатывая сразу, а сначала обильно смачивая слюной!... Я уже собирался громко расхохотаться... но вдругъ увидѣлъ, что дѣвочка, прижавъ обѣ руки къ груди, стала осторожно около самой стѣны дома красться къ двери булочной, туда, къ табурету, къ нему, къ пирожному. Я не вскрикнулъ — только испуганно ахнулъ, сердце мое громко заколотило, и тревожно сталъ я слѣдить за движеніями дѣвочки, смутно чувствуя, что желаю ей успѣха, но не понимая охватившаго меня волненія. А волненіе это перешло въ ужасъ, когда я понялъ, что въ булочной замѣтили маневръ дѣвочки: одинъ изъ пекарей, съ метлой въ рукахъ, вдругъ появился около табурета и, перемигиваясь съ товарищами, притаился за угломъ двери... Ахъ, я не зналъ тогда, почему я весь трясся, почему стучали мои зубы, почему, снова глухо ахнувъ, я схватился обѣими руками за голову и, весь похолодѣвъ, чувствовалъ, что сейчасъ передо мною разыграется что то ужасное, отъ чего мнѣ станетъ больно. А дѣвочка ничего не замѣчала: поблѣднѣвшая, съ глазами до слезъ напряженными, она осторожно кралась все впередъ. И вотъ она уже около табурета... и вотъ протянула дрожащую воровскую рученку... и въ ту же минуту пекаръ гикнулъ и вырвался изъ-за двери. Она дико вскрикнула, растерянно всплеснула руками и бросилась было бѣжать; но онъ хотѣлъ ее

остановить и потому ударилъ ее изо всѣхъ силъ босой ногой въ животъ, и когда она упала, разомъ, какъ подстрѣленная птица, и безъ крика конвульсивно забилась у его ногъ, тогда онъ размахнулся метлой...

Я почувствовалъ острую боль—это въ волненіи я поднесъ пальцы ко рту и сильно прикусилъ ихъ. и вдругъ громко крикнулъ:

— Бить?! не смѣй!!—

И рванулъ туда, къ ней: я хотѣлъ было оторваться отъ окна и побѣжать назадъ, черезъ квартиру, внизъ... но вмѣсто этого что-то со страшной силой подняло меня, я перекинулся всѣмъ тѣломъ черезъ подоконникъ, взмахнулъ, какъ игрушечный паяцъ, руками и упалъ внизъ плашмя, стремглавъ, какъ камень...

Да, все это я помню ясно... помню и какъ очнулся тогда, послѣ, со сломанной ногой и ушибленной головой: очнулся, вспомнилъ, что было со мной... и не могъ улыбнуться всѣмъ тѣмъ лицамъ, что весело заулыбались вокругъ меня—быть можетъ, я понялъ тогда, что дѣтство мое, маленькое, жалкое, безцвѣтное дѣтство, кончилось, навсегда и безвозвратно оборвалось.

Помню я дальше, что отецъ возненавидѣлъ меня два мѣсяца спустя, въ день, когда докторъ, осмотрѣвъ больную ногу, въ первый разъ разрѣшилъ выйти на улицу.

Днемъ я гулялъ съ гувернеромъ, а вечеромъ, выскользнувъ изъ квартиры и спустившись внизъ, отправился черезъ дворъ туда къ ней, къ этой дѣвочкѣ, въ дворницкую. Еле дыша отъ волненія, недоумѣвающей, ищущій объясненія того, что было непонятнаго въ сценѣ, разыгравшейся два мѣсяца тому назадъ подъ моими окнами, переступилъ я порогъ этой дворницкой, а когда ушелъ оттуда, то унесъ въ дѣтскомъ сердцѣ чувство горечи, обиды—чувство понятаго стыда, чувство, отъ котораго мнѣ, маленькому мальчику, хо-

тѣлось заломить руки, долго плакать и жаловаться комунибудь очень доброму, очень справедливому, очень нѣжному.

Все поразило меня въ этой дворницкой: и духота, и нечистота крохотной каморки, и то, что трое дѣтей были въ отрепьяхъ и съ жадностью вырывали у матери изъ рукъ куски чернаго хлѣба, и то, что въ каморкѣ не было кровати, и вся семья спала, какъ мнѣ сказали, на полу, какъ придется, вповалку...

Когда я вернулся домой, отецъ долго кричалъ на меня, назвалъ „кислятиной“, и именно съ этого вечера я почувствовалъ ненависть отца.

Отецъ, а съ нимъ и всѣ домашніе, и всѣ родственники не въ шутку увѣряли всѣхъ знакомыхъ, что со времени паденія черезъ окно, со мной произошло „что то неладное“. Неладнымъ казалось имъ то, что я почти никогда не смѣялся, рѣдко разговаривалъ съ кѣмънибудь и иногда по цѣлымъ вечерамъ расхаживалъ, хромя, въ темнотѣ большой дѣтской. А вѣдь дѣлалъ я все это лишь потому, что мысль о затхлой каморкѣ, мысль о впервые видѣнной нищетѣ рѣдко покидала мою встревоженную голову. Значить неладными были уже мои мысли.

Какъ разъ въ это время отецъ обратилъ вниманіе домашняго врача на мою склонность къ одиночеству, и тотъ, въ видѣ противодѣйствія дурнымъ привычкамъ, развиваемымъ уединеніемъ, прописалъ мнѣ занятіе живописью. Мнѣ взяли учителя. Я съ шести лѣтъ проявлялъ замѣтныя способности къ рисованію, и занятія мои пошли недурно. Я полюбилъ рисовать и работалъ много и настойчиво. Но живопись не затемняла впечатлѣній, выносимыхъ мною изъ смраднаго подвального жилища, которое я посѣщалъ все чаще и чаще; я любилъ искусство, но всѣмъ дѣтскимъ существомъ, всецѣло принадлежалъ еще жизни. Позже все это измѣнилось...

Десяти лѣтъ меня отдали въ гимназію. Учился я скверно, къ гимназическимъ наукамъ чувствовалъ

почти отвращеніе, и всегда мнѣ почему то казалось, что учителя говорятъ „не то“ что слѣдуетъ. Отецъ часто кричалъ на меня, называлъ теперь уже „хромой кислотинной“, а иногда даже билъ. Помню—я съ трудомъ сдерживалъ себя при такихъ сценахъ. Блѣдный, сжимая кулаки, выслушивалъ я крики, а потомъ, уйдя въ свою комнату, на цѣлые часы пускался хромать изъ угла въ уголъ; и иногда, расхаживая такъ, я вдругъ замѣчалъ, что невольно останавливаюсь въ серединѣ комнаты, въ задумчивости жестикулируя руками и тихо, но убѣдительно шепчу что-то: дикіе планы мести вспыхивали въ такія минуты въ моемъ мозгу... планы, которые, сбывшись, должны были жестоко наказать всѣхъ этихъ людей, такихъ злыхъ и самодовольныхъ, и сразу сдѣлать счастливыми и радостными всѣхъ тѣхъ людей, обитавшихъ подвалы, людей, такихъ несчастныхъ и жалкихъ...

Къ отцу и къ матери я ровно ничего не чувствовалъ, отца, даже, пожалуй, не любилъ и совсѣмъ не зналъ своихъ двухъ сестеръ, которыхъ тщательно отдѣляли и оберегали отъ меня. Не любилъ я и всѣхъ тѣхъ знакомыхъ, что веселые, шумливые приходили въ домъ къ отцу, а съ приходившими мальчиками—сверстниками и вовсе чувствовалъ себя скверно, не по-себѣ, такъ какъ не зналъ, о чемъ говорить съ ними—такими чуждыми казались мнѣ, ребенку, ихъ ребячьи интересы. Съ тринадцати лѣтъ у меня появились многочисленные дворовые знакомые—дѣти дворника, сапожника и мастеровыхъ, обитавшихъ въ подвалахъ. Я часто по вечерамъ ускользалъ изъ дому и проводилъ долгіе часы въ нищенскихъ каморкахъ моихъ товарищей. Съ пятнадцати лѣтъ я уже самовольно распоряжался всѣмъ моимъ временемъ, а къ семнадцати кончилось мое пребываніе въ домѣ отца.

Я ушелъ изъ дому послѣ того, какъ въ первый разъ нарушилъ молчаніе, съ какимъ обыкновенно выслушивалъ крики и ругань отца. Отецъ тогда крикнулъ:

— Я не хочу такого образа жизни! слышишь!?.—

А я, сжавъ кулаки и затопавъ ногами, тоже вдругъ, задыхаясь, крикнулъ:

— Ты не хочешь, а я хочу, представъ себѣ?!

Разрывъ съ семьей былъ первымъ шагомъ къ разрыву со всѣмъ внѣшнимъ міромъ. Оставшись одинъ, я сразу понялъ, что не избѣгну разрушительной власти мыслей... мыслей, тянувшихся въ мозгу безконечной, неразрѣшимой вереницей. Это были обыкновенныя человѣческія мысли, мысли человѣка о жизни—набатъ—тревога разума и совѣсти. Но онѣ, эти простыя мысли, какъ бы съ особенной яростью напали на меня, на одинокаго, бѣшеннымъ напоромъ лишили возможности сопротивляться, связали еще несозрѣвшій, слабый мозгъ тупой силой своей безысходности и подчинили себѣ все мое существо настолько, что какъ бы убили во мнѣ жизнь тѣла. И дѣйствительно, я всегда сознавалъ въ себѣ одну черту, которая строго осуждалась всѣми окружающими—это было полнѣйшее неумѣніе да и нежеланіе заботиться о поддержкѣ своего существованія. Я ушелъ изъ дому съ пятнадцатью рублями въ карманѣ—мнѣ нужны были уроки, но я и не думалъ объ ихъ подысканіи; снявъ себѣ комнату, я съ перваго же дня, возвратившись изъ гимназіи, уѣлся читать какую то книгу. Одинъ изъ товарищей по классу лишь случайно узналъ о моемъ положеніи и передалъ мнѣ урокъ въ двадцать пять рублей. Ълъ я что попало, а иногда и вовсе за цѣлый день позабывалъ что-либо въ ротъ взять. А когда случайно мать присылала мнѣ денегъ, то онѣ или отдавались, или тратились на такія покупки, отъ которыхъ приходили въ ужасъ всѣ узнававшіе объ этомъ: такъ однажды, получивъ отъ матери къ Рождеству пятьдесятъ рублей, я въ сильно обтрепанной парѣ и дырявыхъ башмакахъ отправился съ этими деньгами въ мебельный магазинъ и потратилъ ихъ всѣ на хорошій письменный столъ, о которомъ такъ давно мечталъ, и который совершенно не шелъ къ моей

нищенской комнатѣ на четвертомъ этажѣ. Въ другой разъ я истратилъ немалыя деньги на гитару, вдругъ задумавъ, не умѣя играть, по вечерамъ дергать струны и подбирать нестройные аккорды... Но и въ эти юношескіе годы искусство играло въ моей жизни лишь второстепенную роль. Симпатичный старикъ-академикъ бесплатно продолжалъ давать мнѣ уроки. Я рисовалъ попрежнему много, увлекался даже... но больше всего времени все еще отнимало у меня мое знакомство, какъ и раньше, лишь подвально-чердачное—именно этимъ знакомствомъ, а не искусствомъ считалъ я себя связаннымъ съ жизнью. Но смрадные подвалы оставались смрадными подвалами, и, покидая ихъ и возвращаясь въ свою одинокую комнату, я снова и снова попадалъ въ заколдованный кругъ моихъ мыслей. Рабски плѣненный этими мыслями, я жилъ какъ лунатикъ, автоматически—машинально. Мать платила за меня въ гимназію, и я машинально кончилъ гимназію, мать платила въ университетъ, и я машинально кончилъ университетъ. Академію я кончилъ годомъ позже университета. Къ университетскимъ юридическимъ наукамъ, какъ и къ гимназическимъ, я не чувствовалъ никакого интереса, но учился, радуясь еще одной связи съ внѣшней жизнью... учился, чтобы платить этой жизни ту спасительную дань, безъ которой, быть можетъ, мое существованіе показалось бы страннымъ въ концѣ концовъ и мнѣ самому. И дѣйствительно, кончивъ университетъ, я съ недоумѣніемъ спросилъ себя:

— Что будетъ дальше?—

Такъ какъ чувствовалъ себя совершенно неспособнымъ приняться за какое либо изъ тѣхъ дѣлъ, что на людскомъ нарѣчій называется карьерами....

.....

Двѣ, три странички,—и рассказана повѣсть лучшаго возраста жизни.

Почему это такъ?

Я родился въ безвременье: худшее, что видѣлъ я вокругъ себя, было—страданіе, лучшее—была лишь мысль, жизни—борьбы, жизни—творчества не было.

О, мой столъ, мои книги, о, моя мысль! я любилъ васъ недолго—лишь въ юношескіе годы. Позже же вы стали мнѣ ненавистны.

Моя мысль—это черная птица, гигантская, хищная, изъ злыхъ, невѣдомыхъ странъ прилетѣвшая. Хищнымъ клювомъ она прошибла мнѣ голову, злыми когтями разорвала мнѣ грудь, а крыльями черными скрыла отъ меня солнце: я жилъ въ сумеркахъ.....

III.

Я могъ бы исписать сотни страницъ, рассказывая о томъ, какъ изъ юноши-гражданина я постепенно превратился въ такъ называемаго художника чистаго искусства. Длинный тернистый путь душевныхъ переживаній художника лежитъ между этими двумя полюсами. Но я постараюсь не касаться этихъ душевныхъ переживаній, такъ какъ сомнѣваюсь въ ихъ типичности хотя бы даже для класса моихъ собратьевъ по кисти. И даже болѣе: мнѣ кажется совершенно неважнымъ именно то, что я живописецъ, а не литераторъ, актеръ или хотя бы адвокатъ, врачъ, судья... Тотъ, кто, какъ я, началъ жизнь тѣмъ, что въ безвременье, въ сумерки отдалъ сердце для закланія на алтарѣ народныхъ страданій, тотъ, въ томъ или другомъ видѣ, въ большей или меньшей степени и перемучился всѣмъ тѣмъ, чѣмъ перемучился я. И не все ли равно, сталъ ли онъ, сдавшись въ борьбѣ, рисовать небо, зелень и воду, лѣчить благородныхъ болѣзни, защищать благородныхъ мошенниковъ... или просто-на-просто пить водку? Да, онъ жилъ морально, какъ я... и подъ счастливой, знать, звѣздой родился—если кончить иначе...

Но если нѣтъ во мнѣ гордой претензіи публично

вскрывать язву профессиональных мукъ, то все-жъ, не боясь ни упрековъ въ нескромности, ни насмѣшекъ, расскажу исторію болѣзни *не во-время* чуткой души.

Мои юношескіе годы?

Я шелъ къ страданіямъ—я страдалъ самъ и былъ доволенъ. Подвалы эти, чердаки эти, нищета вся эта и весь грѣхъ этотъ стали моей жизнью.

Я говорилъ себѣ:

— Итакъ я иду туда, въ эту проклятую дыру, въ этотъ прокаженный очагъ, опять всѣми помыслами, всѣми чувствами втягиваюсь въ эту гнойную язву нищеты и разврата. И что-же? Отъ одной только мысли, что сегодня я буду тамъ, отъ одного только предчувствія силы мои удесятируются, я бодръ, я радостенъ, я почти счастливъ. Итакъ, это безповоротно—я люблю удары этого бича въ крови и грязи, я люблю быть случайно имъ захлестаннымъ, когда онъ съ холодною злобой стегаетъ свои законныя жертвы. Наглый! если чтишь ихъ законными, то прими и меня, какъ добровольную жертву. Звѣрь! если не можешь не бить, то смиренно молю тебя—не минуй и меня, а обвей и души отравленными петлями! Вѣдь все-таки! всѣмъ имъ, твоимъ прочимъ жертвамъ, я даю минуты спокойствія и счастья... а когда ты душишь меня за это кошмаромъ крови и слезъ, то я лишь наслаждаюсь! Ты мстишь мнѣ лишь наполовину—я сильнѣе тебя! Итакъ, захлестни же меня!..—

Но и это длилось недолго. Чѣмъ инымъ, какъ не самообманомъ, могло быть такое спокойствіе, и могло ли оно не разбиться вдребезги при первомъ остромъ соприкосновеніи съ чужой человѣческой жизнью.

И вотъ какъ все случилось:

Это было года два послѣ окончанія академіи. Я тогда только что выставилъ мои двѣ первыя серьезныя работы, и эти первыя, воплощенныя въ краскахъ, мысли и чувства, отданныя праздному любопытству публики, потянули меня подальше отъ людей,

поближе къ природѣ. Я поселился тогда какъ разъ въ той самой деревенькѣ, гдѣ живу снова и теперь... Однажды утромъ почтальонъ принесъ мнѣ письмо. Изъ конверта вынулъ я два отдѣльныхъ клочка бумаги—одинъ былъ просто листъ, неровно вырванный изъ тетрадки, а другой—измятый, испачканный полулистъ почтовой бумаги; исписаны они были разными почерками.

Вотъ содержаніе тетрадного листа, украшеннаго лишь возможными знаками препинанія.

„Дорогой Владимиръ Сергѣевичъ!

Сегодня 10 іюля прочетавъ еще Ваше письмо, рѣшила вамъ написать, хотя я думаю, что Вы не обратите на него нисколько Вашего вниманія, за то что не отвѣтила Вамъ. Но обстоятельства такъ сложились, что написала, а отослать не могу. Такъ Вы должны были понять, какую я вила въ то время жизнь, хотя и теперь не лучше: въ городскомъ саду каждый день, только одно что не пьяная. Мнѣ бы очень хотѣлось туда не ходить, но не могу ничего сдѣлать съ собой. Въ моей головѣ зародились мысли, который такъ волнуютъ и волновали меня, за то что я Вамъ не отвѣтила и потеряла друга, а именно Васъ.

Итакъ Владимиръ Сергѣевичъ, если Вы получите мое письмо, то простите за то что я не отвѣтила. Прочетавъ другое письмо, Вы все заключите какую я вила въ то время жизнь, и надеюсь что примите вину на себя, за то что мнѣ не написали. Разъ если Вы взялись человѣка вывести на широкую дорогу, повѣрьте что вашъ бы совѣтъ былъ принятъ. Это тому челоѣку нечего совѣтовать, который Васъ не пойметъ, но я отлично Васъ понела, только одна причина и губетъ меня что мнѣ не за кого ухватиться. Родные, напимѣръ моя сестра, только не родная, гдѣ бы посовѣтовать, но она на оборотъ. Да очень имъ и нужно, платила бы только деньги а гдѣ ихъ биру, они ужъ это не спрашиваютъ. Общество, въ которомъ я вращаюсь, до добра не доводитъ: напимѣръ,

все садовые мальчишки только губят насъ. Съ Настей я вижусь, она у меня бываетъ каждый день. Когда я ей сказала что намѣрена Вамъ написать, она какъ-быто была протевъ того и высказала свое мненія что она протевъ этихъ переписокъ, однимъ словомъ она Вами недовольна, даже мы изо Васъ сней поругались. Володя, если Вы вздумаете написать и увидиться со мной, то я буду Васъ съ нетерпениемъ ждать. Мнѣ такъ скучно и у меня сердце дрожить, когда думаю что опять буду говорить съ Вами о человѣческой жизни, какъ нужно жить и какъ человеку выти на широкую дорогу. А то если Вы можете совсѣмъ не отвѣтите, то прощайте и простите что я Вамъ не отвѣтела.

Уважающая Васъ Маша Павлова“.

А вотъ и исписанный прямо, вкривь и вкосъ полулистъ почтовой бумаги;

„Милостивый Государь!

Дама Вашего сердца возсѣдаетъ у меня на колѣняхъ! Во всякую минуту готовъ дать Вамъ сатисфакцію на пистолетахъ, на рапирахъ, на чемъ угодно, чортъ побери! Просить она меня написать Вамъ эпистолію, эпитру, *passer moi le mot*... какъ кавалеръ, носящій мундиръ, не отказываю. Итакъ дама диктуетъ... кстати: изо рта у нея какъ изъ виннаго погреба!

Владимиръ дорогой! Сейчасъ мы въ гостяхъ у одного полковника, откуда и пишу. Дни провожу такъ же не нормально, днемъ сплю, а ночью... Пью много, послѣ чего, конечно, чувствуя себя скверно. Прощайте, цѣловать Васъ не смѣю, грязная, пьяная я... Сейчасъ идемъ чай пить. Настя выдумываетъ, что ей написать. Выдумала елки зеленя! Володька, какъ живешь? Полковникъ угощаетъ насъ коньякомъ. Машка твоя тоже пьетъ. Мы пьемъ за здоровье того, кто любитъ кого... Ура! пьянь! Маша кончила, а Настя начала! Володька, душка, приходи въ садъ слоновъ смотрѣть! Больше

писать не могу, писатель этого письма стал дурачиться. Онъ молоденькій офицерикъ, просто душка!!

Тутъ обрывался широкой размашистый почеркъ, и слѣдовали каракульки Маши:

„Володя прости Христа ради, я просила этого балвана написать Вамъ, а онъ Богъ знаетъ что тебѣ... Вамъ, пишеть, дурачится. Не сердись Христа ради, въ груди маея больно... какъ нахлишусь, какъ разридаюсь, легче станить. Твоя Маша“.

Письмо заканчивалось стихами, написанными опять размашистымъ почеркомъ:

„Я Васъ ждала,
Но Васъ все нѣтъ,
Межъ тѣмъ я жду
Отъ Васъ отвѣтъ.
Готовъ коньякъ!
Готовъ обѣдъ!

Полковникъ Рыло-Своротильскій“.

... Черезъ часъ деревенскій возница подвезъ меня къ полустанку. Двадцатью верстами дальше полустанка лежалъ небольшой уѣздный городишко, куда я и торопился. Взявъ себѣ билетъ, я пустился шагать взадъ и впередъ по платформѣ, ожидая поѣзда изъ Москвы.

Я былъ совсѣмъ одинъ на этой пустынной платформѣ, затерявшейся среди полей. А поля эти! Какими безпредѣльными громадами разлеглись они кругомъ, какъ они однообразны и какъ безшумны. Они передали мнѣ чувство одиночества и заброшенности, и я думалъ о моей жизни...

.. Но вотъ и поѣздъ. Маленькій, игрушечный среди этихъ огромныхъ полей, онъ, точно не двигаясь, стоитъ тамъ на горизонтѣ, и только все проясняющіеся клубы дыма говорятъ о его приближеніи. Нѣсколько долгихъ минутъ, во время которыхъ можно еще многое надумать... и вотъ онъ тихо и лѣнливо подплываетъ къ платформѣ, звякаетъ цѣпами и не-

хотя останавливается. Точно знаетъ, что и здѣсь, среди этихъ пустынныхъ полей, подберетъ еще одного жалкаго человѣка и помчитъ его къ новымъ страданіямъ...

.....

Это былъ не домъ, а цѣлое поселеніе. Принадлежалъ онъ купцу Рогожину и былъ извѣстенъ всѣмъ и каждому въ околоткѣ подъ названіемъ просто „Рогожа“. Когда то, во времена почтовыхъ трактовъ, это былъ російскій постоялый дворъ для проѣзжихъ, отправлявшихся изъ Москвы на ярмарку въ Нижній. Теперь въ немъ тоже жили люди, чья жизнь сплошь—скитанья, тѣ, что лишь въ подземныхъ, наглухо заколоченныхъ ящикахъ отдохнуть отъ неудобствъ земныхъ постоялыхъ дворовъ...

Онъ былъ необыкновенно громаденъ и вмѣщалъ въ себѣ цѣлый рядъ общественныхъ учрежденій. Вся правая часть главнаго трехъ-этажнаго корпуса уходила подъ ночлежку. Въ ней ночевали прежде всего рабочіе и работницы трехъ фабрикъ городишка, лежавшаго въ пятнадцати минутахъ. Двѣ изъ этихъ фабрикъ принадлежали ему же, купцу Рогожину, а купецъ Рогожинъ былъ христіаниномъ и благодѣтелемъ большой руки; онъ совсѣмъ мало вычиталъ изъ заработка своихъ рабочихъ, куда меньше, чѣмъ имъ обошлась бы квартира, и зато представлялъ имъ въ полное распоряженіе свою ночлежку. Давала ночлежка пріютъ еще цѣлому ряду другихъ лицъ, роль которыхъ здѣсь подъ луной какъ слѣдуетъ понималась лишь тѣми самыми рабочими тогда, когда они съ купцомъ Рогожинымъ о заработкѣ сговаривались. Что это были за люди—трудно сказать. Да и стоитъ ли вспоминать о нихъ безъ причины вродѣ убійства съ цѣлью грабежа на большой дорогѣ.

Лѣвая часть корпуса уходила подъ номера. Здѣсь жили рабочіе съ семьями и нѣкоторые одиночки, питавшіе непонятное отвращеніе къ гостепріимному

крову ночлежки... а это путешествіе изъ праваго корпуса въ лѣвый, а иногда и наоборотъ, купцомъ Рогожинымъ не возбранялось—вѣдь сказано уже, что былъ онъ христіаниномъ и благодѣтелемъ большой руки. Жило въ номерахъ еще множество странныхъ, безрадостныхъ созданій, скучающихъ днемъ и ищущихъ счастья лишь въ часъ, когда солнце, послѣ цѣлаго дня созерцанія земли, краснѣетъ за нее и безрелигиозно отворачивается.

Входъ въ ночлежку былъ со двора, и дворъ этотъ, громадный, съ цѣлыми переулками и тупиками, вмѣщалъ въ себѣ всѣ прочія постройки „Рогожи“. Тутъ былъ прежде всего цѣлый рядъ амбаровъ и сараевъ для склада Рогожинскихъ товаровъ: рабочіе, возвращавшіеся вечеромъ въ ночлежку въ драныхъ рубахахъ и драныхъ штанахъ, могли видѣть, что трудъ ихъ не пропадаетъ даромъ, и хозяйскіе амбары все туже наполняются ситцами, полотнами, сукнами. За амбарами тянулись конюшни ломовыхъ лошадей, и, наконецъ, въ самомъ лѣвомъ углу двора высился еще одинъ мрачный старый флигель, одного цвѣта съ главнымъ корпусомъ. Верхніе два этажа этого флигеля уходили подъ контору и квартиры служащихъ при ней, а подвальный этажъ составлялъ какъ бы филиальное отдѣленіе ночлежки. Собственно отдѣленіе ночлежки занимало лишь три большія комнаты, въ которыхъ жили плотники, вѣчно чинившіе „Рогожу“, нагрузчики и другіе рабочіе двора. Дальше нѣсколько меньшихъ комнатъ обитались прачками и портными, и, наконецъ, цѣлый рядъ комнатъ уходилъ на квартиры отдѣльных семействъ, живущихъ маленькими ордами и все-жъ объявляющихъ записками на домовыхъ воротахъ о томъ, что „атдаеца уголь скойкой“. Въ подвалѣ всегда было дымно и шумно: изъ прачешныхъ клубами валилъ паръ, изъ комнатъ портныхъ—угаръ; изъ кухни, въ концѣ коридора, то и другое вмѣстѣ; но зато и прачки, и портные, и бабы на кухнѣ съ одинаковымъ увлеченіемъ съ утра до ночи пѣли... нестройно, кри-

кливо, визгливо голосами—какъ не пѣть въ темномъ, сыромъ подвалѣ, вдали отъ неба, вдали отъ солнца, безъ свѣта? Поется тутъ, поется поневоля да еще какъ-то слезно, невесело поется...

Но это не все: еще одно общественное учрежденіе находило себѣ покровительственный пріютъ въ владѣніяхъ купца Рогожина, и мудрено обойти его молчаніемъ. Чтобы добраться до него, нужно было пройти весь дворъ, завернуть за конюшнями направо, оставить позади всѣ прочія постройки „Рогожи“ и выйти на небольшую площадку съ десяткомъ жиденькихъ деревцовъ. Здѣсь, въ тѣни этихъ деревцовъ, кокетливо тянулся низенькій одноэтажный флигель, сіявшій бѣлизной и свѣжестью красокъ. Красныя шелковыя занавѣски всегда были спущены въ окнахъ этого флигеля. Тихо и сонно было въ немъ днемъ, а съ вечера вдругъ сквозь окна пробивались наружу женскій смѣхъ, звуки рояля и скрипки, и ребятишки со всего двора, тщетно отгоняемые, облѣпляли эти окна и пытались сквозь занавѣски разглядѣть то, что творилось внутри. Это ихъ тѣмъ болѣе интересовало, что отъ воротъ двора къ этому флигелю вела особая дорога, по которой часто изъ города пріѣзжали на извозчикахъ важные господа, или пѣшкомъ приходили шумныя, веселыя компаніи молодежи. И тѣ изъ ребятъ, которымъ удавалось захватить щелочку между занавѣской и подоконникомъ, съ трепетнымъ восторгомъ видѣли ярко освѣщенныя комнаты, дѣвицъ въ короткихъ цвѣтныхъ платьяхъ, полуголыхъ, и тѣхъ же самыхъ прибывшихъ господъ: и дѣвицы, и господа были какъ будто очень веселы—они или танцевали, или такъ себѣ шутили, невинно забавлялись... Хозяйка этого заведенія была толстая краснощекая дама, ходившая въ яркихъ платьяхъ, шляпахъ съ перьями и съ громаднымъ ридикулемъ въ рукахъ. Говорятъ, въ городѣ у нея былъ собственный домъ и дѣти, учившіяся въ гимназіи. Дѣвицы, обитавшія во флигелѣ,

называли ее — мадамъ Анжу, а обитатели ночлежки при видѣ ея говорили: „анъ-жуликъ плыветъ“!

Таковой была „Рогожа“. Главный корпусъ съ начлежками и номерами былъ старъ, усталъ служить людямъ и, кажется, перезнавъ ихъ множество на своемъ вѣку, не любилъ и собирался задавить въ одинъ прекрасный день, обрушившись на нихъ всѣми своими старыми прогнившими костями. Неопредѣленно грязнаго цвѣта, со сломанными стеклами, безъ капли жизни, онъ подъ лучшимъ весеннимъ солнцемъ былъ мрачно непривѣтливъ. Не ласковъ былъ и дворъ, всегда полный затхлымъ запахомъ ночлежки, помойныхъ ямъ и всевозможныхъ отбросовъ жилья, людей и лошадей. Не новы были и амбары, сарай и флигель съ конторой—младшій братъ ночлежки. И только миловидный, бѣленькій домикъ, скромно притаившійся подъ деревьями, былъ совершенно новехонекъ и своей свѣженькой зеленой крышей и дѣвически стыдливими занавѣсками на окнахъ дышалъ невинностью, дѣтской наивностью, и говорилъ о томъ, что жизнь справедлива, что она никогда не испугаетъ васъ ужасамъ нищеты и грязи, не успокоивъ сейчасъ же отраднымъ видомъ чистоты, веселья и танцевъ...

.

Было девять часовъ утра, когда я подошелъ къ воротамъ „Рогожи“. Громадный дворъ уже жилъ своей обычной денной жизнью: гулко ревѣлъ криками нагрузчиковъ, скрипомъ телѣгъ, ржаніемъ лошадей и тяжело дышалъ пылью. Я торопливо проскользнулъ и мимо воротъ, и мимо начлежки, боясь, встрѣтивъ кого нибудь, быть задержаннымъ—добрыхъ знакомыхъ въ „Рогожѣ“ у меня была пропасть. Входя въ низкія темныя сѣни номеровъ, я былъ ужъ весь покоренъ обычнымъ, хорошо знакомымъ мнѣ чувствомъ—отравленнымъ чувствомъ радости отъ сознанія близости страданій и предчувствія страданій и для самого себя. На лѣстницѣ меня охватилъ всегдаш-

ній удушливо-кислый запахъ номеровъ: смѣсь сырости, выливаемыхъ на кухнѣ помой и угара отъ самоваровъ. Поднявшись по этой совершенно темной лѣстницѣ на третій этажъ, я ошупью покрался по такому же темному корридору, вдругъ оступился чуть ли не на цѣлый аршинъ ниже и наткнулся на красную, мокрую отъ сырости, стѣну. Здѣсь, завернувъ въ новый узкій мокрый корридоръ, еле освѣщенный крохотной коптившей и чадившей лампочкой, я наконецъ нашелъ нужную дверь и рѣзко постучался... Никто не откликнулся, и тогда я, снова стукнувъ, сказалъ невѣрнымъ отъ волненія голосомъ:

— Маша, это я... отворите!

Отвѣта снова не послѣдовало, но зато дверь отворилась въ сосѣднемъ номерѣ, и изъ темноты меня окрикнулъ раздраженный женскій голосъ:

— Это вы къ дѣвчонкамъ-то? Не достучитесь вы... онѣ всего и есть-то часа три, какъ вернулись, шкурехи... Да вамъ что нужно, безобразничать? такъ не мѣсто здѣсь... тоже вѣдь люди живутъ!..—

Нѣтъ, мнѣ, матушка, не безобразничать, я по хорошему дѣлу пришелъ...

— А ежели по дѣлу, такъ толкните ее, дверь-то, она не заперта... Онѣ небось дрыхнуть, шлюхи тасканныя!—добавила она и, выйдя изъ темноты, подошла ко мнѣ и рѣзкимъ и злымъ движеніемъ толкнула предо мной дверь.

— Вотъ онѣ, прелести-то ваши!—

И снова съ руганью скрылась въ темнотѣ. Я остался одинъ.

Острый запахъ рвоты и водки ударилъ мнѣ въ лицо изъ пріоткрытой двери. Я заглянулъ въ комнату... и въ нерѣшительности остановился. На кровати, стоявшей почти около самой двери, лежали двѣ молодыя дѣвушки. Онѣ были въ рубахахъ, въ нижнихъ юбкахъ и спали обнявшись и положивъ другъ на друга голыя, грязныя ноги; лица ихъ были землисто-блѣдныя, потныя и испачканныя рвотой.

Рвота эта покрывала подушки и зіяла на полу большой зловонной лужей. Башмаки, пестрая шляпки и платья валялись въ безпорядкѣ на полу и на стульяхъ, а на столѣ у окна валялись сосѣдки колбасы, огурцовъ, хлѣба, и стояли цѣлымъ рядомъ полураспитыя бутылки, пивныя и водочныя...

Инстинктивно я отшатнулся было изъ комнаты, но сейчасъ же овладѣлъ собой. Вынувъ изъ кармана записную книжку, я вырвалъ изъ нея клочекъ бумаги и на дверяхъ написалъ записку:

„Маша! Я былъ у васъ, видѣлъ васъ нехорошую, безъ стыда, безъ совѣсти... Я приду часа черезъ два говорить о томъ, какъ вамъ себя спасти“.

Послѣ этого, стукнувъ къ ворчливой сосѣдкѣ, я сунулъ ей въ руку какую то монету и попросилъ черезъ часъ передать записку Машѣ.

И тогда лишь, снова въ темнотѣ и сырости, преслѣдуемый запахомъ рвоты и водки, опять сталъ красться къ выходу...

На этотъ разъ я вошелъ въ него, въ этотъ дворъ нищеты и богатства. Еще въ воротахъ меня замѣтили, и цѣлая толпа босоногихъ, оборванныхъ ребятишекъ—мальчиковъ и дѣвочекъ—окружила меня. Они съ крикомъ прыгали вокругъ меня и, наперерывъ галдя, тянули за рукавъ.

— Къ намъ... къ намъ, добрый баринъ!

Голубчикъ нашъ... Владимиръ Сергѣевичъ... къ намъ!—

Я насилу уgomонилъ ихъ, сказавъ, что зайду ко всѣмъ, и пошелъ вслѣдъ за одной изъ дѣвочекъ, все время громче другихъ кричавшей:

— Батъка боленъ, вотъ те Христось боленъ... Все мы ждали васъ, ждали... о-охъ какъ ждали!—

Она такъ и вцѣпилась въ меня, эта маленькая худая замарашка, и тяня за собой, все повторяла возбужденно, задыхаясь:

— Вотъ-те Христось, боленъ онъ, батъка-то... сс-

всѣмъ помираетъ, ей Богу... Мамка все жалится, плачетъ... жрать, говорить, теперь неча! -

Она подвела меня къ филиальному отдѣленію ночлежки. И я спустился въ этоть подвалъ, долго ходилъ по его затхлымъ жилищамъ и всюду чувствовалъ громадность встрѣчавшаго меня горя и ничтожность моей помощи. И не только изъ жилищъ — угловъ тѣхъ людей, что звали меня, нуждались во мнѣ, выглядывалъ на меня многоголовый звѣрь живой человѣческой муки — онъ былъ всюду этоть звѣрь, и даже тамъ, гдѣ сейчасъ могли обойтись безъ помощи.

IV.

На этоть разъ меня ждали.

Еще въ темнотѣ мокраго корридора двѣ дрожащія маленькія руки смущенно поймали мою руку, и дрожащій жалкій голосъ съ трудомъ выговорилъ:

— Владимиръ Сергѣевичъ, вы это... вы? Простите ли вы меня, Господи!—

Меня ждали, съ трепетомъ и боязнью ждали. Объ этомъ говорила и эта комната, еще только что полная порока, а теперь старательно и наивно прятавшая свое прошлое: полъ былъ совсѣмъ еще сырой — его только что вымыли; чистое бѣлье на кровати, чистая простыня, затягивающая платья на стѣнѣ, чистая бѣлая скатерть на столѣ, букетъ только что купленныхъ фіалокъ на этой скатерти... о, какъ все это старалось, какъ выбивалось изъ силъ, чтобы быть чистымъ!.. чистымъ!.. А рѣзкій запахъ одеколона, что подымался съ пола, съ кровати, со стѣнъ и смѣшивался со слабымъ ароматомъ фіалокъ... о, этоть запахъ, какъ былъ онъ настойчивъ и наивенъ, наивенъ до грубости! Все *то* было куда-то попрятаное, запиханое, съ позоромъ выгнано вонъ... и солнце, пробивавшееся черезъ опущенную на маленькомъ окнѣ занавѣску, освѣщало лишь эти цвѣты на столѣ,

нѣсколько фотографическихъ карточекъ на стѣнахъ да крохотный туалетный столикъ—табуретъ, кажется, обитый розовой матеріей—со сломаннымъ, чисто вытертымъ зеркаломъ, съ двумя, тремя флаконами духовъ, съ коробкой пудры...

Мы вошли въ комнату, я подошелъ къ столу у окна, положилъ на него шляпу, палку и обернулся къ ней. Она продолжала стоять не шевелясь около двери, глаза ея были тяжело опущены къ полу, и вся она, всѣмъ своимъ видомъ, говорила: „я не та, что вы только-что видѣли на кровати, я не та... неужели вы не позволите мнѣ солгать вамъ, что я чиста, что я *порядочна*!“ Объ этомъ просило и простое, сѣрое, не совсѣмъ длинное платье, по-дѣтски обтягивавшее ея маленькую фигуру, и тоненькія черныя туфли съ бантиками, и полумокрые волосы, гладко стянутые назадъ и собранные черной бархаткой на самой маковкѣ въ небольшой тугой клубокъ, и желтовато-блѣдное исхудалое лицо, съ котораго старательно были стерты всякіе слѣды бѣлилъ и румянъ.

Плечи ея были слишкомъ узки, грудь слишкомъ развита, но вся она была тонка, изящна, и маленькое лицо ея, измятое, больное, съ нѣжными чертами и робкими синими глазами, не выражало ни буйностей ни дикихъ страстей—на немъ была лишь печать врожденнаго разврата и недоумѣнія передъ жизнью.

— Здравствуйте, Маша... здравствуйте-же!..—

Я подошелъ къ ней и взялъ ея руки въ свои.

Она ничего не отвѣтила, только лицо ея чуть-чуть покраснѣло и скривилось въ жалкую, пришибленную улыбку.

— Ну, полноте же, Маша... давайте говорить, бесѣдовать!..—

Я подвелъ ее къ столу. Она безжизненно опустилась на стулъ, беззвучно пошевелила губами, и двѣ большія слезы быстро скатились по безцвѣтнымъ, измятымъ щекамъ.

— Ну, вотъ видите...—началъ я—...вотъ видите,

Маша, вы и страдаете... Развѣ можно такъ жить... развѣ можно?!

И я вздохнулъ и развелъ руками.

— Почему бы вамъ не перемѣнить образа жизни?.. совсѣмъ, совсѣмъ перемѣнить?—

— Не могу я...—еле слышно отвѣтила она и затеребила кончикъ скатерти.

— Не можете? Почему не можете?—

— Не могу, не могу я работать и только... не люблю работать...—

— Не любите работать? Почему же не любите, почему?—

Глаза ея рѣзко поднялись на меня—они уже были сухи, холодны и упрямы. И вдругъ она заговорила грубо, почти крикливо, и эта грубость совершенно не шла къ ея маленькому худому лицу, къ его еще за минуту приниженному выраженію.

— Не могу, не могу!.. Объяснить не знаю какъ, почему... а не могу!.. Скучно мнѣ, когда работаю... скучно... Работаешь-работаешь, день деньской спины не разогнешь, а вечеромъ придешь домой.. ни друзей, ни знакомыхъ... сидишь себѣ такъ... и некому тебя ни приласкать, ни приголубить... плачешь ты, душа надрывается... напьешься иной разъ и ляжешь спать... а на утро снова за работу... и такъ день за днемъ, день за днемъ... ужъ лучше и въ гробъ лечь... Работала я разъ, четыре мѣсяца работала, такъ и не замѣтила вовсе, какъ жила... все одна и одна, одна и одна... Съ дѣвчонками скучно вѣдь—не о чемъ и разговаривать, а изъ мужчинъ какъ пригласишь кого, такъ онъ сейчасъ пьянымъ напьется, безобразничаетъ, отъ себя не отпускаетъ... а ты вѣдь одна — одинешенька... безъ ласки живешь, безъ участія... ну вотъ и сдаешься... выпьешь съ нимъ... и все тутъ... А на утро послѣ этого такъ голова болитъ, и противно итти работать... и не подумать, какъ противно... и потомъ тошно все... тошно... жить тошно... на свѣтъ глядѣтъ тошно!..—

Она взмахнула руками, пальцы ея медленно опустились на голову, и локти бесильно со стуком повалились на столъ; потомъ, не спуская съ меня глазъ, съ лицомъ холоднымъ. безучастнымъ. она заплакала ровнымъ, отрывистымъ голосомъ, безъ вскрикиваний и почти не всхлипывая—такъ плачутъ усталые слабые люди надъ давно надоѣвшимъ горемъ.

— Тошно мнѣ!.. охъ тошно жить такъ!.. Вѣрите ли... вѣрите ли, Володичка, что не хочу я... не нарочно живу такъ... есть во мнѣ совѣсть, есть вѣдь, Господи!.. да не могу... не могу я!.. Какъ сажу, какъ работаю, какъ скучно это все кругомъ, такъ тянетъ меня, тянетъ куда то... сорвалась бы, кажется, съ мѣста, да, были бы крылья, такъ улетѣла бы... далеко, далеко улетѣла бы!..

Голова ея спустилась съ рукъ, сползла на столъ къ локтямъ, и равнодушный ровный плачь зазвучалъ глухо, сдавленно.

Я сидѣлъ не шевелясь, слушалъ ея плачь и ждалъ конца его, чтобы заговорить... заговорить, и говорить долго, краснорѣчиво и по возможности искренно о жизни, задачахъ жизни, о женской чести, объ отдыхѣ послѣ трудового дня...

И вдругъ всплеснувъ руками, дрожащая, робкая, со слабымъ крикомъ, точно невольно вырвавшимся изъ ея груди, она рванулась ко мнѣ:

— А вѣдь есть средство спасти меня... Владимиръ Сергѣевичъ... Володичка... есть вѣдь!.. да только...—

Она не договорила, она тряслась всѣмъ тѣломъ и, точно боясь, что я угадаю ея мысль, не спускала съ меня испуганно расширенныхъ, умоляющихъ глазъ.

— Да только что? что Маша? говорите!..—

— Говорить!.. говорить?.. правда-ли, Володичка... можно-ли говорить объ этомъ... можно ли, Господи?!—

— Ну да можно... нужно, Маша...—

— Нужно?.. правда что такъ?!—

Она рѣшилась. Со слабымъ стономъ, блѣдная-блѣдная, опустила на колѣни передъ моимъ стуломъ

и, вцѣпившись въ мои руки, заговорила тихо, спокойной, но всей душой, всѣми фибрами:

— Вотъ если бы вы... вотъ если бы вы, Володичка... Господи, если бы захотѣли... со мной... со мной... жить захотѣли... Вѣдь заботитесь вы обо мнѣ, такъ значитъ любите... а если любите, такъ... такъ почему бы и не жить со мной?.. хоть не навсегда, хоть такъ ненадолго.. немного пожить... годъ, другой... исправили бы меня... другимъ человѣкомъ сдѣлали... А я бы ходила за вами, берегла, ноги бы вамъ мыла... Господи, а работала бы я какъ!.. о-о-хъ, какъ работала!.. а вечеромъ приходила бы—вы бы встрѣчали меня... О жизни человѣческой говорили бы!..—

Она высказалась—была рада, замолчала и стала ласкаться ко мнѣ. И въ жалкихъ глазахъ ея, силившихся улыбнуться, было что-то жадное, голодное.

Я сказалъ:

— Маша, это невозможно... я буду 'приходить къ вамъ каждый день на весь вечеръ.—

Но вѣдь она уже ласкалась ко мнѣ, вѣдь она уже думала о моей ласкѣ и чувствовала себя женщиной:

— Да нѣтъ же, нѣтъ... не хочу я этого... ничего не хочу!.. Этакъ вы къ другой пойдете, съ другой жить станете... а я не хочу этого, не могу... Со мной поживите, со мной Володичка... хоть немного, хоть недолго... люблю я васъ, давно люблю... молюсь на васъ... исправилась бы я!..—

Что то похожее на скупость смутно заворочалось во мнѣ, и я, поблѣднѣвъ, рѣзко, почти зло прервалъ ее!

— Это невозможно! Маша, это невозможно! —

Но одновременно съ этимъ мысль, похожая на коварный неожиданный ударъ обухомъ по головѣ, вспыхнула во мнѣ:

— Жизнь!?. Да, отдать ей жизнь... и это одно спасетъ ее...—

Но я сейчас же отшатнулся отъ этой мысли, возненавидѣлъ ее: испугъ, отчаяніе и жалость къ самому себѣ охватили меня всего.

— Маша...—началь я было...

И вдругъ съ силой оторвалъ отъ себя ея руки, рванулъ со стула и, дрожащій, возмущенный, крикнулъ:

— Не смѣете! не смѣете!! у меня жизнь одна лишь... одна!..

Она снова глухо и безучастно плакала, припавъ головой къ стулу.

Я прошелся по комнатѣ, успокоился, хотѣлъ снова заговорить, утѣшить ее и не могъ; я чувствовалъ, что голосъ мой можетъ зазвучать лишь неискренно, лживо...

И черезъ нѣсколько минутъ, не подымая на нее глазъ, сталъ прощаться:

— Маша, не сердитесь.. я разстроены сегодня... завтра снова приѣду... мы договоримъ...—

Она ничего не возразила. Заплаканная, безсильная, она торопливо поднялась съ пола, торопливо подала мнѣ шляпу и палку и пошла провожать меня черезъ темноту коридора, къ лѣстницѣ. Здѣсь я снова пожалъ ея маленькую мягкую, мокрую отъ слезъ руку и остановился, думая, что она заговорить, Но она молчала, и тогда я сталъ спускаться...

И только когда я уже сошелъ съ лѣстницы, былъ у выхода и жадно вдыхалъ въ себя свѣжій воздухъ, только тогда, оттуда, сверху, изъ темноты снова зазвучалъ этотъ безцвѣтный, безжизненный плачъ, и усталый, надрывающійся голосъ крикнулъ:

— Прощайте, Владимиръ Сергѣевичъ, прощайте... не приходите больше! Не исправили вы меня, нѣтъ... а сгубили только... сгубили!..—

.

Довольно... ахъ, какъ довольно!

Зачѣмъ рвать сердце? зачѣмъ отдавать его вамъ на пожираніе? Какъ стать мужемъ одной, любовни-

комъ другой, батракомъ третьихъ, благодѣтелемъ четвертыхъ? Да и въ этомъ ли ваше счастье?

Но вѣдь было и время другое: израненнымъ вами я тогда еще не былъ, потому что не хотѣлъ знать жизни каждаго изъ васъ, желаній каждаго изъ васъ— я звалъ васъ бороться за то, что называютъ общимъ дѣломъ. А, помните ли вы это время? Вы, смѣющіеся надъ моей слабостью, гдѣ были вы, когда я былъ силенъ? Почему тогда, въ лучшемъ случаѣ, вы, от-
вернувшись, говорили: „юродивый! сумасшедшій!“, а въ худшемъ, избивали и выдавали тѣмъ, что васъ били? Довольно, ахъ какъ довольно!..

Ну, а вы... вы всѣ, тѣ, чьи не опущены руки, и чьи глаза, какъ мои, не потухли... вамъ смѣшна моя слабость? Но, охъ, какъ мнѣ понятна ваша радость, какъ понятно веселье вашихъ глазъ: о, въ какой восторгъ приходили вы отъ всего того, что писалъ я потомъ, когда ушелъ изъ „Рогожи“, и когда въ жизни моей ничего, кромѣ любви къ живописи, не осталось! о, какъ захлебывались вы моими страданіями!.. Еще бы! Счастливые зрители, удобно усѣвшіеся, изъ моихъ страданій вы сдѣлали себѣ наслажденіе! Еще бы! Понявъ мое горе, вы добились возможности сами имъ не страдать, а въ красивыхъ позахъ скованныхъ героевъ ждать того момента, когда... пройдетъ старина, и наступитъ время... Какъ часто, когда вы „любовались“ моими картинами, я, стоя позади васъ въ толпѣ, вдругъ испытывалъ съ трудомъ преодолимое желаніе схватить васъ за воротники вашихъ сюртуковъ, вытолкнуть изъ залы и крикнуть: вонъ! вонъ! не имѣете права смотрѣть!.. не имѣете права!..

Да, это было неизбежно; послѣдней утѣхой моей было лишь искусство. Вѣдь личная жизнь погибала еще тогда въ студенческой коморкѣ, когда былъ я наединѣ съ гигантской хищной птицей съ черными крыльями. Вѣдь ужъ тогда эти крылья трепыхали лишь изрѣдка, и сквозь ихъ трепетъ добрые всепрощающіе лучи солнца лишь порою живили меня. Род-

ные называли меня пропащимъ... и я самъ, дѣйствительно, хорошо помню эти ощущенія пропаданія, умиранія для жизни, для всего меня окружающаго. Помнится мнѣ, напримѣръ, одинъ вечеръ: вечеръ зимній, но теплый и мокрый. Душно, мрачно и скучно въ моемъ жалкомъ углу съ низкимъ, грязнымъ потолкомъ и мокрыми отъ сырости стѣнами. Я покидаю его и иду пройтись на городской бульваръ. Поздно, очень поздно... и никого уже на немъ нѣтъ. Деревья печальныя и голыя, точно осенью. Снѣгъ растаялъ, и драныя галоши съ хлюпаньемъ попадаютъ въ лужи. Мертво и скучно и здѣсь на бульварѣ. Городъ еще не спитъ... Тамъ, гдѣ-то вдали, онъ живетъ, волнуется и шумитъ однообразнымъ гуломъ и гамомъ городской суетни... но здѣсь все тихо, сонно и вяло. Какой онъ теперь жалкій и странный, этотъ какъ бы случайно Богомъ и людьми позабытый бульварчикъ. Гдѣ-то въ сторонѣ вдругъ рѣзко проскрипятъ полозья извозчичьихъ санокъ, доставшіе сквозь мокрый, рыхлый снѣгъ до камня... и снова все стихнетъ. Или вонъ совсѣмъ далеко, точно на другомъ свѣтѣ, кто-то тонкимъ, высокимъ теноромъ запѣлъ:

„Чу, идетъ, пришла жила-ан-на,
Разложилъ товаръ купецъ“.

Я сѣлъ на скамейку, съ которой жалобно капала на землю вода, и вынулъ изъ кармана папиросы. Чиркнула спичка и освѣтила на секунду краешекъ бульвара: безжизненно глянула на меня какая-то мутная лужица—и снова кругомъ мракъ, какъ будто внезапно сгустившійся. Сѣро и однообразно у меня на душѣ, а мысль работаетъ болѣзненно и неотвязчиво. Любовь горитъ, и я машинально снимаю картузъ; онъ падаетъ изъ рукъ на землю, и мнѣ лѣнь поднять его. Вспоминая слова неглупаго человѣка: „Скучно жить на этомъ свѣтѣ, господа“! А самому хочется лишь подтвердить: Ахъ, какъ скучно!

Слышатся шаги... ближе—и ко мнѣ подходитъ чело-
вѣкъ въ старомъ пальто и продранной мѣховой шапкѣ.

Лицо исхудалое, борода жиденькая, глаза глубоко ввалившиеся, и густыя нависшія брови. Отъ него пахнетъ водкой. Онъ садится рядомъ со мной и начинаетъ говорить:

— Душевно васъ попрошу, молодой человѣкъ, одолжите мнѣ одну или двѣ папиросы. Я могу, если желаете, уплатить за нихъ, такъ какъ, душевно вамъ сказать, я человѣкъ со средствами, то есть жить можно вольно. Я, если изволите знать, занимаюсь иконописью. То есть, напримѣръ, штампа, а то фанерка самая обыкновенная, опять же словно какъ бы литографія. Наклеивается... а баба приходитъ... и говоришь: ручная работа. Опять же вамъ скажу душевно, молодой человѣкъ, все дѣло рукъ человѣческихъ... и тѣ же географіи, геометріи и, извините за выраженіе, всякія магіи и чекминеи... И жизнь человѣческая дѣло рукъ человѣческихъ, и царство Божіе, когда настанетъ,—опять же дѣло рукъ человѣческихъ. Душевно вамъ сказать, молодой человѣкъ, и судьба то моя была въ моихъ рукахъ. Не понималъ я только этого, а теперь уже поздно. У меня въ молодости жена была, круглая, гладкая такая бабенка была... И обидѣла же она меня!.. У-у-у, не вспоминать лучше! Двѣсти рублей денегъ у меня украла и сбѣжала съ мастеромъ... у меня служилъ, молодой такой. Послѣ этого-то, душевно вамъ сказать, молодой человѣкъ я и залилъ... Виноватъ, вы какого цеха будете? А-а, студентъ... юристъ значить! Такъ вотъ послѣ этого, юристъ, душевно вамъ сказать, всю свою жизнь я приключенія жизни искалъ... Ужъ о турецкой кампаніи я и не говорю, нѣтъ, самъ по своей волѣ и въ Екатеринославъ, и въ Мариуполь, и на Кавказъ ѣздилъ... Но, душевно вамъ скажу, молодость моя уже прошла... Ужъ какъ я ужастна пью, то есть такъ ужастна, такъ ужастна... душевно вамъ скажу, просто ужастна! Пока сидишь еще ничего, а какъ всталъ... и тутъ ломить, и тамъ ломить, и весь больной, и приключеній жизни не надо, и въ могилу хочется.

У меня, юристь, плеврить. Я вѣдь тоже, душевно вамъ скажу, не дуракъ, и понимаю что насчетъ ежели болѣзни какой. Душевно вамъ говорю, юристь, извините, что побезпокоилъ...—

Онъ взялъ у меня папирасы, низко снялъ свою драную мѣховую шапку и пошелъ, покачиваясь, дальше. Я долго глядѣлъ въ темноту, ему вслѣдъ, и подумалъ: „не глупый человѣкъ, но жаль... пропащій“. Но потомъ мысли мои вернулись къ самому себѣ, и я еще подумалъ: „и у меня были и еще будутъ свои приключенія жизни, и свой Мариуполь, и свой Кавказъ... но и я, когда доживу до его лѣтъ, буду входить въ комнаты къ людямъ, меня будутъ слушать съ любезной и принужденной улыбкой, а когда я выйду, всѣ, деликатно помолчавъ, скажутъ:—„Онъ не глупый человѣкъ, но жаль... пропащій“...

V.

Безспорно эти три года были лучшимъ временемъ моей жизни. Скромная, но просторная дачная комната... уголъ стола съ двумя-тремя любимыми книгами подъ окномъ съ незатѣйливымъ деревенскимъ видомъ, открытая дверь на небольшую террасу, всю обросшую зеленью... свѣжій, только что натянутый холстъ, жадно ждущій мыслей-красокъ, и сами эти мысли, лежащія на холстѣ, какъ причудливыя, узорчатая тѣни прошлыхъ страданій... Мирные часы горячей работы—дорогое незабвенное время..

Разумѣется, все это было далеко отъ „Рогожи“ далеко и отъ Москвы, въ дальней глухой деревушкѣ Харьковской губерніи. Я пріѣхалъ туда черезъ мѣсяцъ послѣ того, какъ въ послѣдній разъ видѣлся съ Машей; то свиданіе, дѣйствительно, оказалось послѣднимъ—Маша исчезла куда-то, не оставивъ мнѣ адреса. Бѣдная Маша, конечно, я сдѣлалъ твою жизнь лишь несчастіе. Прости мнѣ... прости!

Къ концу второго года моего пребыванія въ деревнѣ случилось мнѣ познакомиться со священникомъ ближайшаго села.

Я полюбилъ изрѣдка по вечерамъ въ задумчивости добираться до села и попросту заходить къ этому старому, добродушному и ограниченному отцу Константину; я полюбилъ въ небольшомъ палисадникѣ поповскаго домика, вмѣстѣ съ батюшкой и его дочкой Марусей, пить жиденькій чай со сдобными крендельками.

Маруся съ ея изящной, тоненькой, какъ удѣвочки, фигуркой и громадными голубыми, непріятно-грустными глазами на задумчивомъ лицѣ всегда казалась мнѣ странной. Ни на отца своего, ни на меня она не обращала ровно никакого вниманія.

Когда я ни приходилъ, я всегда заставлялъ ее сидящей на ступенькахъ террасы, жадно устремившей грамадные глаза въ страницы лежащей на колѣняхъ книги.

— Здравствуте, Марья Константиновна!—бывало привѣтствовалъ я ее.

— Здравствуйте!—Маруся, не глядя, подавала тоненькую съ синими жилками руку и снова углублялась въ книгу.

А когда мы всѣ втроемъ пили чай, она ставила передъ собой чашку, садилась полуспиной къ отцу и ко мнѣ и читала, не дотрагиваясь до чая, пока онъ не становился совсѣмъ холоднымъ. Отецъ Константинъ выпивалъ иногда за это время по восьми стакановъ. Послѣ каждого Маруся, все такъ-же не подымая глазъ и переливая на подносъ, наливала новый стаканъ и молча подавала отцу. Я лѣниво тянулъ свой чай, перекидывался словами съ батюшкой и изрѣдка взглядывалъ на тонкій, блѣдный, съ синими жилками на лбу, профиль Маруси.

Однажды только она обратилась ко мнѣ—попросила принести ей книгъ. Я сталъ носить ей бывшихъ у меня въ деревнѣ беллетристовъ. Толстой, Дик-

кенсь, Успенскій—все это глоталось ею съ неимовѣрной жадностью и быстротой... Наступило второе лѣто нашего знакомства, а мнѣ еще ни разу не удалось разговориться съ ней. Наконецъ, какъ-то однажды я рѣшилъ пригласить ее къ себѣ—показать ей свои работы. Она нехотя согласилась.

Я не предупредилъ, какія именно работы собираюсь ей показывать, и когда ввелъ ее въ мою комнату съ десяткомъ несовсѣмъ законченныхъ полотень по стѣнамъ, то былъ пораженъ внезапной блѣдностью, покрывшей ее щеки.

— Это ваши картины?!—И ея громадные глаза съ такимъ упорнымъ удивленіемъ остановились на мнѣ, что я почувствовалъ себя неловко.

— Вы художникъ?!—Она снова долго и внимательно, какъ диковинку, рассматривала меня и потомъ лишь повернулась, наконецъ, и къ картинамъ.

Послѣ этого она стала заглядывать ко мнѣ почти ежедневно и цѣлые часы проводила передъ моими полотнами. А за чаемъ я теперь иногда замѣчалъ, какъ медленно подымались ея рѣсницы, и глаза ея съ восторгомъ и удивленіемъ подолгу застывали на мнѣ.

Какъ то разъ, вскорѣ послѣ этого, я впервые за все время знакомства засталъ ее безъ книги. Она сидѣла по обыкновенію на ступенькахъ террасы, блѣдныя, тонкія руки ея судорожно сжимали голову, а глаза лихорадочно-возбужденно глядѣли на землю. Въ такомъ положеніи она просидѣла весь вечеръ. Собираясь уходить, я простился и направился къ калиткѣ. Неожиданно она окликнула меня. Я обернулся... Такою я никогда не видалъ ея: лицо, залитое густой краской, выражало смущеніе, глаза робко, боязливо смотрѣли на меня.

— Владимиръ Сергѣевичъ... я пойду васъ проводить... хотите?—

Въ этотъ вечеръ мы впервые вмѣстѣ гуляли. Прошли небольшой рѣденькій лѣсъ, завернули за

кладбище съ сумрачно бѣлѣвшими памятниками и вышли къ пруду, сторому и спокойному. Смеркалось. Прудъ блестѣлъ, какъ брошенный кусокъ зеркала, а кусты, что покрыли его заснувшіе отлогіе берега, наминали черныхъ барашковъ, согнанныхъ рожкомъ на водопой. Чу!.. не прозвучитъ ли онъ, этотъ рожокъ, невидимый и таинственный? не заплачетъ ли вдругъ среди печали деревенскаго вечера? не скажетъ ли робко и цѣломудренно одну небольшую грустную истину о русской жизни?...

Воздухъ застылъ... онъ темень и сѣрѣетъ лишь между деревьями... они тоже темны, эти деревья вокругъ церковной ограды, и снова сѣрѣетъ что-то... это колоколенка церкви, тамъ, между могилами... Пахнетъ сѣномъ и только-что выпавшей росой... Все груститъ, и все ждетъ грусти... Какъ не прозвучать тебѣ, невидимый рожокъ? какъ не заплакать таинственно?...

— Славный, Марья Константиновна, вечеръ!—проговорилъ я и снялъ шляпу.

Съ минуту не послѣдовало отвѣта... но вдругъ Маруся тихо разсмѣялась какимъ то страннымъ восторженнымъ смѣхомъ; а переставъ смѣяться—заговорила. Она говорила долго, порой смолкая и снова начиная, она просто и откровенно рассказывала мнѣ о своей безрадостной молодости въ домѣ добродушнаго, но ограниченнаго и грубоватаго отца... о тоскливыхъ, сѣрыхъ дняхъ, что похожи всѣ одинъ на другой, объ одинокихъ вечерахъ, когда не къ кому прилажаться, когда некому повѣдать дѣвичью думу...

... Съ этого дня мы каждый вечеръ гуляли вмѣстѣ, и однажды, когда мы сидѣли подъ деревомъ, и я снималъ съ ея плеча древеснаго червяка, она неожиданно схватила мою руку, прижалась къ ней щекой и, глядя на меня непріятно-жалостнымъ взглядомъ, прошептала:—люблю, люблю безумно... если покинете меня, утоплюсь!..—

А два мѣсяца спустя отъ разрыва сердца умеръ ея отецъ.

Послѣ похоронъ, слабо пожимая безжизненную руку Маруси и заглядывая въ ея жалкое лицо, я понималъ, что не пойду сейчасъ домой, а невольно послѣдую вслѣдъ за ней, въ маленькій палисадникъ опустѣвшаго поповскаго домика. И здѣсь, въ тѣни дерева, около балкона, мы сѣли и молчали, не глядя другъ на друга. Что связывало насъ?

Одно ли ея чувство? Врядъ ли зналъ это и я самъ, да и не объ этомъ я думалъ:—Куда и зачѣмъ мнѣ бѣжать отъ нея? Некуда и незачѣмъ. Мнѣ нравится ея тихая грусть, дѣтская нѣжность, робость ея души. Этого мало? Да, можетъ быть. Но гдѣ то дѣло, которое ждетъ меня, и которому она помѣшаетъ? Такого дѣла нѣтъ.—

И здѣсь, въ этомъ маленькомъ палисадникѣ, глядя на покривившійся балконъ, заглядывая въ полутемныя, прохладныя комнаты со старой мебелью и старыми вещами, прислушиваясь къ сонной тишинѣ деревни, да къ откуда-то доносящемуся скрипу веревки въ колодезь, я впервые смѣло сознался передъ самимъ собой: это ясно, если я что-либо еще люблю въ жизни, то это не борьбу, не волненіе, не шумъ...

— Какъ, неужели это такъ? Неужели это безповоротное?—И стукнуло сердце—стукнуло робко, но и тревожно, растерянно, и какъ бы спросило меня:— и тебѣ не стыдно?—

— А тамъ, за оградой садика? а *та жизнь?*.. вонъ она большая дорога, что ведетъ къ этимъ культурнымъ городамъ, къ центрамъ жизни...—

Я закрылъ глаза и необыкновенно ярко и выпукло увидѣлъ *ту жизнь* такой, какой она всегда была для меня: житейская сумятица, безтолочь, сплетенная изъ сѣренкихъ поползновеній совсѣмъ маленькихъ людей и пестрыхъ исканій людей чуточку побольше, безтолочь, тупо и упрямо отражающая нестройныя и неустойчивыя стремленія *честныхъ чудаковъ*...

То, что тревожно заныло во мнѣ, и что было похоже на стыдъ, теперь всколыхнулось и стало

холоднымъ и безстрастнымъ: это была уже грусть... грусть унылая, какъ шелестъ осеннихъ листьевъ. Я открылъ глаза, поспѣшно взявъ обѣ руки Маруси въ свои и сказалъ:

— Я одинокъ, и съ вами мнѣ будетъ отрадно и хорошо...—и заговорилъ о совмѣстной жизни...

Еще около двухъ лѣтъ прожилъ я съ Марусей въ деревнѣ. Маруся, ставъ женой, была счастлива и относилась ко мнѣ съ восторженнымъ благоговѣніемъ. Я тоже привязался къ ней.

Между тѣмъ извѣстность моя росла съ каждымъ днемъ; картины мои обращали вниманіе критики и публики, я читалъ о себѣ въ газетахъ, журналахъ, зналъ, что тамъ, въ этихъ самыхъ центрахъ жизни, обо мнѣ говорятъ, обо мнѣ спорятъ... зналъ я, словомъ, что нѣсколько вліяю на тотъ самый водоворотъ жизни, отъ котораго когда-то чувствовалъ себя утомленнымъ, и отъ котораго я уже отдалился, ставъ только его наблюдателемъ. И когда черезъ два года мнѣ надоѣла деревня, и я вмѣстѣ съ Марусей переехалъ въ Москву, то здѣсь меня сразу охватили тѣ чувства, которыя сильно пошатнули наши добрыя отношенія. Водоротъ жизни испугалъ меня: я растерялся передъ той массой новыхъ вопросовъ, которые возникали у меня при наблюденіи этого водоворота, и съ ужасомъ сознавалъ, что не сумѣю безстрастно отнестись къ отсутствію связи между тѣмъ, что изображалъ я на моихъ полотнахъ, и тѣмъ, что начиналось твориться вокругъ меня, въ жизни. Что-то измѣнялось для меня въ этой жизни... что-то измѣнялось. Сумятица оставалась сумятицей, безтолочь—безтолочью, но за ними что-то измѣнялось... Еще тихо было вездѣ... ахъ, какъ было тихо! Еще томленія пришибленнаго разума и уязвленной совѣсти въ смрадной духотѣ насилія ничто не нарушало. А лица тѣхъ, что слишкомъ утомились... ахъ эти искривленные блѣдныя лица! они еще улыбались жалобно, просяще, безъ вѣры въ самихъ себя... и тихо было

вездѣ... Но въ этой тишинѣ вдругъ брызгала кровь, молодая, праведная, и глухо падали отдѣльныя безвѣстныя тѣла. И по тому, что по этимъ тѣламъ украдкой плакали, и жалкія лица минутами вдругъ наливались гнѣвомъ, всѣмъ было ясно, что гдѣ-то за сумятицей и безтолочью растеть простая, но необыкновенно мощная сила. Что-то измѣнялось въ этой жизни...

Но въ моей собственной жизни ничто не измѣнялось. Все старо было въ ней, и казалась она мнѣ теперь уже не спокойной, но сѣрой и однообразной проволочкой времени. И въ это время и начался разладъ съ Марусей. Ея однообразный характеръ, ея смѣшное обожаніе, доходившее до подобострастія, въ это время, когда я не любилъ ни себя, ни своихъ работъ, раздражали меня. Всего же больше раздражало меня то, что Маруся считала себя несчастной только потому, что я потерялъ свое спокойствіе. Между тѣмъ я не хотѣлъ считать потерю спокойствія несчастіемъ: это должно было такъ случиться, и теперь надо только... начать новую жизнь, обрѣсти больше увѣренности въ самомъ себѣ, и тогда въ душѣ снова воцарится спокойствіе, уже другое, плодотворное. И дни, когда я особенно ясно ощущалъ то новое, мощное, что, для многихъ еще скрытое, уже билось и трепетало въ окружающей жизни, и когда я особенно мучительно уходилъ въ самого себя, отдаваясь поискамъ того настроенія, которое, вспыхнувъ во мнѣ, разомъ порветъ съ тоскливымъ прошлымъ, разомъ чудесно измѣнитъ жизнь и творчество и вдругъ толкнетъ къ какому то желанному дѣлу, здоровому, крѣпкому и радостному,—эти дни были днями Марусиныхъ страданій. Въ эти дни я не любилъ ничего, что напоминало мнѣ о прошлой жизни, и мучительны были для меня Марусина тоска и жалобныя сочувственные взгляды, которые она кидала на меня. Въ эти дни я любилъ оставаться наединѣ съ самимъ собой, вдругъ смѣяться тихо и сдавленно отъ избытка

внезапной радости, наполнявшей меня, да еще мечтать—и какъ боялся я сознаться въ этомъ мечтать о сильномъ, здоровомъ личномъ счастьѣ. Я рѣдко выходилъ изъ своей комнаты, а когда выходилъ, то молчалъ. Маруся по цѣлымъ днямъ плакала, а по вечерамъ цѣловала у меня руки, прося за что-то прощенія; я чувствовалъ себя безконечно виноватымъ передъ ней, называлъ себя подлецомъ и и все-таки... все-таки... наединѣ вдругъ тихо и сдавленно смѣялся своей радости.

Но бывали и другіе дни, такіе, когда я снова безсильно подчинялся всему старому. Долгія всхлипыванія Маруси въ сосѣдней комнатѣ... монотонный шумъ города за окномъ... и вотъ старая болѣзнь, властная въ своемъ уныніи, снова душила меня. Въ такія минуты мнѣ казалось, что та сумятица, та безтолочь которыхъ я такъ боялся карающе глядятъ на меня со всего того новаго и здороваго, чего я ждалъ отъ жизни. Тогда я кричалъ себѣ, что надо бѣжать, надо спастись, надо опять отдаться прежнимъ мыслямъ и чувствамъ, и имъ лишь однимъ. Въ такіе дни я бѣжалъ къ Марусѣ, просилъ у нея прощенія и ни на минуту не покидалъ ея... и въ одинъ изъ такихъ дней я снова уѣхалъ изъ Москвы. Купивъ въ семидесяти верстахъ отъ Москвы по Нижегородской дорогѣ, какъ разъ въ той самой деревнѣ, откуда ѣздилъ я въ „Рогожу“, небольшую усадьбу, я поселился тамъ съ Марусей и жилъ подавленный, растерянный, безпрестанно мучимый то старой болѣзнью—тѣнью сумятицы и безтолочи, то смутными поисками желаннаго дѣла, здороваго и радостнаго...

... И вдругъ это случилось. Изъ десятковъ тысячъ сломанныхъ отъ труда грудей со стономъ вырвалась та простая, но необыкновенно мощная сила. Рожденная кровью, она кровью же размылась, кровью воззвала къ сердцамъ, хлынула потокомъ въ разумъ и пронзительно крикнула надъ совѣстью тѣхъ, что жалобно и просяще улыбались: я кровь! И когда я услышалъ этотъ крикъ, то растерялся, какъ теряются дѣти,

заблудившіяся въ лѣсу, лишь испуганныя днемъ и охваченныя нѣмымъ ужасомъ съ наступленіемъ ночи. Остаться у себя въ усадьбѣ я не могъ, но куда ѣхать, что дѣлать—не зналъ. И какъ заблудившійся ребенокъ, отдавшись страху, бросается бѣжать наудачу, и бѣжитъ все прямо, чтобы только выбѣжать изъ лѣсу, такъ и я побѣжалъ... Я убѣжалъ за-границу, поселился въ небольшомъ мѣстечкѣ Швейцаріи, просилъ Марусю ни о чемъ не писать мнѣ, рѣшилъ не читать ни одной газеты, рѣшилъ ничего не знать, не видѣть—рѣшилъ снова отдаться лишь самому себѣ.

Черезъ полгода я вернулся къ Марусѣ и нашелъ ее исхудалой, измученной. Я не могъ взглянуть въ ея больные жалкіе глаза, такъ какъ чувствовалъ себя преступникомъ, но пробылъ съ ней лишь три мѣсяца и опять уѣхалъ, на этотъ разъ въ Ялту...

О, эти странствованія! о, эти бѣгства! Безумецъ, чего ждалъ ты отъ нихъ? Уѣзжалъ ты—и увозилъ съ собой старую тоску, старую болѣзнь... пріѣзжалъ обратно—и, какъ вѣрный стражникъ, какъ любящій свое дѣло тюремщикъ, она—тоска, она болѣзнь, неизмѣнная, вѣчная, была тутъ какъ тутъ, съ тобой, въ тебѣ. И не было этому конца... Ёхалъ ты, далеко-ли, близко-ли, одинъ-ли съ людьми-ли... а тамъ, въ глубинѣ души, какъ смутный кошмаръ, неустанно жилъ одинъ и тотъ же вопросъ:

— Посмотри, что вокругъ тебя? Жизнь и смерть, люди и звѣри. А ты, ты кто? почему ни съ жизнью, ни съ смертью? человекъ ли ты, звѣрь ли?—

И отвѣта не было.

VI.

На молу стоялъ я и глядѣлъ на море.

Гдѣ-то надъ городомъ серебрянымъ звономъ пробили куранты, и звукъ ихъ, таинственный и сказочный, прокатившись въ воздухѣ, замеръ далеко межъ горами. Ночь, вернувшись изъ дальняго странствія,

безшумно, властно опустилась на землю, и все вокруг помертвѣло. Заснули далекія горы, заснуло уставшее роптать море, задремали, колыхаясь, одинокія мачты, и задремалъ весь міръ подъ тѣнью кипарисовъ, вдругъ объятый чудеснымъ спокойствіемъ, Рядъ огней, печальныхъ, грустныхъ, меркнулъ удаляясь въ горы; а тамъ, гдѣ огни потухали, въ темнотѣ, безмолвно и величаво, точно мрачно-застывшіе боры-великаны, высились силуэты самихъ горъ. А цикады одиноко кричали, не нарушая, а олицетворяя тишину... Въ душѣ же моей было такъ тихо, такъ эпокойно-грустно, какъ бываетъ только, когда совершенно одинъ, ночью, стоишь и глядишь на море, позабывъ... все позабывъ, рѣшительно все. Кажется человѣку, что взялъ онъ свое суетно бившееся сердце и, не вздохнувъ, отдалъ его безвозвратно морю. А оно, море, всегда могучее, а теперь гордо притихшее, и не почувствовало этой новой жизни, канувшей въ него. И кажется человѣку, что раньше онъ и не жилъ, не лилъ слезъ и не искалъ убѣгавшаго счастья. И грустно такъ... грустно не отъ причины, не отъ горя, а грустно отъ грусти. Цикады одиноко шумятъ, не нарушая, а олицетворяя тишину, и кажется человѣку, что только теперь онъ живетъ, не нарушая, а олицетворяя жизнь природы...

Я стоялъ забывшись. Неожиданно сзади меня раздались надъ чѣмъ то смѣявшіеся голоса... молодые голоса, мужской и женскій. Я обернулся и, взглянувъ въ темноту, узналъ внезапно выросшую около меня громадную мужскую фигуру. Это былъ Илья Захаровичъ Чаплинъ, тотъ самый Чаплинъ, что всегда такъ искренно жизнерадостенъ, удивительно икренно. Онъ одинъ изъ тѣхъ немногихъ людей, веселье которыхъ переносится мною сравнительно легко, не раздражаетъ меня—такова чудесная сила искренности.

— Владимиръ Сергѣевичъ, это вы!? — радостно воскликнулъ Чаплинъ, пожимая мнѣ руку...—Ночью любуетесь? Великолѣпная ночка... море то какое, а?!

Вотъ позвольте, я васъ познакомлю съ невѣстой... Варя, да гдѣ же ты?—ласково позвалъ онъ.

Изъ темноты, въ свѣтѣ недалеко стоявшаго фонаря, появилась изящная женская фигура въ просторной матросской блузкѣ и бѣлой войлочной шляпѣ.

— А съ кѣмъ я тебя познакомлю!—обратился къ ней Чаплинъ такимъ тономъ, какимъ говорятъ съ дѣтьми, и закрылъ меня своей могучей фигурой.

— Съ кѣмъ я тебя только познакомлю!—повторилъ онъ, приближаясь вмѣстѣ со мной къ фонарю.

— Ну ка, Варюша, познакомься-ка сама, да и сама узнай, кто твой новый знакомый!—

Варя подала мнѣ руку и, невольно задерживая ее въ своей рукѣ, стала разглядывать меня: молодое смѣющееся лицо и рядъ ослѣпительно бѣлыхъ зубовъ сверкнули на меня изъ темноты.

— Ахъ, это Илышевъ!—воскликнула она, узнавъ.— Я такъ рада!—и маленькая энергичная рука крѣпче сжала мою руку.

— Знаете, ваши портреты сильно перевираютъ васъ... я такъ рада познакомиться... прибавила она снова радостно, но совершенно безъ того смущенія, которое всегда приходилось мнѣ подмѣчать, когда знакомили меня съ молодыми дѣвушками.

— Я такъ люблю ваши картины...—продолжала она, глядя мнѣ съ интересомъ въ лицо...—хотя должна сознаться, не принадлежу къ безусловнымъ поклонницамъ вашего... вашего ну что ли міросозерцанія... словомъ, особенностей вашего таланта...—

Я улыбнулся вяло и ласково, и довольно таки глупо, какъ, кажется, всегда улыбаюсь, когда при мнѣ критикуютъ мои картины.

— Отчего?—спросилъ я, чтобы поддержать разговоръ.

Варя не сразу отвѣтила, а когда заговорила, то по звуку ея пріятнаго грудного голоса чувствовалось, что она говоритъ серьезно.

Я нахожу недостаточнымъ, чтобы художникъ, будь

онъ хоть живописцемъ, былъ только наблюдателемъ жизни, простымъ изобразителемъ дѣйствительности, и даже въ томъ случаѣ, если онъ изъ наблюденій своихъ дѣлаетъ глубокіе, вдумчивые выводы. Почему вы—живописцы, вы—обладающіе тайной разговора красокъ, какъ будто разъ навсегда сложили съ себя роль вдохновителей человѣка къ борьбѣ за лучшую жизнь? Скажите, почему вамъ не быть глашатаями иной, не только болѣе справедливой, но и болѣе красивой, жизни? Вы рисуете грустныя картины будничной природы или мѣщанскія сценки изъ повседневной жизни... но развѣ этого достаточно? Ваше творчество можетъ принести лишь отрицательную пользу - кисленько тронувъ, смягчивъ сердца, уменьшить зло... но можете ли вы прибавить хотя бы каплю положительнаго блага? Нѣтъ, ваше творчество—не настоящее творчество! Настоящій художникъ, настоящій творецъ долженъ быть свѣточемъ толпы—онъ долженъ создать идеаль для стремленій и надежд...—

— Ну, она пойдетъ рѣзать!—разсмѣялся Чаплинъ. Я снова ласково улыбнулся.

— Да, это вы все совершенно вѣрно говорите.—

Она тоже разсмѣялась тихимъ груднымъ смѣхомъ, продолжая глядѣть мнѣ прямо въ лицо:

— У-у, какой вы спокойный, снисходительный!.. Вы, конечно, не сердитесь на меня за мою болтовню?—

— Что вы, наоборотъ... я очень радъ. Вы первый человѣкъ, который мнѣ такъ прямо говоритъ о моихъ недостаткахъ.—

— Ну, вотъ и прекрасно! — заключила она.

— А теперь я должна поблагодарить васъ за волшебный фонарь и новыя парты.—

— Какія парты?—удивился я.

— А вѣдь я состою учительницей того села, гдѣ находится ваша усадьба.

— Ахъ такъ... такъ...

Я вспомнилъ, что въ одномъ изъ писемъ Маруся мелькомъ извѣщала меня о сдѣланномъ ею пожертвованіи на нужды мѣстной сельской школы. Я покраснѣлъ, такъ какъ мнѣ стало неловко, что я не помнилъ этого.

— Да... да... Такъ вы значить знакомы съ Маріей Константиновной?

— Какъ же, я очень часто ее навѣщаю. Она такая славная, хорошая, только все болѣетъ у васъ.—

Мнѣ стало неприятно отъ словъ „у васъ“, и Чаплинъ, часто бывавшій у меня въ Москвѣ и въ деревнѣ и знавшій мои отношенія къ Марусѣ, поспѣшилъ перемѣнить разговоръ:

— Вотъ Варя непременно хочетъ сейчасъ же на лодкѣ прокататься... Поѣдемте-ка съ нами, Владимиръ Сергѣевичъ!—

Я отказался, сославшись на нездоровье, но вызвался проводить ихъ къ лодкамъ до сквера. Варя шла впереди, и я видѣлъ ея сильно развитую, гибкую и изящную фигуру, то выныряющую въ свѣтъ фонаря, то снова погружающуюся въ темноту.

Назавтра Чаплинъ долженъ былъ вмѣстѣ съ Варей уѣхать къ ней въ деревню, гдѣ и намѣревался провести все лѣто. Уѣзжали они утромъ, съ девятичасовымъ пароходомъ, поэтому я простился съ ними у сквера, когда имъ послѣ долгихъ поисковъ удалось найти лодочника.

— Приѣдете къ себѣ въ деревню, я васъ вмѣстѣ съ Ильей навѣщу, чай пить къ вамъ приду, — сказала на прощанье Варя и крѣпко пожала мнѣ руку.

Я медленнымъ шагомъ побрелъ къ себѣ... Не успѣлъ я выйти изъ сквера и пройти нѣсколько шаговъ по безлюдной набережной, какъ съ моря понеслись чистые мелодическіе звуки грудного сопрано. Я догадался, что это пѣла Варя.

— Славная дѣвушка...— рѣшилъ я про себя, вспоминая выраженіе лица, съ которымъ она наклонилась ко мнѣ на молу при тускломъ свѣтѣ фонаря: открытый

взглядъ темно-карихъ глазъ, смѣлый взмахъ длинныхъ рѣсницъ, высокій спокойный лобъ.

— Художникъ долженъ быть свѣточемъ...—вспомнилъ я ея слова и машинально повторилъ ихъ вслухъ:

— Художникъ долженъ быть свѣточемъ...—

Очень хорошая мысль,—продолжалъ я думать, и немного погодя мнѣ даже въ этой мысли почудился тайный смыслъ, тайное значеніе и для меня самого. Но я не сталъ думать о самомъ себѣ, и тутъ же мнѣ въ голову пришло совсѣмъ другое: — не дурно бы написать такую картину: лунная ночь... море... молодая, сильная дѣвушка вдохновенно говорить что-то больному, измученному художнику... и глаза больного художника возбужденно горятъ пламенемъ надежды и борьбы. Картину можно было бы назвать — „Возрожденіе“.

При этой мысли я неожиданно остановился посреди тротуара и поднесъ руку ко лбу... сердце мое слабо и робко дрогнуло.

— Возрожденіе... возрожденіе... — невольно прошептали мои губы. И опять слова Вари:

— Можете ли вы прибавить хотя бы одну каплю положительнаго блага? Художникъ долженъ создать идеаль для стремленій и надежд...—

Я опустилъ руку, двинулся дальше по тротуару, и лицо мое сложилось въ вялую, безжизненную улыбку:

— Идеаль... идеаль... гдѣ искать его? А если и найду, то гдѣ взять силъ служить ему?—

Смолкнувшая было пѣснь снова понеслась съ моря нѣжными, ласкающими звуками, тревожно рождавшимися и умиравшими въ воздухѣ.

— Славная, прекрасная дѣвушка... такая дѣвушка вдохновила бы больного художника, она зажгла бы пламенемъ борьбы и надежды его глаза...—

Но снова тревожная мысль:

— Боже мой, я самъ не живу, давно уже не живу!.. Всѣ свои впечатлѣнія я отдаю творчеству, а самъ остаюсь все съ тѣмъ же постояннымъ холодомъ на

душѣ. Ко мнѣ, ко мнѣ относились слова этой чудной дѣвушки, мнѣ и обо мнѣ говорила она, я испыталь трепетное вліяніе этихъ словъ!—

И мнѣ стало жалко разставаться съ переживаемымъ впечатлѣніемъ, и съ этой минуты меня охватило смутное ожиданіе чего-то, надежда на что-то, и эти новыя для меня чувства мѣшали мнѣ думать о чемънибудь другомъ, мѣшали мнѣ работать и неустанно тянули сюда, въ деревню подѣ Москвой...

И черезъ мѣсяцъ я ужъ не могъ бороться...

А въ тотъ вечеръ, вернувшись къ себѣ, я особенно ясно почувствовалъ себя одинокимъ, никому ненужнымъ. Мнѣ стало грустно и жалко самого себя. Не зажигая огня, я подошелъ къ стеклянной двери, толкнулъ ее ногой и вышелъ на балконъ.

Съ моря все неслись трепетно рождавшіеся и умиравшіе мелодическіе звуки грудного женскаго сопрано. Не въ кроткихъ ли лучахъ луны, слабо лившихъ свой свѣтъ сквозь дымчатую тучку, рождались эти звуки? А цикады одиноко шумѣли, не нарушая, а олицетворяя тишину.....

VII.

Дорога... *моя* дорога! Дорога стыда и позора, путь къ забвенію и смерти.

Цезарь побѣдоносный! Что слышалъ ты во всемъ томъ хаосѣ звуковъ, что гуломъ встрѣчалъ тебя, гордаго, въ Римѣ, торжествомъ опьяненный, вступающаго? Побѣда! побѣда! и слава герою! Крики толпы, визгъ колесницъ, ржаніе лошадей и мулъ, бряцаніе орудій—побѣда! побѣда! и слава герою!

Плѣнникъ, въ борьбѣ побѣжденный! Связанный за колесницею цезаря бичемъ погоняемый, стонущій! Что слышалъ ты въ этомъ хаосѣ звуковъ? Позоръ! позоръ! и побѣжденному горе!

Колоколь звонить, но бьются сердца—и всякое
ухо слышитъ другое...

.
.

Въ послѣдній разъ проѣзжалъ я черезъ поля, деревни и города моей родины, и вся эта дорога камнемъ налегла мнѣ на душу, болѣзненно впилась всѣми своими мелочами въ мою память.

... Душно было вездѣ: и въ лѣсу, гдѣ густая масса листвы нѣжно защищала бѣдную землю отъ этого ужаснаго дневнаго свѣтила, равнодушно—мертвымъ шаромъ стоявшаго на небѣ; и въ деревнѣ, гдѣ лишь мутная, еле плывшая рѣка еще пыталась не сдаться и съ великимъ трудомъ старалась подымать съ усталой груди своей хотъ рѣдкіе прохладные вздохи; и въ полѣ, гдѣ лишь двѣ одинокія березы являли своими рѣдкими сучьями единственное убѣжище и внушали робкую надежду укрыться, отдохнуть... но душнѣ всего было въ этомъ большомъ городѣ. Высохшая, мучимая жаждой мостовая безсильно разстилала по всему городу свое раскаленное каменное тѣло и дышало тяжелой знойной пылью; а высокія стѣны домовъ сами пропитались этимъ обжигавшимъ жаромъ, и въ тѣни ихъ было еще душнѣе, еще тяжелѣе дышалось.

Всѣхъ давила духота, и всѣмъ было тяжело въ этотъ день: и мухамъ съ безпокойнымъ и злобнымъ жужжаніемъ, вдругъ, со стукомъ, цѣлыми кучами летавшимъ на стекла оконъ; и собакѣ, что, высунувъ языкъ, съ трудомъ добрела до воротъ и тяжело повалилась тамъ, издавая животомъ жалобные стениящіе звуки и зѣвая долго, до собачьихъ слезъ; и лошадамъ, стоявшимъ, какъ вкопанныя, вдоль тротуаровъ, тупо свѣсивъ головы и мученически закрывъ усталые глаза... но душнѣе, чѣмъ всѣмъ, и тяжелѣе, чѣмъ всѣмъ, было людямъ этого большого города.

Впрочемъ, не всѣмъ людямъ. Томились тѣ люди, что въ стотысячный разъ, размякшіе, слабые, по го-

рячему асфальту, въ чортовомъ пеклѣ солнца, неизмѣнно плелись къ ненавистнымъ и всѣмъ одинаково надоѣвшимъ источникамъ земного счастья.

И этотъ удушливый зной былъ такъ силенъ, несмотря на очень раннее утреннее время. Однако-жъ, какое дѣло было солнцу до ранняго часа, когда жизнь въ городѣ уже совершалась, какъ совершается во всѣ часы дня—обычно, неизмѣнно, безостановочно: вотъ въ глухомъ переулкѣ невыспавшійся, еще усталый отъ вчерашняго труда, рабочій, тяжело стуча сапогами по мостовой, тащится на фабрику... а вотъ въ барскихъ особнякахъ сквозь открытыя окна прибираемыхъ комнатъ видны уже нарядныя горничныя, суесящіяся около бѣлоснѣжной скатерти—около завтрака для еще спящихъ господъ... Жизнь началась, жизнь совершается, неправда-ли? Настоящая, всегдашняя, заурядная жизнь?..

Москва. Шестой часъ утра. На крыльцо одной изъ лучшихъ городскихъ гостиницъ выходитъ человѣкъ лѣтъ сорока, высокій, нѣсколько сутуловатый, съ ранней сѣдиной въ волосахъ и разсѣянными, неопределенно блуждающимъ по сторонамъ взглядомъ. Сонная фізіономія и сонныя манеры. Это—я.

— Добрый день, какъ здоровьице, Владимиръ Сергѣичъ?—привѣтствуетъ меня бѣлокурый швейцаръ и весело, но почтительно улыбается голубыми глазами. Это мой старинный знакомецъ—онъ знаетъ меня по всѣмъ моимъ прошлымъ наѣздамъ.

— Ничего, спасибо... я ничего...—отвѣчаю я, смущенно и вяло улыбаясь.—Ну что, ты какъ, Василій?.. вообще... живешь?.. доволенъ?.. Мы съ тобой съ пол-года ужъ не видались...—

— Покорно благодарю, Владимиръ Сергѣичъ, живемъ, довольны очень даже...—

— Ты, братъ, все-таки же... молодецъ... шустрый...—

— Покорно васъ благодарю... довольны, очень даже—снова повторяетъ Василій, и какъ бы желая

показать насколько онъ понимаетъ свою роль швейцара, неожиданно придаетъ лицу дѣловитое выраженіе и, взглянувъ на небо, добавляетъ:

— Погода прямо чудесная, Владимиръ Сергѣичъ, насчетъ дождичка не извольте беспокоиться.—

— Да, погода дѣйствительно... Ну, прощай, братецъ, я къ себѣ, къ своимъ... черезъ мѣсяць-другой еще у васъ побываю.—и неловкимъ движеніемъ сую въ руку Василя какую-то монету.

Потомъ я усаживаюсь въ пролетку извозчика, и сейчасъ же тѣло мое опускается и сгибается такъ, точно въ немъ нѣтъ ни одной косточки, и вся фигура принимаетъ вялый, почти безжизненный видъ. Одѣтъ я, кажется, не плохо, быть можетъ и со вкусомъ, но платье сидитъ на моей худой, сутуловатой фигурѣ не то что какъ на вѣшалкѣ, но какъ то мертво, точно на только-что оправившемся послѣ тяжелой болѣзни: не желаетъ платье гармонировать со всей фигурой, да и только—фигура эта сама по себѣ, а темный костюмъ, низкій бѣлый воротничекъ съ маленькимъ галстукомъ, и даже легкое черное пальто, перекинутое черезъ руку, тоже сами по себѣ; пожалуй, только мягкая фетровая шляпа, съѣхавшая немножко на бокъ, немножко и на лобъ, гармонируетъ съ общимъ разсѣяннo-небрежнымъ выраженіемъ желтовато-блѣднаго лица.

Я ѣду и чувствую, что вся моя фигура дышитъ той усталостью, какую можно подмѣтить у человѣка, добросовѣстно всю ночь игравшаго въ карты и возвращающагося по пустыннымъ улицамъ при чуть брезжащемъ свѣтѣ утра, на сонномъ, какъ онъ самъ, извозчикѣ, къ себѣ домой. Я ѣду, гляжу на пробуждающуюся жизнь и чувствую свою обособленность и излишность среди этой жизни. Попадаютъ мнѣ навстрѣчу нѣсколько учениковъ художественнаго училища. И у нихъ лица какія-то возбужденныя, новыя. Они останавливаются, оглядываются на меня... Я знаю, что люди эти узнаютъ во мнѣ художника

Владимира Ильшева, и мнѣ почему-то кажется, что они тоже чувствуют мою излишность.

А мысли все тѣ же и тѣ же: о жизни, что проходит сѣро и однообразно, какъ ненастное сентябрьское время, о дняхъ, скучно мелькающихъ одинъ за другимъ, какъ вотъ мелькаютъ теперь мимо эти запыленные городскіе фонари... о творчествѣ,—тоскливомъ и тоже однообразномъ—не легче мнѣ отъ этого творчества, наоборотъ—каждая новая работа, мною написанная, прибавляетъ каплю яда къ моему самочувствію.

...Я до того углубляюсь въ эти бесплодныя размышленія, что вздрагиваю, выведенный изъ задумчивости внезапной остановкой и окликомъ извозчика:

— Баринъ, пожалуйста... пріѣхали!—

Не торопясь расплываюсь съ извозчикомъ, отдаю небольшой саквояжъ носильщику, медленно поднимаюсь по ступенькамъ вокзала и медленно бреду по пустыннымъ, соннымъ заламъ. Сонный, какъ эти залы, швейцаръ лѣнливо отворяетъ предо мной двери, и я выхожу на платформу...

.
.

...Жирный оберъ-кондукторъ, съ длинной серебряной цѣпочкой на животѣ, торопливо бѣжитъ мимо моего окна, крича что-то набѣгу машинисту. Голубоглазая барышня съ букетомъ фіалокъ и блѣдный молодой человекъ въ черныхъ перчаткахъ, съ бритымъ презрительнымъ лицомъ, входятъ въ вагонъ второго класса. Полный, красный, тяжело дышашій генераль, ведущій на привязи маленькую собачку англійской породы, подманиваетъ къ себѣ оберъ-кондуктора и бормочетъ ему что-то, указывая на собачку. Тотъ почтительно дѣлаетъ подъ козырекъ, и генераль вмѣстѣ съ англійской породой входитъ въ мой вагонъ, сосѣдски помѣщается около меня и съ сопѣніемъ принимается отирать потъ съ лысой головы и багрово-красной, какъ кирпичъ, шеи...

... Пробилъ третій звонокъ. Свистокъ пискнулъ хрипло и тоскливо. Тяжко и грозно вздохнувъ, поѣздъ вздрогнулъ, загремѣлъ колесами и, равномерно покачиваясь, поплылъ въ свѣтло-лазуревую даль... Словно неожиданный ослѣпительный блескъ электрическаго фонаря, блеснуло раскаленное солнце, замелькали красныя и зеленыя, блестящія на солнцѣ стекла семафоровъ, замелькали одинокія кривыя сторожевыя будки, замелькали сѣрыя печальныя деревеньки... и пошла писать губернія...

...Свѣжій вѣтеръ пріятно подулъ сквозь открытое окно мнѣ въ лицо, и занавѣски на окнахъ, надувшись, тревожно затрепыхали...

Я снялъ шляпу, высунулся изъ окна и слабо улыбнулся полямъ этимъ, избамъ этимъ, людямъ этимъ, плетущимся за жалкими кляченками.

Я подумалъ:

— Еще годъ, два, и быть можетъ все это облегченно вздохнетъ первымъ свободнымъ, радостнымъ вздохомъ... но вздохнуть ли радостно тѣ, что сломанные прошлой жизнью, неумѣстные, странные, будутъ стоять въ сторонѣ, какъ ненужныя назойливыя тѣни прошлыхъ страданій?—

И все мое существо вдругъ болѣзненно отдалось этой мысли.

— Въ сторонѣ... въ сторонѣ...—повторялось во мнѣ...

Локомотивъ снова хрипло и лѣниво пискнулъ, колеса завизжали, и я на минуту оторвался отъ задумчивости.

...Какой то мелкій полустанокъ. Начальникъ полустанка, уставшій отъ жары, стоитъ на платформѣ въ застегнутомъ на двѣ верхнія и одну нижнюю пуговицу сюртукъ, безъ воротничка, съ голой шеей; въ окнѣ, склонившись надъ аппаратомъ, спитъ курчавый телеграфистъ; вокругъ его губъ и носа вьются мухи. За платформой начало пыльной дороги, у стойла два деревенскихъ извозчика; уткнувъ морды въ пустое

стойло, лошаденки вяло хлопають глазами и лѣнливо отмахиваются жиденькими хвостами отъ мухъ; лѣвѣе отъ дороги опушка березоваго лѣса. у опушки гимназистъ въ разстегнутой курткѣ поверхъ розовой рубашки и барышня въ коричневомъ платьѣ, съ бѣлымъ зонтикомъ...

Вялый пискъ локомотива... Мужикъ, выбѣжавшій было напиться, поспѣшно бросаетъ заржавѣлую мѣдную кружку и, стуча сапогами, лѣзетъ обратно въ вагонъ, гимназистъ у опушки лѣса стоитъ, опершись на палку, и бокомъ, иронически смотритъ на мимо бѣгушій поѣздъ; барышня чему-то смѣется, вертитъ зонтикомъ и машетъ передъ самымъ носомъ гимназиста платкомъ... прощай, сонный полустанокъ!..

И снова поля эти, избы эти, люди эти съ клеченками... И снова мысли эти:

— Въ сторонѣ... въ сторонѣ...—

.

VIII.

Эта картина съ возрожденіемъ была бы позорной, мальчишеской ложью!

Больной художникъ... молодая дѣвушка... вдохновенно, возбужденно... возрожденіе и все прочее... О! о! какая пошлая, позорная ложь! А вотъ что произошло на самомъ дѣлѣ: свидѣлись, взглянули одинъ другому въ глаза, поняли, кто мы, чего хотимъ,— и разошлись, мысленно сказавъ другъ другу:—ступай себѣ направо, а я пойду налево!—

И это все?

И это все.

Да, но какъ же это?

А вотъ какъ, слушайте-ка!

Случалось ли вамъ, только-что познакомившись съ человѣкомъ, съ первыхъ же двухъ-трехъ словъ ссориться съ нимъ и знать—навѣрняка знать,—что

прощаясь съ вами, новый знакомецъ чувствуетъ въ васъ своего врага—врага кровнаго, непримиримаго? Случалось ли? Если нѣтъ, то счастливъ вашъ Богъ. Прескверное, увѣряю васъ, переживаешь ощущеніе, пожимая этому человѣку руку.

А такова въ сущности вся философія моей встрѣчи съ Варей. Только такова.

Но какъ же могъ я... нѣтъ, какъ я смѣлъ, находясь въ сторонѣ отъ жизни и желая лишь пресловутаго личнаго счастья—искать его въ самой гущи жизни, да еще въ русской дѣвушкѣ, всѣмъ чистымъ существомъ своимъ отдавшейся *этому времени*? Какъ я смѣлъ?!

Впрочемъ, такъ лучше: треніе на наклонной плоскости причиняетъ лишь боль, но паденія не задерживаетъ. Такъ лучше: разъ! два! гордіевъ узелъ разрубленъ, правда обнаружена, и глупой соломинкѣ утопающаго предоставлена свобода...

... Когда мы встрѣтились въ первый разъ, и она, какъ тогда на молу, энергически и радостно пожимала мою руку, взгляды ея, быстро скользя по мнѣ, вдругъ выразили какое-то удивленное сожалѣніе. Я понялъ, что ее поразила обильная сѣдина моихъ волосъ и весь старчески-измученный видъ моего лица.

Принужденно засмѣявшись, она поспѣшно привѣтствовала меня:

— Мы уже видѣлись съ вами... помните тогда—на молу, въ темнотѣ?—

И нечаянно добавила:

— Я не такимъ васъ представляла себѣ.—

Добавила и покраснѣла.

— Не такимъ? — переспросилъ я, чувствуя, что губы мои невольно складываются въ горькую улыбку.

— Не такимъ? какимъ?—

Она не отвѣтила и только еще больше смутилась.

А я, взглянувъ на нѣжный, но здоровый румянецъ ея щекъ, сказалъ:

— А для васъ солнечные лучи не опасны.—

И засмѣялся. И боль зависти щемила мнѣ душу и смѣхъ мой звучалъ зло.

Она же, чтобы положить конецъ этой сценѣ, заговорила... но не со мной заговорила, а съ Марусей, Чаплинымъ, съ управляющимъ Дмитріемъ Никаноровичемъ, со всѣми, кто былъ на террасѣ, но только не со мной. И говорила долго, боялась умолкнуть хотя бы на минуту—меня боялась. И я зналъ, что разговоръ со мной былъ бы ей уже тяжелъ и непріятенъ.

... — Куда бы мнѣ дѣваться?—подумалъ я, чувствуя, что долженъ уйти. И сойдя въ садъ, медленно побрелъ по аллеѣ, къ калиткѣ.

Здѣсь, за калиткой, было мертво и душно. Огромное ржаное поле, подъ нестерпимо горячими лучами солнца, точно боялось пошевелиться... вотъ оно, тамъ далеко, такое-же громадное и застывшее, вдругъ круто подымается вверхъ... и еще дальше, совсѣмъ далеко, на горизонтѣ, сливается синѣющей полосой съ лѣсомъ... А вонъ въ сторонѣ, около самой опушки лѣса, точно небольшая кучка песка, желтѣетъ старый глубокой оврагъ.

Я хорошо знаю этотъ оврагъ.

Но гдѣ же береза, одиноко растущая на самой вершинѣ его? Гдѣ она, всегда бѣлѣвшая въ сторонѣ отъ лѣса?

Я сталъ вглядываться, но не могъ разглядѣть березы.

Ее срубили, вѣроятно...

А сзади меня, на террасѣ, все раздавался горячій, увлекающій голосъ Вари.

Да... жалко ее, березу...

... Я обернулся: Варя сидѣла на качалкѣ, заложивъ обѣ обнажившіяся изъ подъ просторныхъ рукавовъ по локоть руки за голову. И лучъ солнца, попавшій на эти руки, освѣщалъ на нихъ нѣжный, еле замѣтный пушокъ золотистыхъ волосъ.

Я все слушалъ и слушалъ ея чистый грудной го-

лось, все глядѣлъ и глядѣлъ на необыкновенно простое, открытое выраженіе ея лба и глазъ... и молодое ея лицо издали, сквозь зелень, казалось мнѣ еще моложе.. совсѣмъ молоденькимъ, какъ у дѣвочки—подростка...

И вотъ волна теплаго, когда-то очень, очень давно, еще въ далекомъ дѣтствѣ пережитаго чувства всхлестнулась во мнѣ.

Какъ давно все это было... такъ давно, что даже не помню точно, когда... не помню, и гдѣ это было. Помню только русую головку и коричневое форменное платье на неоформившейся дѣтской фигуркѣ. Потомъ мы ѣдемъ куда-то зимой на санкахъ... ея веселое, раскраснѣвшееся на морозѣ личико смѣется мнѣ изъ подъ барашковой шапочки, изъ подъ шали и башлыка... Мы ѣдемъ... и я, гимназистъ въ картузѣ съ необыкновенно громадными полями, сижу и хмуро молчу. Она смѣется, а я молчу. И вдругъ начинаю говорить, и говорю долго, заикаясь и необыкновенно скучно. А говорю я ей обо всемъ—душу обнажаю передъ ней: начинаю съ паденія черезъ окно, рассказываю про дворницкую и ея обитателей, про подвальныхъ товарищей, рассказываю про отца... говорю потомъ о всемъ томъ, чѣмъ страдаю я въ мысляхъ и чувствахъ, и о предчувствіи новыхъ и болѣе сильныхъ страданій въ будущемъ тоже говорю...

Русая головка, закутанная въ шаль и башлыкъ! поняла ли она тогда все, что говорилъ ей печальный гимназистъ въ картузѣ съ необыкновенно громадными полями? Поняла ли? Не знаю. Но когда мы прощались въ большой освѣщенной передней, передъ парадными дверьми ея дома, она, пожимая мнѣ руку, быстро наклонилась къ моему уху и съ дѣловито-серьезнымъ лицомъ прошептала:

— Мы будемъ съ вами интимными друзьями... и вамъ будетъ легче.—

И исчезла за тяжелыми дверьми.

А я, оставшись одинъ, пережилъ въ тотъ зимній

вечеръ чудотворное чувство веселья и любви къ жизни.

Гдѣ оно, гдѣ оно это чувство? Жизнь, отвѣчай!

Если бы снова пережить его! Если бы хоть на одинъ часъ почувствовать его прочно закованнымъ вотъ здѣсь, въ этой груди, хранящей въ себѣ лишь море невыплаканныхъ слезъ!

Жизнь, дашь ли мнѣ этого чувства?

Жизнь... безстыдная, наглая жизнь, отвѣчай!

... И думая такъ, я не могъ оторваться отъ лица Вари, отъ этого спокойнаго, чистаго лба. Хотѣлось подойти къ ней, заговорить... и говорить долго, заикаясь и необыкновенно скучно...

Мы пошли провожать ихъ до деревни.

Чаплинъ и Маруся, выйдя на дорогу, пролежавшую между стѣнами ржи, пустились бѣжать въ перегонки. Я остался наединѣ съ Варей. Шли сначала нѣсколько минутъ молча. Потомъ Варя, шедшая немного впереди, задержала шаги, и когда я приблизился къ ней, проговорила, разсмѣявшись:

— Когда и кавалеръ, и дама оба простые смертные, то принято, чтобы кавалеръ занималъ даму, но когда имѣешь дѣло съ знаменитостью, то принято, очевидно, наоборотъ. Поэтому буду васъ занимать. Ну, хотитите, я вамъ расскажу про нашу деревню?—

И сразу перестала улыбаться, лицо ея стало серьезнымъ.

— Вотъ видите, мы идемъ по полямъ ея... Въ деревнѣ пятьсотъ девяносто шесть душъ, земли же неполныхъ четыреста десятинъ... Мѣстность, какъ сами видите, возвышенная, луговъ почти совсѣмъ нѣтъ... Чтобы было чѣмъ пастись скотинѣ, приходится жертвовать осенней обработкой подъ яровое... переносить и на весну, подъ самый посѣвъ...—

... Нѣтъ, это не было ни своеобразнымъ кокетствомъ, ни рисовкой серьезностью, нѣтъ—глаза и все лицо ея были такъ искренны, такъ необыкновенно искренны. Все это дѣйствительно интересовало ее,

все это было такъ необыкновенно важно для ея жизни, быть можетъ важнѣе, чѣмъ все прочее.

И я хоть понялъ, прекрасно понялъ все это, но все-жъ зло прервалъ ее:

— Отчего вы думаете, что меня долженъ интересовать такой разговоръ, а не другой?—

Легкая краска выступила на ея щекахъ, и брови ея недовольно нахмурились.

— Вы находите, что вообще не слѣдуетъ интересоваться крестьянскимъ вопросомъ? — спросила она, хмуро и напряженно глядя себѣ подъ ноги.

Я былъ жалокъ и смѣшонъ въ своихъ собственныхъ глазахъ, но злоба, ахъ, эта злоба только возросла во мнѣ. Особенно раздражили меня слова „крестьянскій вопросъ“.

— Крестьянскимъ вопросомъ можно и должно интересоваться, но я не нахожу необходимымъ говорить о немъ кстати и некстати.—

Сказалъ, и ненавидѣлъ ту злобу, что звучала въ моемъ голосѣ.

Краска медленно сошла съ щекъ Вари, и лицо ея стало еще болѣе строгимъ, тоже почти злымъ.

— Можете ли вы послѣдовательно доказать мнѣ, что о крестьянскомъ вопросѣ не нужно говорить *всегда*?—спросила она, дѣлая удареніе на словѣ „всегда“.

О, если бы объяснить ей, почему я золъ! о, если бы сказать, вмѣсто глупыхъ фразъ, все то, что сказалъ я тому ребенку, въ тотъ зимній вечеръ!

Но со слабою дрожью въ голосѣ и морщась, точно отъ физической боли, я сказалъ ей совсѣмъ другое:

— Варвара Павловна, предоставимъ думать о серьезныхъ вещахъ каждому про себя и будемъ говорить другъ съ другомъ только о пустякахъ... такимъ образомъ будетъ меньше ходячей мысли и больше личности въ поступкахъ людей. Итакъ, нельзя ли вообще не говорить вовсе о крестьянскихъ и другихъ вопросахъ, и о томъ, что нужно и чего не нужно?—

И противъ своего желанія добавилъ:

— Ничего въ жизни вообще не нужно, а все только можно.—

Брови ея чуть-чуть не то насмѣшливо, не то удивленно дрогнули и, все такъ же не подымая головы, она снова спросила:

— Можете ли вы послѣдовательно доказать мнѣ, что ничего въ жизни не нужно, а все только можно?—

И повернувъ ко мнѣ голову, стала смотрѣть мнѣ прямо въ глаза, выжидательно и настойчиво.

Въ ржаномъ полѣ было тихо. Вечерѣло. Дулъ слабый вѣтеръ, и еле колыхающееся море ржи сдержанно шумѣло—точно просто и грустно жаловалось небу на землю. Изъ поворота дороги намъ навстрѣчу вышли Чаплинъ и Маруся, о чемъ то тихо бесѣдовавшіе.

Я обрадовался возможности не отвѣтить.

И мы разстались врагами...

.

Я видѣлся съ ней еще два раза. Одинъ разъ у нея въ школѣ, и въ послѣдній разъ—въ деревнѣ, на гумнѣ. Она мало говорила со мной—лишь отвѣчала на вопросы, и вообще обращалась со мной, какъ съ капризнымъ больнымъ, котораго не слѣдуетъ раздражать.

На гумнѣ, прислонившись къ туго набитымъ зернами мѣшкамъ, я внимательно смотрѣлъ на нее: засучивъ на красивыхъ, сильныхъ рукахъ по локоть рукава, она молотила сосредоточенно и съ увлеченіемъ; цѣпъ, подъ напоромъ молодыхъ мускуловъ, равномерно прыгалъ, отбивая крѣпкіе сжатые удары. По выраженію ея лица я видѣлъ, что ей хорошо, что она всѣмъ довольна. И только мое присутствіе тяготило ее: глаза ея, такіе простые и ясные при бесѣдѣ съ крестьянами, вдругъ становились смущенно-непокойными, когда случайно останавливались на мнѣ.

Первая встрѣча рѣшила все.

IX.

Онъ совсѣмъ простъ, этотъ деревенскій помѣщичій домъ, простъ, какъ та деревенская жизнь, что изо дня въ день неприхотливо, однообразно течетъ вокругъ него. Никакая изощренная архитектура новѣйшей цивилизаціи не украшаетъ его широкихъ, толстыхъ стѣнъ изъ цѣлаго бревна. Лишь балконы, просторные и удобные, наверху и внизу, безъ всякихъ галантностей приглашаютъ совершать на нихъ дѣло, совсѣмъ простое, незатѣйливое,—пить чай, слушая гудѣніе самовара и поддерживая бесѣду, безсодержательную, никому не нужную. А если вы и съ этимъ не согласны, то балконы, совершенно не обижаясь, заявляютъ:—не хочешь? въ такомъ случаѣ запали-ка себѣ папирску, прислонись къ колоннѣ и слушай звуки рояля, что тихо раздадутся изъ дома подъ чьими нибудь слабыми руками, лѣнливо блуждающими по клавишамъ!—Да, они просты и грубоваты, эти балконы, и какой нибудь иноземный Донъ-Жуанъ, упокой Господь его мятежную душу, пасмурно нахмурилъ бы гордое чело, если бы предложили ему пропѣть подъ ними серенаду. И весь онъ, домъ то, простодушень и нелукавъ, и цвѣта то онъ сѣраго.

И представлю себѣ! какъ просто въ немъ жили когда то! Что за доброе, старое время разыгрывалось когда-то его обитателями! Бури, на примѣръ, если бывали, то, конечно, не иначе, какъ въ стаканѣ воды, а чудеса... чудеса если вытворялись, то обязательно въ рѣшетѣ. Но кто онъ? кто онъ, тотъ злой волшебникъ, что ядовитой тоской отравилъ покой разума и жуткимъ страхомъ наполнилъ минуту душевнаго мира?...

Мой рабочій кабинетъ, въ которомъ я теперь сижу и пишу эти строки, помѣщается внизу.

Это—большая квадратная комната, безъ обоевъ, съ дубовымъ некрашенымъ поломъ и двумя громад-

ным окнами, выходящими въ самую глубь сада. Купивъ усадьбу, я перенесъ въ эту комнату всю старую тяжелую мебель, найденную мною въ домѣ, такъ какъ не люблю современной мебели—всѣхъ этихъ стилей, начиная съ маркизы Помпадуръ и всевозможныхъ Людовиковъ и кончая позднѣйшимъ декадентскимъ; всѣ эти стили кажутся мнѣ театральными, приторными, отъ нихъ несетъ какой-то суетностью... да и неудобны они тоже удивительно!

Я люблю мою комнату—она дышитъ просторомъ и строгимъ спокойствіемъ. У одной изъ стѣнъ стоитъ большой, глубокой, обитый черной кожей диванъ; такіе же глубокие, удобные кожаные стулья и кресла темно-краснаго дерева стоятъ вокругъ круглаго стола въ одномъ изъ угловъ и передъ письменнымъ столомъ, и просто передъ окномъ, заглядывая въ глушь деревьевъ. Два книжныхъ шкапа, тяжелые ореховые, со стеклами, помѣщаются около старинной печки съ выступомъ; на одномъ изъ нихъ стоитъ большой глобусъ и цѣлой кучей валяются свертки географическихъ картъ. Письменный столъ, дубовый, массивный, помѣстился бокомъ у окна. Стѣны комнаты пусты, лишь надъ диваномъ два печальныхъ пейзажика деревенскаго вечера, да недалеко отъ круглаго стола на висячей консоли небольшой дѣвичій портретъ Маруси. Отъ густой листвы деревьевъ, склоняющихся къ самымъ окнамъ, и отъ полуопущенныхъ шторъ въ комнатѣ всегда прохладно и полутемно, какъ бываетъ передъ грозой. Тѣнь отъ листьевъ играетъ на бумагѣ, разбросанной по столу и на полу. Лучъ солнца, случайно пробившійся сквозь листву, блѣдно-краснымъ отблескомъ скользитъ по подоконнику, ручкѣ кресла и клеенкѣ, лежащей подъ столомъ. Одиному человеку хорошо думать въ такой комнатѣ.

Изъ кабинета деревянная винтовая лѣстница ведетъ наверхъ, въ небольшую комнату со стеклянной дверью, выходящей на просторный балконъ, и двумя окнами, узенькими, въ одно стекло. Въ ней съ тру-

домъ помѣщается кровать, тумбочка, шкафъ и умывальникъ. Это моя спальня. Изъ нея небольшая дверца ведетъ въ мою мастерскую, занимающую весь остальной верхъ дома.. Давно ужъ не заглядывалъ я туда...

Дни эти проходятъ, разумѣется, однообразно...

Утро. Я уже проснулся, открылъ глаза, но не встаю, отдавшись утреннимъ мыслямъ обо всемъ и ни о чемъ.

Солнечные лучи пробиваются черезъ соломенные шторы и плывутъ вверхъ по корешкамъ въ безпорядкѣ разбросанныхъ на подоконникѣ книгъ. Вотъ они вынырнули, зажгли въ воздухѣ косою столбъ золотой пыли и ударили мнѣ въ глаза. Я поднимаюсь и усаживаюсь на кровати, бессмысленно уставившись глазами въ какую то точку пола. На полу отъ подоконника тянется прерывающаяся полоса постепенно увеличивающихся красныхъ пятенъ.. Домъ молчитъ утренней тишиной... Гдѣ-то внизу рѣзко тикаютъ часы... Меня снова клонитъ къ подушкѣ... но спать много мнѣ вредно, а я еще инстинктивно забочусь о здоровьѣ—вѣдь извѣстенъ же вамъ анекдотъ о томъ господинѣ, что безъ галошъ шелъ подъ гильотину и потому боялся схватить насморкъ. Итакъ, я встаю, подхожу къ открытому окну и вздергиваю штору. Жадной грудью вдыхаю въ себя свѣжій, почти влажный воздухъ, долго потягиваюсь всѣмъ тѣломъ и снова застываю въ созерцаніи, въ задумчивости.

Аккуратное дневное свѣтило уже тутъ какъ тутъ: оно уже не багрово-красное, но и не блеститъ еще на небѣ раскаленно-желтымъ пятномъ, подчасъ почти сливающимся съ лучами: величаво и спокойно стоитъ оно на небѣ мягко золотымъ, съ синими отливами, шаромъ. Безконечный чирикающій гамъ невидимыхъ птицъ наполняетъ утренній воздухъ. Въ саду скрипнула калитка... Босая баба, звучно шлепая ногами по садовой дорожкѣ, приноситъ на террасу кринку молока... У самого моего окна неожиданно рѣзко кричить и бьетъ крыльями пѣтухъ... Я отрываюсь отъ

задумчивости и принимаюсь одѣваться. Долго обливаю голову холодной водой, тру виски одеколономъ, не торопясь натягиваю на себя просторную удобную пару, закуриваю папиросу и спускаюсь внизъ. На террасѣ быстро выпиваю стаканъ молока и сейчасъ же возвращаюсь въ кабинетъ.

И вотъ я сѣлъ и пишу...

Тамъ, за стѣнами моей комнаты, въ *томъ* мірѣ, начинается жизнь, которая еще долго будетъ существовать, и которой я искренно, отъ всей души желаю всяческаго счастья и благополучія... а здѣсь, въ стѣнахъ этой комнаты, я сижу и пишу мои послѣднія мысли.

.. Робкій стукъ въ дверь. Это Маруся.

Бѣдняжка, она глубоко несчастна со мной. Лучшая услуга, какую я могу ей оказать, это — какъ можно скорѣе избавить отъ самого себя. Это такъ просто: если она не перенесетъ моей смерти, то погибнетъ, какъ, навѣрное же, погибла бы отъ еще года-другого совмѣстной жизни со мной; но если, какъ это говорится, молодой организмъ возьметъ верхъ, и первая горечь разлуки будетъ перенесена, то Маруся — спасенный человѣкъ. Она избавится отъ этой глухой, мрачной ямы, куда я невольно завлекъ ее за собой, она стряхнетъ съ себя воспоминаніе обо мнѣ и счастливо заживетъ жизнью окружающихъ ее людей — жизнью здоровой и дѣятельной.

А теперь съ ея бѣдными нервами, съ ея бѣдной головкой, дѣйствительно, творится что-то неладное. Войдя въ комнату, она останавливается около дверей и, прежде чѣмъ поздороваться, торопливо, еле слышно креститъ меня. Потомъ цѣлуетъ, справляется о снѣ и неизмѣнно спрашиваетъ:

— Я тебѣ не помѣшаю?—

На что я неизмѣнно же отвѣчаю:

— Разумѣется, нѣтъ... напротивъ...

Мнѣ хочется приласкать ее, но я знаю, что это вызоветъ слезы и разговоры... и потому не рѣшаюсь.

Она садится въ кресло у окна и читаетъ или шьетъ что нибудь для деревенской дѣтвoры. И иногда при этомъ еле слышнымъ голосомъ поетъ какую то пѣсенку, отъ которой мнѣ далеко не становится легче! Не знаю, гдѣ она выкопала эту странную пѣсенку:

„Розы такъ пышно цвѣтутъ—
Скоро настанетъ и праздникъ Христовъ!“

Снова и снова повторяетъ пѣсенка эти слова.

Странныя слова—не знаю, право, слыхалъ ли я ихъ когда либо раньше. Маруся, бѣдное существо. Твое сердце всю жизнь любило, и теперь, больное, оно мечтаетъ лишь о братской любви между людьми—о праздникѣ Христовѣ.

Посидить-посидить она такъ часъ, другой... и уходитъ, снова цѣлуя меня и прося быть здоровымъ и веселымъ.

Я общаю ей то и другое.

И вотъ она ушла, и я снова одинъ, пишу и пишу...

Но снова стукъ. Это управляющій, Дмитрій Никаноровичъ.

Обстоятельства, при которыхъ у моихъ нѣсколькихъ десятинокъ, почти цѣликомъ занятыхъ однимъ садомъ, появился управляющій, носятъ довольно таки странный характеръ. Закулисную сторону этихъ обстоятельствъ я знаю по исповѣдямъ самого Дмитрія Никаноровича, очень любящаго снова и снова рассказывать исторію того, что онъ называетъ своимъ „первымъ перерожденіемъ“.

Дмитрій Никаноровичъ учился когда то въ гимназіи, но не окончилъ ея по причинамъ, которыя принято выражать словами „не поладилъ съ начальствомъ“. На самомъ же дѣлѣ онъ не поладилъ съ нѣкоторыми особенностями древнихъ языковъ, и отсюда почувствовалъ непреодолимое отвращеніе ко всѣмъ наукамъ вообще, кромѣ исторіи. Выступивъ изъ шестого класса, онъ рѣшилъ „плюнуть на всякіе аттестаты и свидѣтельства“ и заняться исключи-

тельно исторіей. Но вмѣсто этого ровно черезъ годъ историкъ, голодный и въ рваныхъ сапогахъ, попалъ какимъ то образомъ на службу чиновникомъ въ казенное вѣдомство. А опредѣлившись на казенную службу, Дмитрій Никаноровичъ увидѣлъ, что жизнь сыграла надъ нимъ презлую шутку, и такъ какъ не могъ придумать никакого выхода изъ своего положенія, то рѣшилъ, что надо разъ навсегда порвать со всякими воспоминаніями о прошломъ, вплоть до любви къ исторіи. Небольшого жалованія канцелярскаго чиновника хватало ему какъ разъ на то, чтобы жить въ грязной комнатѣ съ клопами, ѣсть тухлые обѣды, всегда имѣть пару заплатанныхъ сапогъ и много пить. И этой жизни и предался Дмитрій Никаноровичъ. Случалось ему встрѣтить на улицѣ кого нибудь изъ прежнихъ товарищей по гимназіи. Тогда онъ краснѣлъ, перебѣгалъ на другую сторону, глубоко пряталъ въ воротникъ шинели лицо и спѣшилъ пройти мимо неузнаннымъ. Кромѣ постоянного пьянства, у Дмитрія Никаноровича, по его горячимъ увѣреніямъ, было еще одно единственное удовольствіе—это посѣщеніе картинныхъ галлерей. Въ галлерейхъ этихъ онъ де позабывалъ горькую насмѣшку судьбы, сдѣлавшей изъ человѣка, хотѣвшаго стать великимъ ученымъ, курить сигары и пить мадеру, лишь маленькаго чиновника, пьющаго горькую сивуху.

Такъ прошло почти десять лѣтъ, когда однажды, задумавшись о жуткомъ однообразіи и безцѣльности своего существованія, Дмитрій Никаноровичъ понялъ и рѣшилъ, что такъ жить больше нельзя:

Надо найти выходъ изъ этого положенія.—

И онъ долго ломалъ себѣ голову надъ разными сложными планами, одинъ другого неисполнимѣе, какъ вдругъ остановился на планѣ несложномъ, но... дикомъ. И планъ этотъ былъ де порожденъ его фантазіей какъ разъ въ тотъ моментъ, когда глядѣлъ онъ на картину мою „Холостякъ“, изображающую стараго чиновника, бобылемъ-горемыкой встрѣчающаго Новый

годъ съ гитарой въ рукахъ и одинокимъ стаканомъ вина на столѣ.

Въ своихъ исповѣдяхъ, дойдя до этого мѣста разсказа, Дмитрій Никаноровичъ обыкновенно выражается такъ:

— Сей необыкновенный планъ, лишь промелькнувъ въ головѣ, съ невѣдомою силой привлекъ къ себѣ всѣ мои мысли и чувства, и быть можетъ не потому лишь, что попытаться исполнить его было не трудно: перерожденія, Владимиръ Сергѣичъ, перерожденія алкала душа моя!!.—

— Обращусь къ художнику Илышеву, — рѣшилъ онъ...—разскажу ему мою судьбу и попрошу взять къ себѣ хотя бы въ лакеи. Лучше служить Илышеву лакеемъ, чѣмъ чиновникомъ въ казенномъ вѣдомствѣ. Если же онъ не согласится, то застрѣлюсь, и въ запискѣ, которую я оставляю, будетъ сказано: „прошу въ моей смерти винить всѣхъ и все“!..—

И придя къ такому рѣшенію, Дмитрій Никаноровичъ устроилъ такъ, что поймалъ меня на вокзалѣ, когда я собирался ѣхать изъ Москвы къ себѣ, въ только-что на-дняхъ купленную усадьбу. Я уже садился въ вагонъ, когда онъ подошелъ ко мнѣ и, поблѣднѣвъ отъ волненія, съ трудомъ двигая губами, произнесъ:

— Вы художникъ Илышевъ?—

— Да, я...—

— Я позволю себѣ обратиться къ вамъ съ просьбой... я...—

Дальше онъ говорить не могъ и только продолжалъ двигать совершенно бѣлыми безкровными губами.

Я уже приготовился пережить то удручающе-тяжелое ощущеніе жгучаго стыда, какое переживаешь всегда, когда, хорошо одѣтый, сытый, подаешь чело-вѣку на улицѣ деньги...

— Если вамъ нужна матеріальная помощь, то не волнуйтесь... я охотно, насколько смогу, помогу вамъ...—

Но онъ перебилъ меня, съ усиліемъ выдавливая слова:

— Я.. я не хочу... у васъ просить денегъ... я... я хочу...—

Онъ, очевидно, хотѣлъ какимъ нибудь однимъ выраженіемъ излить все то, что волновало его, однимъ выраженіемъ передать всю свою неудавшуюся жизнь.

— Я хочу... просить у васъ мѣсто дворника, потому что учился въ гимназіи и по своимъ убѣжденіямъ либераль!—разомъ выпалилъ онъ, и вдругъ отрывисто пролаялъ мнѣ два раза въ лицо, закусилъ, сдерживая рыданья, рукавъ шинели и уставился на меня глазами, лихорадочными и жалкими.

Я, съ трудомъ владѣя собой, предложилъ ему сѣсть со мной въ вагонъ. Въ вагонѣ онъ долго говорилъ о своей жизни, и каждое слово плачевнаго разсказа дышало ненавистью къ сѣрому чиновничьему существованію и необыкновенно сильной мечтой о жизни иной, лучшей. И разсказъ этотъ кончился тѣмъ, что я, тутъ-же выдумавъ для своихъ нѣсколькихъ десятинъ должность управляющаго, предложилъ ее Дмитрію Никаноровичу.

Ставъ управляющимъ, онъ сталъ меньше пить и въ своихъ сношеніяхъ съ крестьянами, зная, что я мало забочусь о доходѣ съ усадьбы, кажется, искренно стремился доказать, что „по убѣжденіямъ своимъ онъ—либераль“...

... Итакъ, онъ входитъ ко мнѣ. И я знаю зачѣмъ онъ входитъ: это для изліяній, теперь ужъ о „второмъ перерожденіи“. Все объ одномъ и одномъ же говоритъ онъ со мной за послѣдніе дни. Вотъ, напримѣръ, одинъ изъ нашихъ разговоровъ, наиболѣе характерный:

Онъ только что вошелъ, поздоровался и по обыкновенію сейчасъ-же пустился нервно, рѣзко бѣгать изъ угла въ уголъ. Я знаю—онъ ждетъ, чтобы я началъ разговоръ. Но такъ какъ я молчу, то онъ заявляетъ:

— Духота-съ, Владимиръ Сергѣичъ!—

И, помолчавъ, добавляетъ:

— Былъ въ деревнѣ, видѣлъ Чаплина.—

— Хорошая дѣвушка его невѣста?—спрашиваю я.

Онъ отвѣчаетъ не сразу. Лицо его расплывается въ какую-то восторженно-лукавую улыбку, онъ быстро-быстро теревитъ свою желтую отъ всегдашняго куренія бородку, и молча продолжаетъ шагать, слѣдя за носками своихъ ботинокъ.

Но вдругъ отрѣзываетъ серьезно и убѣжденно:

— Такихъ людей, какъ Чаплинъ и Варвара Павловна, въ Россіи мало!—

И тутъ же продолжаетъ, видимо развивая ту мысль, которой онъ такъ восторженно-лукаво улыбался:

— А вѣдь я пить-то, Владимиръ Сергѣичъ, бросилъ—совсѣмъ, окончательно бросилъ!—

Послѣ чего, вскинувъ глаза, онъ съ удовольствіемъ, съ радостью заглядываетъ мнѣ въ лицо и заканчиваетъ свою мысль дрожащимъ, взволнованнымъ шопотомъ:

— Въ крестьянствѣ... въ крестьянствѣ что дѣлается!!—

— А-а, объ этомъ!—догадываюсь я и тутъ уже przygotowляюсь къ изліяніямъ.

А Дмитрій Никаноровичъ, дѣйствительно, начинаетъ говорить, и безцвѣтные глаза его горятъ, и вся маленькая фигура нервно, взволнованно передергивается:

— А вѣдь не вѣрилъ я, Владимиръ Сергѣичъ... не вѣрилось мнѣ, что все это такъ возможно... смѣялся я надъ Чаплинымъ, надъ Варварой Павловной... Господи ты Богъ мой, вмѣсто водки это, вмѣсто картъ... и вдругъ такая жизнь!.. Съ народомъ связанъ, съ жизнью связанъ... хозяиномъ жизни себя чувствуешь!..—А вѣдь безправіе то это еще не кончилось, еще сильно оно подлое, еще работы-то съ нимъ на годъ, на два... а однако и теперь ужъ какъ

себя чувствую!.. какъ чувствую! Жизнь чувствую! въ самой жизни себя чувствую!.. За хвостъ я ее поймалъ, жизнь-то, и не уйдетъ она теперь отъ меня! Утромъ газету разворачиваю—дрожу весь... раньше о дракахъ да о папѣ римскомъ читалъ, а теперь, гляди вѣдь, о себѣ читаю, о себѣ вѣдь! А книги какія, книги какія, Владимиръ Сергѣичъ читаю!.. И все это пока лишь, пока... а впереди вѣдь еще та... та жизнь... свободная, настоящая!.. Сдѣлаемъ мы эту жизнь, сдѣлаемъ, Владимиръ Сергѣичъ!—

И горячо, страстно, гордо Дмитрій Никаноровичъ продолжаетъ говорить о всей своей новой жизни—о работѣ своей вмѣстѣ съ Чаплинымъ и Варварой Павловной среди крестьянъ. Онъ говоритъ, и каждое его слово дышитъ громадной радостью, громаднымъ восторгомъ.

Я гляжу на него, слушаю—и самъ проникаюсь радостью за него, и радость эта—сознаюсь—даже похожа на необъяснимую любовь къ этому маленькому, еще недавно пришибленному, затертому чело-вѣку, теперь съ дѣтской чистотой и гордостью объявляющему себя хозяиномъ жизни. Обыденное, некрасивое лицо Дмитрія Никаноровича, еще хранящее всѣ слѣды прошлой жизни, теперь озарено прекрасной улыбкой—это потому, что глаза его заглядываютъ въ ту жизнь, свободную и настоящую. Глаза эти волнуютъ меня и внятно говорятъ что-то многозначущее о той перемѣнѣ въ окружающей жизни, которая вотъ уже болѣе года преслѣдуетъ меня. И когда онъ смолкаетъ, мнѣ хочется выразить ему свои чувства, сказать ему что нибудь громкое, пріятное.

И я говорю:

— Дмитрій Никаноровичъ, вы—гражданинъ, хорошій честный гражданинъ! Такіе люди, какъ вы нужны Россіи.—

— Да! да! гражданинъ я... вотъ именно, Владимиръ Сергѣичъ... гражданинъ!..—прорвавшимся голосомъ вскрикиваетъ онъ. Потомъ бросается ко мнѣ,

схватываетъ мои обѣ руки, жметъ ихъ и бормочетъ быстро, скороговоркой, какъ бы самъ про себя:

— Господи ты Богъ мой, еще давно ли всякому столоначальнику дверь бросался отворять, а теперь... гражданинъ!.. въ жизни моей Россія нуждается!—

И громко заканчиваетъ:

— Владимиръ Сергѣичъ, прошу васъ... обнимемся!.. дорогой, почтеннѣйшій Владимиръ Сергѣичъ!—

Я взволнованный, тронутый, кладу ему руки на плечи, и мы неуклюже, смущенно обнимаемся.

И все кончается тѣмъ, что онъ порывисто отбѣгаетъ въ сторону, отворачивается и, вынувъ платокъ, быстро, нервно бьетъ имъ себя по глазамъ.

— Уйду я..—шепчетъ онъ, не оборачиваясь и дѣлая мнѣ знакъ рукой—...уйду... позже приду... потомъ... сейчасъ не могу... взволнованъ чертовски, разревусь какъ баба... уйду!..—

И уходитъ до завтра.

... Кромѣ Маруси и Дмитрія Никаноровича заходить ко мнѣ иногда еще кто нибудь изъ тѣхъ лицъ, что по вечерамъ собираются на террасѣ вокругъ самовара, и чьи серьезные разговоры я такъ люблю слушать. Почти каждый день пріѣзжаютъ они изъ сосѣднихъ дачныхъ мѣстностей или изъ двухъ городковъ, лежащихъ въ нѣсколькихъ верстахъ.

Впрочемъ, я искренно радъ этимъ людямъ—они развлекаютъ Марусю. Чаплинъ тоже заглядываетъ, но безъ Вари.

Всѣ эти визиты, да еще обѣды, ужины, безъ которыхъ, очевидно, нельзя будетъ обойтись даже въ самый послѣдній день, да еще думы между строками, тѣ думы, въ которыхъ за десятокъ минутъ снова переживаешь страданія десяти лѣтъ—все это отнимаетъ у меня порядочно времени.

Вечеромъ я иногда гуляю. Но это только въ томъ случаѣ, если въ домѣ гости. Если же нѣтъ никого, то я провожу вечеръ съ Марусей. Вмѣстѣ гуляемъ

въ саду, вмѣстѣ сидимъ на террасѣ. Я болтаю съ ней, стараясь быть веселымъ... весело болтаю, а самъ гляжу на деревья въ саду, что нехотя наклоняють верхушки... и слушаю сказку смерти, что шепчетъ мнѣ шелестъ листьевъ... Изъ деревни доносится пѣніе крестьянъ, звуки гармоникъ...

Но вотъ Маруся устала, я провожаю ее до спальни, поручаю старой нянѣ Петровнѣ, и самъ тоже поднимаюсь къ себѣ, наверхъ. И здѣсь меня ждетъ новое удовольствіе: это — книжки безъ переплетовъ, цѣлою кучей лежащія на тумбочкѣ около кровати. Все это романы нашихъ русскихъ женщинъ-писательницъ.

Я необыкновенно люблю передъ сномъ читать наивныя изящныя исторіи, описываемыя въ этихъ романахъ, мнѣ чрезвычайно нравятся ихъ герои—въ высшей степени интересныя молодые люди съ опредѣленными, законченными идеалами, и героини—молодыя дѣвушки съ сильными натурами, переживающія „интеллигентныя любви“. Забавно, удивительно забавно и весело читать, напримѣръ, драматическое объясненіе въ любви между героемъ и героиней: и тотъ, и другая, исповѣдуясь въ чувствахъ, говорятъ намеками, сыплютъ философскими сентенціями, ежеминутно открываютъ другъ въ другѣ „что-то“—что потомъ будетъ расти, принимать чудовищныя размѣры—и ежесекундно вздрагиваютъ.

Я читаю эти исторіи, и хотя въ нихъ говорится о жизни, но душа моя, не знаю почему, переносится на луну, на небеса и, порхая тамъ, отдыхаетъ...

Какъ не любить этихъ исторій?

Х.

...Стыдно... Боже мой, какъ стыдно! Въ такое время, въ такіе дни... что люблю! чѣмъ увлекаюсь! Стыдно!

Дождь лилъ сегодня, дождь... и всю деревенскую

жизнь онъ знакомою грустью наполнилъ... лиль дождь, лиль... и всю душу знакомой тоской истязалъ. Въ вечерней полутьмѣ на листьяхъ дрожали слезы дождя, но на глаза слезы не навернулись. Я не плакалъ, нѣтъ... я не умѣю уже плакать—старъ слишкомъ, душою старъ. Но чего захотѣлось! Боже мой, чего вдругъ захотѣлось! куда вдругъ потянуло! Къ мыслямъ юности, къ полуребячьимъ чувствамъ. И что-же! Постоялъ, постоялъ на балконѣ, одѣлъ пальто, шляпу и побрелъ... одинъ, въ дождь, побрелъ... Въ деревнѣ съ трудомъ нашелъ кляченку и на кляченкѣ этой покатилъ въ темнотѣ и въ холодѣ. Съ хлопаньемъ покатилъ, въ лужи попадалъ, въ канавы залѣзалъ, съ дороги сворачивалъ... Но все-же пріѣхалъ, да! пріѣхалъ — въ ближайшую дачную мѣстность, пріѣхалъ въ дачный садъ съ театромъ, гдѣ ставился „Евгеній Онѣгинъ“ подъ рояль. Въ дачный садъ съ театромъ и кегель-баномъ. Сильно промокъ, сильно продрогъ, былъ похожъ на мокрую курицу... сѣлъ подъ деревья за столикъ съ дачнымъ подсвѣчникомъ, и пилъ чай съ коньякомъ, и коньякъ безъ чая тоже пилъ. Пилъ и слушалъ гудѣніе шара въ кегель-банѣ и шуршаніе дождя въ листьяхъ, надъ головой. А покамѣстъ собиралась публика—граждане собирались: приходили въ галошахъ, приходили съ зонтами, приходили въ теплыхъ пальто и кашнѣ. Были тутъ и взрослые граждане, была и молодежь. Взрослые граждане болѣе насчетъ буфетныхъ дѣлъ старались, а молодежь насчетъ темныхъ аллей. Всякому свое, разумѣется. Справьтесь у двухъ сердецъ—подъ гимназической курткой и подъ чиновничьимъ мундиромъ,—и окажется, что вздохъ надъ голубыми глазами не имѣетъ большей прелести, чѣмъ вздохъ надъ бутылкой водки. Право...

...И если не было дѣтства, и если не было юности—все-жъ были дѣтство и юность: все-жъ по-другому пѣсни звуки въ душу проникали, все-жъ по-другому слушалъ бредъ-мечты юноши-поэта и слезы

дѣвичьихъ глазъ, и вздохи дѣвичьей груди, просящей любви, по-другому волновали тебя...

„Куда, куда вы удалились
Весны моей златые дни?“

Я только что вернулся, весь промокшій, озябшій.
Въ домѣ всѣ спятъ.

Стыдъ, беспощадный стыдъ! Всю дорогу неуволнимымъ призракомъ онъ гнался за моимъ тарантомъ—онъ былъ въ завываніи вѣтра, онъ былъ въ свирѣпо лившемъ дождѣ, онъ былъ рядомъ со мной, на тарантасѣ, онъ былъ во мнѣ самомъ. И вотъ теперь тоже: я, весь мокрый, жадно припалъ къ бумагѣ, а онъ—Стыдъ помѣстился сзади меня, и то мягко и нѣжно предлагаетъ, то грубо и властно приказываетъ:—Довольно!—

И не довольно ли, въ самомъ дѣлѣ?

Да... довольно!

Чувство стыда—*наудобнѣйшее* для совершенія акта правосудія надъ самимъ собой.

...За что? За какое, противъ кого преступленіе суждена мнѣ была эта участь?

Съ малыхъ лѣтъ живое чувство живой радости рѣдко посѣщало меня, а когда посѣщало, то ужъ и тогда на еще дѣтскихъ губахъ вызывало лишь горькую, безжизненную улыбку. Такъ улыбнулась бы одинокая, Богъ вѣсть какимъ образомъ выросшая на днѣ мусорной ямы травка, случайно обласканная лучемъ солнца, .. если бы обладала сознаниемъ: сохла чахлая травка и ждала своей гибели, но такъ какъ она страдала, то смерть избавленіемъ ей улыбалась... вдругъ брызнулъ на нее живительнымъ тепломъ лучъ солнца, и стало ей хорошо, но... не надолго это—черезъ минуту исчезнетъ лучъ солнца, и въ ямѣ снова станетъ холодно и сыро, но пригрѣтая травка дольше промучается въ ямѣ; и знаетъ, это травка, и не радуется травку лучъ солнца; а черезъ

много-много лѣтъ, быть можетъ, люди перестанутъ бросать въ яму мусоръ, солнце сильнѣе пригрѣетъ ея дно, и изъ старыхъ корней умершей травки вырастетъ густая сочная трава, которой будетъ и тепло и привольно... но что теперь до этого ей, этой бѣдной одинокой травкѣ?..

Впрочемъ, сравненіе глупое и сантиментальное... хоть и я—трава, сорная трава, пустоцвѣтъ...

Таково дѣтство.

Потомъ юность съ попыткой борьбы, быстро сломанной ненавистью тѣхъ, кому борьба была страшна или смѣшна: всякому свое, разумѣется... ну, и все въ свое время тоже,—высочекъ-же и скороспѣлокъ—чикъ! и какъ не бывало.

И потомъ, наконецъ, эти долгіе годы тоски и ужаса: я былъ покоренъ ими весь, я былъ плѣнникомъ ихъ, я мыслилъ и чувствовалъ лишь ими: они вонзились мнѣ въ сердце, какъ то копье, что поразило Епаминонда, героя Фивъ: не вынутое изъ раны, оно рвало тѣло, но спасало жизнь, а вынутое—остановило дыханіе.

А не вынуть копья теперь, въ такое время, нельзя...

Вспоминая теперь все мною пережитое, я называю себя *старымъ* художникомъ... хоть и не старъ я лѣтами. Я старъ потому, что лишь прошлая жизнь владѣетъ чувствомъ и мыслью моими: въ радостныхъ краскахъ твоего возрожденія мнѣ не воспѣть, веселый читатель; къ счастью дороги, къ свободѣ пути—не указать...

Я—прошлое: я—старъ.

.

Револьверъ! Первый разъ онъ попался мнѣ въ руки въ день пріѣзда изъ Ялты. Онъ очень невинно валялся въ ящикѣ стола между бумагами, письмами, коробками съ табакомъ и гильзами. Помню—я вынулъ его тогда изъ ящика и началъ осматривать: онъ

былъ заряженъ на двѣ пули; я вынулъ эти пули и снова сталъ смотрѣть... потомъ приложилъ дуло плашмя ко лбу... оно было холодное, и мнѣ стало неприятно; тогда я хотѣлъ отложить револьверъ, но, вмѣсто этого, снова быстро проверилъ, пусть ли барабанъ, и дрожащими руками, весь дрожащій, безпокойно оглядываясь на дверь, опять приставилъ, уже не плашмя, дуло ко лбу... и спустилъ курокъ. Онъ звякнулъ глухо и сухо. Рѣшительно не понимаю, почему продѣлалъ я надъ собой тогда эту процедуру?

И вотъ я только что снова вынулъ его изъ ящика, и онъ теперь лежитъ около меня на столѣ, и свѣтъ лампы смутнымъ отблескомъ горитъ на его дулѣ... Обрывки мыслей еще бродятъ въ головѣ, но писать больше не могу чувствую необыкновенный упадокъ нервовъ, усталость во всемъ тѣлѣ... А между тѣмъ энергія и нервы нужны еще для самаго важнаго...

.

Кровь льетъ... кровь...

Изъ виска падаетъ на руку, съ руки течетъ на бумагу...

Но мнѣ не больно... напротивъ, какъ-то необыкновенно легко.

Произошло что-то странное: я приставилъ его дуломъ къ виску, какъ полагается, и хотѣлъ нажать курокъ. Но вдругъ вспомнилъ ту бабу, которую въ зимнюю ночь на одной изъ Московскихъ улицъ избили при мнѣ полдюжина пьяныхъ парней. Ахъ, какъ она кричала! А я проѣзжалъ мимо на извозникѣ. Былъ страшный морозъ, мнѣ было такъ тепло въ санкахъ, подъ шубой, и я не слѣзъ, не заступился за бабу. И такъ досадно теперь стало, что не заступился!.. Я стоялъ, держалъ револьверъ около виска, хранилъ въ себѣ чувство заботы объ избиваемой бабѣ и еще смутной заботы о самомъ себѣ—ощущеніе, въ общемъ похожее на то, съ какимъ въ серединѣ пруда, на лодкѣ, стоя мѣняешься мѣстомъ съ близкимъ любимымъ че-

ловѣкомъ... Потомъ я зажалъ глаза, одну минуту пережилъ чувство, смыслъ котораго отъ меня ускользаетъ—чувство, ни на что не похожее,—и надавилъ курокъ... мѣшки, тѣ самые мѣшки съ зернами, на которые опирался я въ гумнѣ, разсматривая Варю, теперь стали валиться на меня... Я схватился за одинъ изъ нихъ, удержался на ногахъ и, кажется, сейчас же очнулся... Я стоялъ, опершись на столъ, кровь текла изъ моего виска... но мнѣ было необыкновенно легко. Очевидно, неумѣло выстрѣлилъ. Пуля, кажется, только оцарапала меня, сорвавъ со лба кожу... Впрочемъ, я читалъ о солдатахъ, въ теченіе двухъ часовъ сражавшихся съ четырьмя пулями въ тѣлѣ...

... И вотъ я сѣлъ, чтобы написать еще нѣсколько словъ...

Никто ничего не слыхалъ... но если кто либо прибѣжитъ сюда и захочетъ помѣшать мнѣ прикончить со всѣмъ этимъ, то я за себя не ручаюсь, я брошусь на него какъ взбѣсившійся раненный звѣрь... Я...

По тому, какъ бьется мое сердце, я понимаю логичность моего поступка: жить еще только мое тѣло—мысль умерла, чувство умерло. Старый художникъ скончался... только эта мысль тамъ, гдѣ то далеко, на самомъ днѣ сердца радуется меня. Пусть этотъ сердечный трепетъ передастся новому, молодому художнику и пусть вдохновитъ его!

Я уже вижу его, новаго, свободнаго! Дайте, дайте-жъ дорогу ему!..

Вотъ его окружила толпа: юноши, дѣвушки въ бѣломъ, въ цвѣтахъ, трубы триумфа къ небу подняли...

Пойте веселые, пойте свободные звуки!..

.

... Вонъ онъ лежитъ на полу и дразнить меня своимъ лукавымъ блескомъ...

.
.

Добрая Маруся... какъ она будетъ огорчена. Бѣд-

ное сердце, утѣшься! Ты ищешь любви? Слезы матери, прострѣленная грудь брата, поруганная сестра... и въ сторонѣ издохшій бродяга—все къ лучшему: въ будущемъ будетъ любовь...

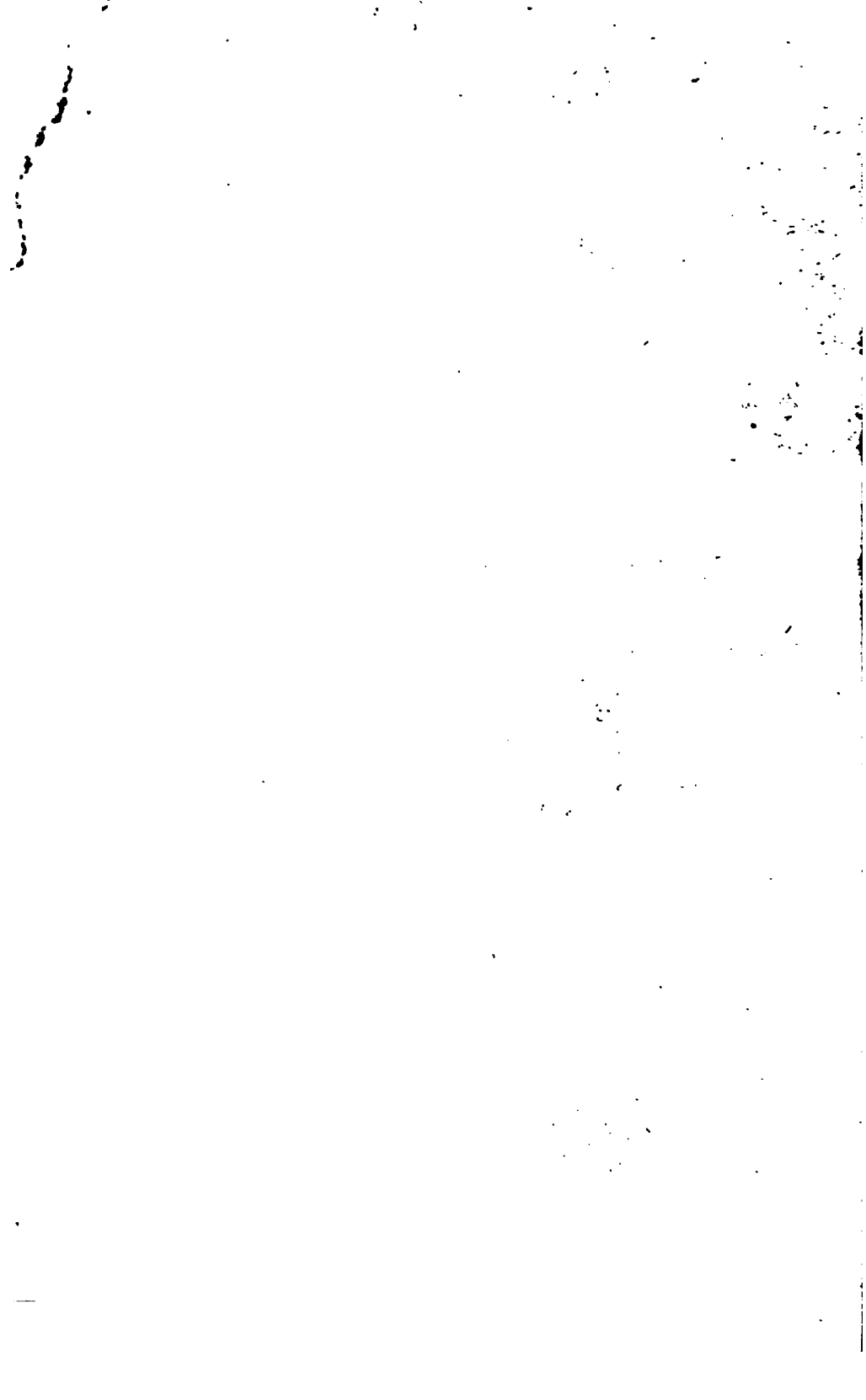
„Розы такъ пышно цвѣтутъ—
Скоро настанетъ и праздникъ Христовъ!“

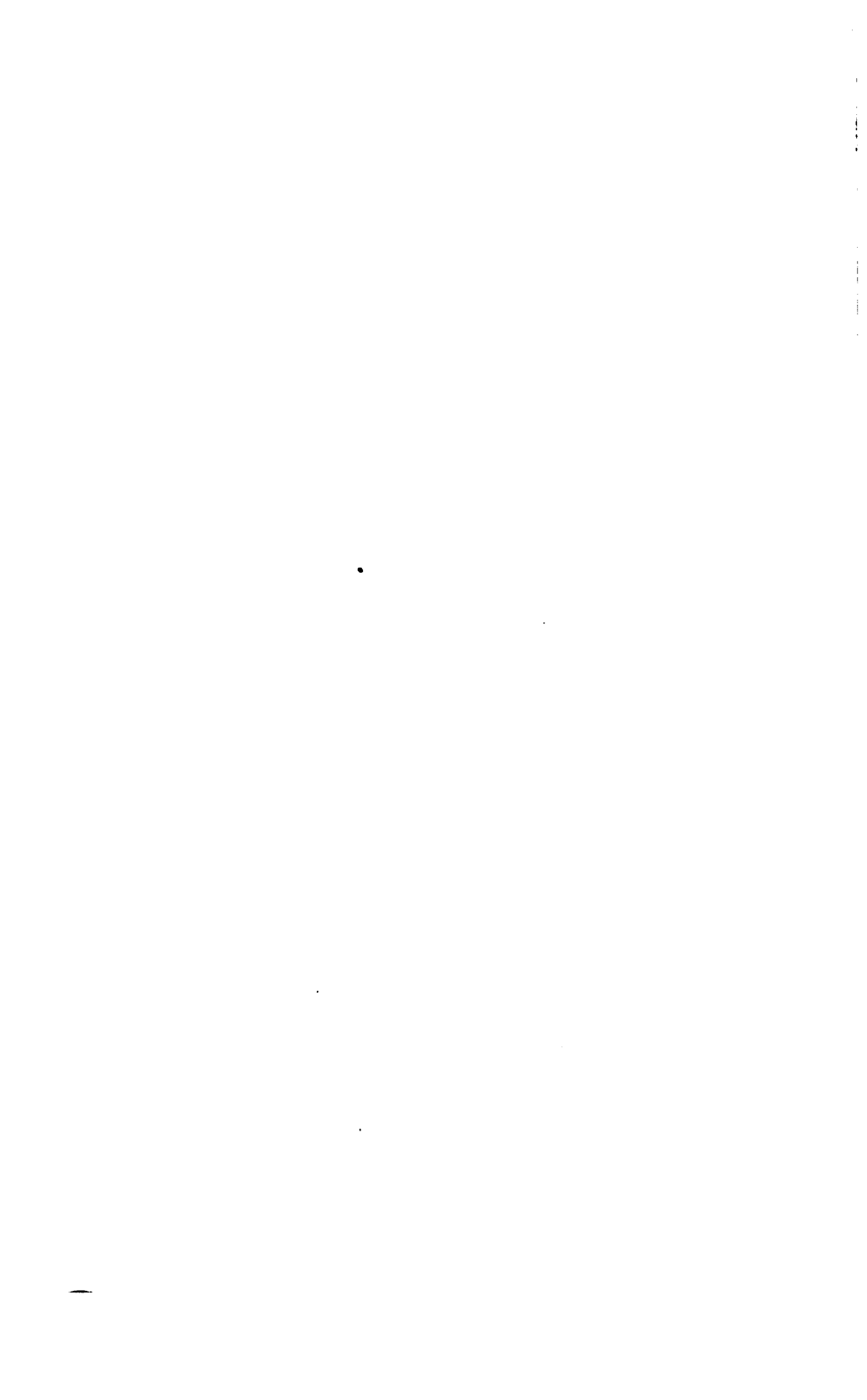
Парижъ, декабрь 1906.

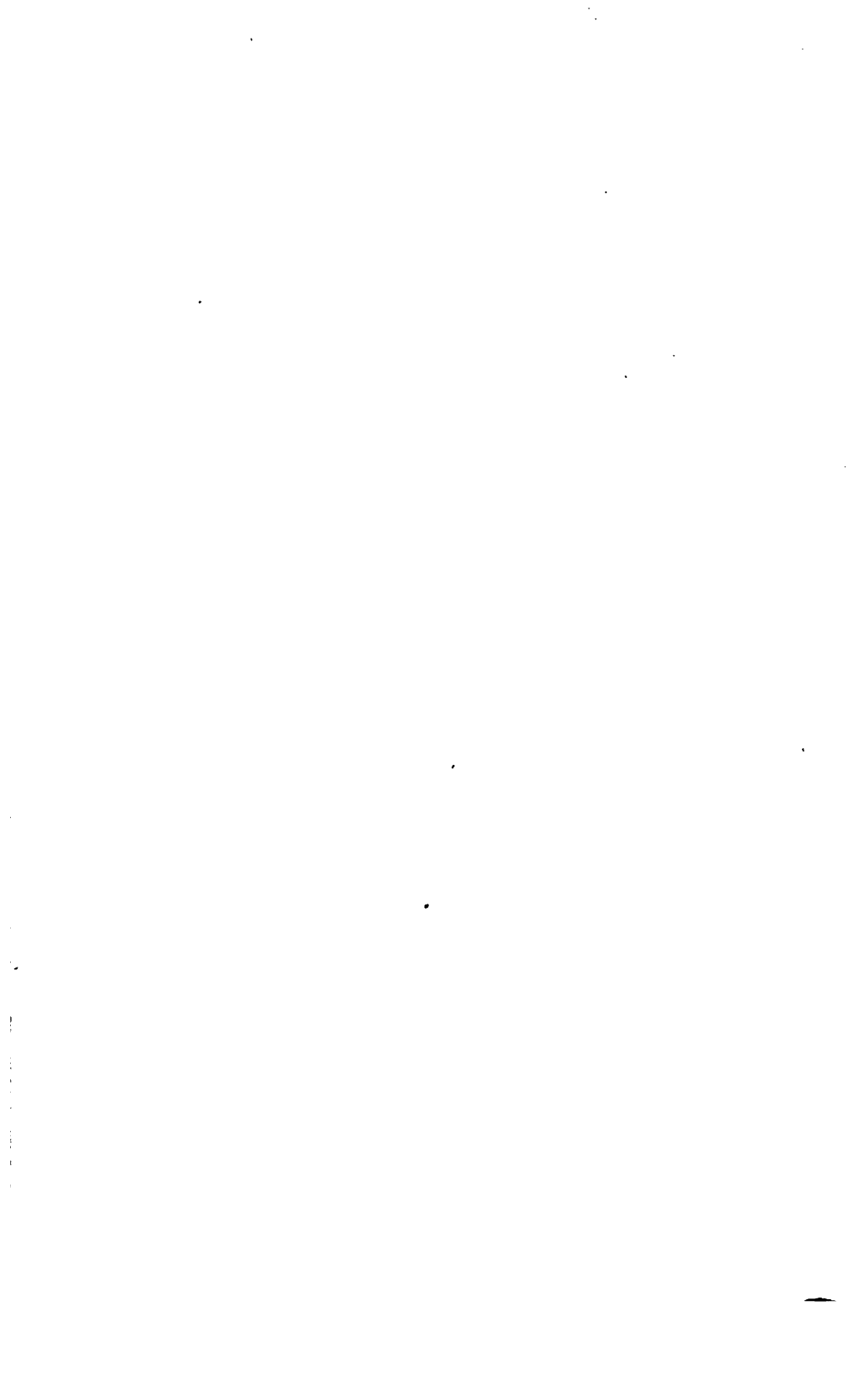


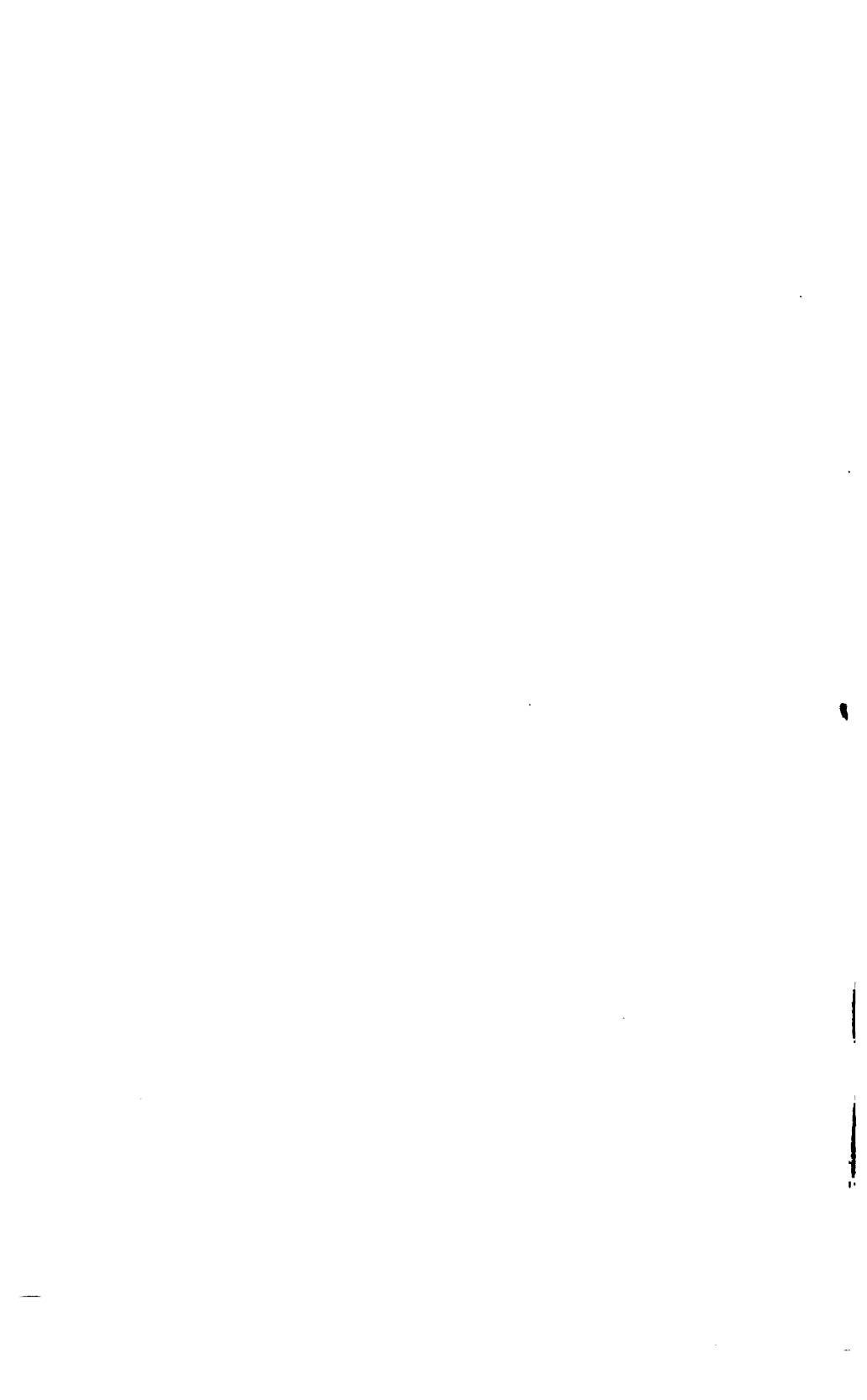
Оглавление.

	стр.
Лунная соната	5
Записки старого художника	143









This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.

